



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

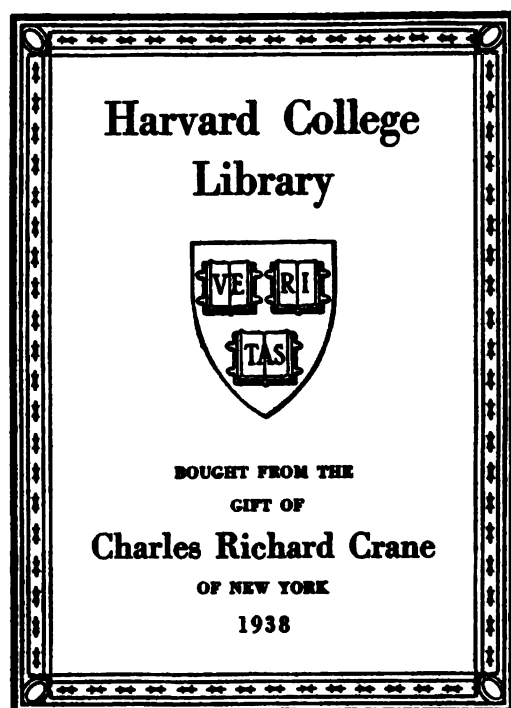
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

1-45

Slav 4080.8 (2, pt. 3)

A









1-21

# ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Составилъ И. Порфирьевъ.

ЧАСТЬ II.

НОВЫЙ ПЕРІОДЪ.

ОТДѢЛЪ 3.

ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АЛЕКСАНДРА I.

Одобрена въ первомъ изданіи Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ качествѣ учебнаго пособия въ гимназіяхъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Изданіе 2-е.

---

**КАЗАНЬ.**

Типографія Императорскаго Университета  
1895.

Slav 4080.8 (2, pt. 3)

✓

A

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
FROM THE GIFT OF  
CHARLES RICHARD CRANE  
APRIL 29, 1930

Отъ Казанскаго Комитета духовной цензуры печатать дозволяется. 19 іюля  
1895 года.

И. д. ординарнаго профессора А. Волковъ.

*Покойный Иванъ Яковлевичъ Порфирьевъ намъренъ былъ довести настоящей, заключительный отдѣлъ Исторіи Русской Словесности до литературной дѣятельности Пушкина; но приготовить къ печати весь этотъ отдѣлъ, сообразно съ намѣченной имъ программой, онъ не успѣлъ. Смерть застигла его за изложеніемъ главъ о Крыловѣ, Грибоедовѣ и мистической литературѣ Александровскаго времени. Эти статьи, какъ неоконченныя, не могли войти въ настоящее изданіе.*

*Казань.  
Ноябрь 1891 года.*

*А. Поповъ.*



## ХАРАКТЕРЪ ОБРАЗОВАНІЯ И ЛИТЕРАТУРЫ ВЪ АЛЕКСАНДРОВСКІЮ ЭПОХУ <sup>1)</sup>.

Вступая на престолъ, императоръ Александръ I объявилъ, что онъ будетъ слѣдовать по стопамъ своей великой бабки, Екатерины II. Дѣйствительно: царствованіе Александра во многихъ отношеніяхъ представляется продолженіемъ царствованія Екатерины, съ разными, конечно, измѣненіями, которыя всегда неизбежно приносятъ съ собою прогрессивное движеніе времени. При Александрѣ созрѣли и принесли плоды тѣ сѣмена, которыя были посеяны при Екатеринѣ. Тѣ же высокія цѣли и стремленія къ образованію народа и водворенію въ Россіи правды и гуманности, которыя преслѣдовала во всѣхъ своихъ учрежденіяхъ Екатерина, были главными и руководительными идеями и цѣлями при всѣхъ реформахъ Александра. Усвоеніе просвѣтительныхъ идей философіи и литературы XVIII в., задержанное въ послѣдніе годы царствованія Екатерины и при имп. Павлѣ, при Александрѣ продолжалось съ новою силою. Въ литературѣ на смѣну уже устарѣвшаго ложноклассическаго направленія развилось новое сантиментальное направленіе; но въ то же время еще продолжали существовать, хотя въ измѣненномъ видѣ, и прежнія направленія—энциклопедистическое—съ классическимъ стилемъ и характеромъ, мистико-масонское и народно-русское.

---

<sup>1)</sup> О характерѣ образованія при Александрѣ I смотр.; Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе импер. Александра I. Журн. Мин. Нар. Пр. 1865—1866.—Рѣчь на столѣтнемъ юбилей импер. Александра I, академика М. И. Сухомлинова (Спб. 1877—Зап. Имп. Ак. Н. т. XXXI).—Очеркъ личности и дѣятельности Карамзина, академика Я. К. Грота (Сборн. 2-го Отд. Ак. Н. т. I).—Общественное движеніе при Александрѣ I, А. Н. Пыпина. Изд. 2-е, 1885.—Сочиненія К. Н. Батюшкова со статьею о жизни и сочиненіяхъ К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Сантовымъ, т. I—III Спб. 1887.—Сочиненія и переписка П. А. Плетнева, изд. Я. К. Гротомъ, ч. 1—3. Спб. 1885.—Полное собраніе сочиненій П. А. Вяземскаго, изд. гр. Шереметевымъ. Спб. 1879, т. I—XI.

Просвѣщеніе народа, содѣйствіе успѣхамъ науки, искусствъ и литературы были главными предметами заботъ и попеченій импер. Екатерины; тоже самое мы встрѣчаемъ и въ дѣятельности импер. Александра, съ первыхъ дней его царствованія. Еще при Екатеринѣ нѣсколько разъ поднимался вопросъ объ открытіи университетовъ: объ этомъ разсуждали въ Коммиссіи Уложенія, объ этомъ Екатерина разсуждала съ Дидро, который, какъ выше указано, начерталъ для нея и планъ университетовъ; въ Коммиссіи народныхъ училищъ Завадовскимъ былъ составленъ планъ, въ которомъ предположено было открыть три университета—въ Псковѣ, Черниговѣ и Пензѣ. Но университетамъ суждено было явиться только въ царствованіе Александра; въ самомъ началѣ царствованія, съ учрежденіемъ министерства народнаго просвѣщенія, были открыты университеты въ Казани, Харьковѣ, позднѣе въ Петербургѣ; преобразованы были университеты московскій, виленскій и дерптскій; основано нѣсколько лицеевъ: Демидовскій въ Ярославлѣ, царско-сельскій, одесскій, нѣжинскій; по всей Россіи предположено было открыть гимназій, уѣздныя училища и приходскія школы; составлены новые уставы для Академіи Наукъ и Академіи Художествъ; возвращены средства къ существованію Россійской Академіи, которые были отняты у нея Павломъ I<sup>1)</sup>.

При основаніи университетовъ неизбѣжно должна была повториться та же исторія, какъ и при открытіи Академіи Наукъ: и для университетовъ, какъ для Академіи, оказалось нужнымъ на первыхъ порахъ выписывать иностранныхъ профессоровъ, потому что своихъ было еще мало. Открывая Академію Наукъ, Петръ В. для приготовленія ученыхъ изъ русскихъ людей учредилъ при Академіи гимназію и университетъ; но эти учрежденія, находившіяся болѣею частію въ завѣдываніи иностранцевъ, содержались очень небрежно и ученыхъ изъ русскихъ доставляли сравнительно немного<sup>2)</sup>; единственный университетъ, московскій, также мало

---

<sup>1)</sup> Извѣстно, что имп. Павелъ I, вскорѣ по вступленіи своемъ на престолъ, президента Россійской Академіи, княгиню Дашкову, сослалъ въ ссылку и лишилъ Академію денежныхъ средствъ, а вслѣдъ за тѣмъ и помѣщенія ея, передавъ принадлежавшіе ей дома въ другое вѣдомство; Академія предоставлялось содержаться собственными средствами. Имп. Александръ повелѣлъ снова отпустить на содержаніе Россійской Академіи сумму, назначенную ей Екатериной, и далъ средства для перестройки зданія, въ которомъ помѣщалась Академія. Дашкова также была возвращена на прежнее мѣсто. См. Рѣчь въ торжественномъ собраніи Академіи Наукъ по случаю столѣтняго юбилея Александра I, академика М. Н. Сухомлинова. Зап. Ак. Н. т. XXXI. 1877 г.

<sup>2)</sup> Смотри письмо академикова Озерецковскаго, Гурьева и Севастьянова, поданное имп. Александру въ 1801 г. съ просьбою о поддержаніи академическаго

могъ дать ихъ; въ немъ и самомъ лекціи по многимъ предметамъ читались по латыни и по нѣмецки, за неимѣніемъ русскихъ профессоровъ. Какъ и при основаніи Академіи—поднимался также вопросъ, не преждевременно ли открывать высшіе разсудники наукъ, когда еще нѣтъ самаго главнаго; но онъ самъ собою и падалъ, потому что, вмѣстѣ съ университетами, открывались разныя среднія и нисшія школы. Какъ бы то ни было, — „Новый планъ народнаго просвѣщенія въ Россіи“, напечатанный въ 1803 г., былъ встрѣченъ съ энтузіазмомъ. Въ 5-мъ № Вѣстника Европы Карамзинъ восторженно привѣтствовалъ его слѣдующими словами: „Петръ В. учредилъ первую академію въ нашемъ отечествѣ, Елисавета первый университетъ, великая Еватерина городскія школы; но Александръ, размножая университеты и гимназіи, говоритъ еще: да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ. Новая великая эпоха начинается отнынѣ въ исторіи нравственнаго образованія въ Россіи, которое есть корень государственнаго величія и безъ котораго самыя блестящія царствованія бывають только личною славой монарховъ, не отечества, не народа. Не одно народное славолубіе . . . терпитъ отъ недостатка въ просвѣщеніи, нѣтъ, онъ мѣшаетъ всякому дѣйствию благотворныхъ намѣреній правителя, на всякомъ шагѣ останавливаетъ его, отнимаетъ силу у великихъ, мудрыхъ законовъ, раждаетъ злоупотребленія, несправедливости и однимъ словомъ не позволяетъ государству наслаждаться внутреннимъ общимъ благоденствіемъ, которое одно достойно быть цѣлю истинно великаго т. е. добродѣтельнаго монарха“. Особенно Карамзинъ указываетъ на важность и необходимость сельскихъ школъ. „Учрежденіе сельскихъ школъ, говоритъ онъ, несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ, будучи истиннымъ народнымъ учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія . . . Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ. Исторія ума представляетъ двѣ эпохи: изобрѣтеніе буквъ и типографіи; всѣ другія были ихъ слѣдствіемъ“. Въ обществѣ начались богатые пожертвованія на дѣла народнаго просвѣщенія. Прочитавъ „Планъ“, богачъ Демидовъ пожертвовалъ въ 1803 г. до милліона рублей деньгами, имѣніемъ (въ 450 тысячъ рублей), библіотекой и нѣсколькими кабинетами для Московскаго университета, для будущихъ университетовъ и для основанія вышшаго учебнаго заведенія въ Ярославлѣ (Демидовскій лицей); другой богачъ, Шереметевъ, въ томъ же году пожертвовалъ до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> милліоновъ рублей деньгами и недвижимымъ имуществомъ на раз-

---

университета и о преобразованіи Академіи Наукъ, въ Исторіи Россійской Академіи М. И. Сухомлинова II, 361—367.



ныя благотворительныя цѣли; дворянство Харьковской губерніи, по призыву Каразина, сдѣлало пожертвованіе въ 400 тысячъ рублей на заведеніе Харьковского университета. Было много и другихъ пожертвованій въ пользу университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній, каковы пожертвованія Безбородка, Голицина, княгини Дашковой и графа Н. П. Румянцева (пожертвованія изданій по древней русской исторіи и драгоцѣннаго Музея, вмѣстѣ съ домомъ для него) <sup>1)</sup>.

Учреждая повсюду высшія и нисшія училища, импер. Александръ постоянно покровительствовалъ всѣмъ ученымъ и писателямъ, поощрялъ ихъ ученую и литературную дѣятельность, награждая ихъ труды, помогая имъ издавать ихъ сочиненія и даже нѣкоторыхъ приближалъ къ себѣ и пользовался ихъ совѣтами. Карамзинъ, первый и лучший писатель александровской эпохи, былъ самымъ приближеннымъ человекомъ и истымъ другомъ импер. Александра.

Инициатива просвѣтительной дѣятельности выходила отъ самого государя, самая же дѣятельность сосредоточивалась главнымъ образомъ въ высшемъ аристократическомъ обществѣ. Кромѣ ближайшаго къ государю кружка, который составляли нѣсколько извѣстныхъ лицъ: Строгановъ, Новосильцевъ, Кочубей и Чарторыйскій, и въ которомъ зачинались и приводились въ исполненіе планы всѣхъ реформъ, ознаменовавшихъ начало царствованія, извѣстно много другихъ лицъ, которыя были также передовыми и знаменитыми дѣятелями въ области просвѣщенія, какъ-то: Завадовскій, первый министръ народнаго просвѣщенія, М. Н. Муравьевъ, попечитель Московскаго университета, Мордвиновъ, Воронцовъ, Северинъ-Потоцкій, Каразинъ, основатель Харьковского университета, графъ С. П. Румянцевъ; извѣстно нѣсколько домовъ или цѣлыхъ семействъ, которыя были центрами, притягивавшими къ себѣ всѣхъ образованныхъ людей, въ которыхъ наука, искусство и литература находили для себя постоянный теплый пріютъ и всегдашнее покровительство. Таковы были семейства Тургеневыхъ, Муравьевыхъ и Олениныхъ.

*И. П. Тургеневъ* (1752—1807) принадлежалъ къ масонскому обществу и былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ Новиковскаго кружка. Его имя прежде всего упоминается въ біографіи Карамзина, котораго онъ увезъ изъ разбѣяннаго свѣтскаго общества въ Симбирскъ въ Москву, убѣдилъ заняться литературой и ввелъ его въ общество Новикова. Состоя нѣсколько лѣтъ директоромъ Московскаго университета (1797—1803), онъ воспиталъ мно-

---

<sup>1)</sup> Общественное движеніе въ Россіи при Алекс. I., Пилина.

жество полезных дѣятелей, которые всю жизнь почитали его какъ роднаго отца. У И. П. Тургенева было четыре сына, изъ коихъ особенную извѣстность приобрѣлъ, какъ меценатъ наукъ и искусствъ, *Александръ Ивановичъ Тургеневъ* (род. 1784). Вмѣстѣ съ братомъ своимъ Андреемъ Ивановичемъ онъ воспитывался въ Геттингенскомъ университетѣ, получилъ обширное образованіе и долго путешествовалъ по Европѣ, для собиранія матеріаловъ по исторіи Россіи въ иностранныхъ архивахъ и библіотекахъ. Во время своей службы въ разныхъ должностяхъ (онъ служилъ при статсъ-секретарѣ Новосильцевѣ и въ комиссіи по составленію законовъ, былъ членомъ и секретаремъ Библейскаго общества, а также былъ членомъ общества арзамасскаго), онъ находился въ самыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ почти со всѣми лучшими писателями первой половины XIX в. и всѣмъ имъ оказывалъ помощь. Карамзину онъ помогалъ при собираніи источниковъ для Исторіи государства русскаго; Жуковский былъ много обязанъ ему въ упроченіи своего внѣшняго положенія. Участіемъ и покровительствомъ Тургенева пользовались Батюшковъ, Воейковъ, Козловъ, Милоновъ и А. С. Пушкинъ, котораго онъ опредѣлилъ въ Царско-сельскій лицей и котораго потомъ похоронилъ въ Святогорскомъ монастырѣ. Въ близкихъ отношеніяхъ къ Тургеневу находился еще П. А. Плетневъ, который высоко цѣнилъ его заслуги по собиранію матеріаловъ для исторіи Россіи.

*Михаилъ Никитичъ Муравьевъ* (1757—1807), отецъ извѣстныхъ декабристовъ, Никиты и Александра Муравьевыхъ, былъ наставникомъ импер. Александра и великаго князя Константина, попечителемъ Московскаго университета и товарищемъ министра народнаго просвѣщенія. Благодаря его заботливости, при Московскомъ университетѣ было открыто нѣсколько обществъ: общество исторіи и древностей русскаго, общество испытателей природы, общество соревнованія медицинскихъ и физическихъ наукъ. Домъ его былъ открытъ для всѣхъ ученыхъ и образованныхъ людей, которымъ онъ оказывалъ всякую помощь; въ его домѣ и подъ его ближайшимъ руководствомъ воспитывался Батюшковъ; онъ испросилъ у государя званіе русскаго исторіографа Карамзину, который впослѣдствіи, въ благодарную память о немъ, издалъ его сочиненіе подъ заглавіемъ „Опыты исторіи, словесности и нравовъ“ (въ двухъ частяхъ). Двоюродный братъ М. Н. Муравьева, *Иванъ Матвѣевичъ Муравьевъ-Апостолъ* (1768—1851) первое образованіе получилъ въ нѣмецкомъ пансіонѣ, а закончилъ его въ Германіи, гдѣ онъ познакомился съ Кантомъ и Клопштокомъ, потомъ служилъ въ разныхъ мѣстахъ, при миссіяхъ и посольствахъ за границей, наконецъ былъ сенаторомъ и членомъ главнаго пра-

вленія училищъ. Будучи образованнѣйшимъ человекомъ своего времени, онъ занимался литературой, перевелъ „Облака“ Аристофана, „Школу злословія“ Шеридана, написалъ „Путешествіе по Тавридѣ“ и „Письма изъ Москвы въ Новгородъ“, напечатанныя въ Сынѣ Отечества (1813—1815) <sup>1)</sup>, весьма интересныя для характеристики московскаго образованнаго общества, убѣжавшаго отъ Наполеона изъ Москвы въ Нижній. Замѣтимъ еще, что сынъ Ивана Матвѣевича оказался въ числѣ декабристовъ и былъ казненъ <sup>2)</sup>. *Алексѣй Николаевичъ Оленинъ* былъ археологъ, любитель художествъ и самъ занимался рисованіемъ и гравированіемъ. Онъ много содѣйствовалъ успѣхамъ русскихъ художниковъ; въ его гостепріимномъ домѣ собирались всѣ русскіе таланты того времени: Озеровъ, Гнѣдичъ, Муравьевъ-Апостолъ, Уваровъ, Востоковъ и др. Сюда обыкновенно приносились всѣ новости, ученныя и литературныя, извѣстія о новыхъ книгахъ, новыхъ стихотвореніяхъ, театральныхъ представленіяхъ и проч. Здѣсь Озеровъ въ 1804 г. въ первый разъ читалъ своего „Эдипа“, здѣсь же положено было ознаменовать торжество Озерова, по случаю перваго представленія его трагедіи, выбитіемъ медали <sup>3)</sup>. Эти собранія въ домѣ Оленина весьма много оживляла его умная и образованная супруга, урожденная Полтавская.

Были и женскіе литературные салоны, составлявшіеся вѣроятно по подражанію французскимъ женскимъ салонамъ второй половины XVIII в.; таковы напр. были гостинныя Прасковьи Михайловны Ниловой и Анны Петровны Квашниной-Самариной; подъ ихъ вліяніемъ, между прочимъ, воспитывался Батюшковъ. Кромѣ упомянутыхъ лицъ были конечно и другія лица, способствовавшія распространенію образованія въ эту эпоху. Дмитріевъ въ своихъ Запискахъ указываетъ на Федора Васильевича Козлятева, у котораго была большая французская бібліотека старыхъ и новыхъ писателей, на домъ Плещеевыхъ (Алексѣя Александровича и Настасьи Ивановны), въ которомъ находили особенное покровительство онъ и Карамзинъ, написавшій къ нимъ свои „Письма русскаго путешественника“, и на домъ князя А. И. Вяземскаго, гдѣ сходились образованные молодые люди, изъ которыхъ потомъ образовалось Арзамасское общество <sup>4)</sup>.

Направленіе въ образованіи было либеральное. Самъ государь,

<sup>1)</sup> Перепечатаны въ Русск. Архивѣ 1876, кн. 3. Содержаніе ихъ изложено въ Ист. русск. слов. Галахова, II, 276—282.

<sup>2)</sup> Смотр. у Майкова: Сочиненія Батюшкова II, 411—417; у Галахова въ Ист. русск. словесности II, 276—281.

<sup>3)</sup> Смотр. у Майкова: Сочиненія Батюшкова I, 48—54.

<sup>4)</sup> Взглядъ на мою жизнь И. И. Дмитріева 47—51; 78.

любимый внукъ поклонницы Вольтера, импер. Екатерины, былъ воспитанникомъ республиканца, швейцарца Лагарпа, который познакомилъ еще въ молодости своего ученика со всѣми идеями философіи и литературы XVIII в. Упомянутые выше люди, обружавшіе государя и стоявшіе во главѣ государственнаго управленія, были воспитаны еще при Екатеринѣ и также на сочиненіяхъ той же философіи и литературы. Графъ П. А. Строгановъ былъ воспитанникомъ француза Ромма, одного изъ якобинцевъ <sup>1)</sup>; графъ Кочубей воспитывался въ Женевѣ и Лондонѣ, гдѣ познакомился съ политическими науками; графъ Новосильцевъ четыре года жилъ въ Англіи и изучалъ также англійскія политическія учрежденія. Въ домѣ Муравьевыхъ воспитателемъ дѣтей былъ швейцарецъ, якобинецъ Петра. Въ домѣ Салтыковыхъ гувернеромъ былъ родной братъ Марата, который былъ извѣстенъ потомъ подъ именемъ Будри и съ этимъ именемъ сдѣлался преподавателемъ французской словесности въ царскосельскомъ лицѣѣ и былъ учителемъ Пушкина <sup>2)</sup>. Вообще отцы и дѣды общественныхъ дѣятелей и писателей александровской эпохи получали иностранное образованіе и любили у себя дома составлять библіотеки иностранныхъ, преимущественно французскихъ писателей, которыя потомъ служили источникомъ образованія для ихъ дѣтей и внуковъ. Такъ, у отца Батюшкова, поклонника философіи XVIII в., была большая библіотека, которая и послужила образованію его сына. Ужасы французской революціи, напугавшіе всю Европу, бросили мрачную тѣнь на иностранное образованіе, на французскую философію и литературу; многіе не только перестали увлекаться ими, но и дѣлались ихъ преслѣдователями. Книга Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“, какъ самый осязательный примѣръ того сильнаго вліянія, какое производила на русскихъ образованныхъ людей французская философія, подверглась осужденію, вмѣстѣ съ ея авторомъ, была запрещена и изъята изъ употребленія. Но когда прошла революціонная гроза, уваженіе къ французской философіи и иностранной литературѣ явилось снова и особенно усилилось въ началѣ царствованія Александра. Въ собраніяхъ „Вольнаго общества любителей словесности, наукъ и художествъ“, основаннаго въ 1801 г. для распространенія новаго, Карамзинскаго литературнаго направленія, читались переводы изъ Беккаріи, Филанжіери, Мабли, Рейналя, Вольнея и другихъ историковъ и публицистовъ XVIII в., на которыхъ воспитался Радищевъ и которые дали содержаніе его книгъ. Въ сборникѣ этого общества, въ „Свѣтѣ музъ“ 1803 г. издателями его было заявлено горячее сочувствіе къ Радищеву, а въ

<sup>1)</sup> Объ этомъ Роммѣ см. статью въ Русскомъ Архивѣ 1887 г. кн. 1.

<sup>2)</sup> См. у Пыпина: Общ. движ. при Александрѣ I, 2-е изд. стр. 75.

Сѣверномъ Вѣстникѣ 1805 г. была даже напечатана цѣлая глава изъ его „Путешествія“, „Клинъ“, подъ заглавіемъ: „Отрывокъ изъ бумагъ одного россиянина“; при этомъ издателями присовокуплено было слѣдующее примѣчаніе: „Читатели найдутъ въ семъ сочиненіи не чистоту русскаго языка, но чувствительныя мѣста. Издатели смѣютъ надѣяться, что тѣни усопшаго автора первое будетъ прощено ради послѣдняго“<sup>1)</sup>. Чтобы распространить въ русскомъ обществѣ господствовавшія въ это время въ Европѣ идеи объ устройствѣ государства и государственномъ управленіи, нашли нужнымъ перевести на русскій языкъ вполнѣ главные политическія и политико-экономическія сочиненія, каковы: „Разсужденіе о преступленіяхъ и наказаніяхъ“ Беккаріи (перев. въ 1803), „Разсужденіе о гражданскомъ и уголовномъ законоположеніи“ Бентама (1805—1811), „О существѣ законовъ“ Монтескье (1814 г.), „Исслѣдованіе свойствъ и причинъ богатства народовъ“ Адама Смита (1803—1806), „Политическая экономія, или о государственномъ хозяйствѣ“ Верри (въ 1810). Самимъ правительствомъ опять поднятъ былъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, и явилось нѣсколько сочиненій объ этомъ предметѣ (Разсужденіе Андрея Кайсарова — *Dissertatio.... de manumittendis per Russiam servis. Gottingae. 1806*). Наконецъ въ 1809 г. начались разныя реформы по части внутренняго государственнаго управленія, главнымъ дѣтелемъ которыхъ былъ Сперанскій.

Такимъ образомъ въ царствованіе Александра продолжалось усвоеніе идей философіи и литературы XVIII в., но надобно замѣтить, что это усвоеніе имѣло другой характеръ, чѣмъ въ царствованіе Екатерины. При Екатеринѣ оно имѣло характеръ консервативно-эклектическій. „Мой девизъ, говорила она, пчела, которая, летая съ растенія на растеніе, собираетъ медъ для своего улья, и надпись: полезное“. Примѣняя къ русской жизни идеи новой науки и литературы, она выбирала только существенно-необходимое и не касалась ни основы существующаго государственнаго строя, ни издавна установившихся формъ народной жизни, и сама, рядомъ съ изученіемъ европейской науки и литературы, изучала и другихъ возбуждала къ изученію русской исторіи и народной поэзіи. Образецъ такого отношенія ея къ европейской наукѣ и русской народности представляетъ и ея „Наказъ“. Такихъ же воззрѣній держалась и вся литература Екатерининской эпохи, проводившая въ своихъ сочиненіяхъ идеи „Наказа“. Но въ другомъ совѣтѣ направленія дѣйствовали Александръ и его сподвижники; вводя разныя реформы, они уже не хотѣли держаться указаннаго консервативнаго направленія.

Нѣтъ сомнѣнія, что иностранное воспитаніе подъ руковод-

---

<sup>1)</sup> См. у Майкова: Сочиненія Батюшкова I, 39—40.

ствомъ иностранныхъ учителей, по сочиненіямъ европейской науки и литературы, приносило большую пользу для общаго развитія русскихъ людей, но съ другой стороны нельзя отрицать и того, что оно было и вредно,—потому что совершенно отдаляло ихъ отъ русской жизни и содѣйствовало развитію того космополитизма, который, начавшись прежде, особенно усилился въ царствованіе Александра. Извѣстно, что самого Александра современники, а потомъ и потомки упрекали „въ недостатѣ народнаго чувства и любви къ Россіи, живаго сознанія нуждъ и потребностей русскаго народа“, и указывали на то, что въ его политикѣ отвлеченныя соображенія космополитическаго свойства часто одерживали верхъ надъ прямыми и существенными потребностями Россіи и что даже въ средѣ самой близкой къ нему и самой вліятельной появлялись иногда лица, желавшія дѣйствовать вопреки интересамъ Россіи и въ явный ущербъ русскому народу. Изъ русскихъ людей выходили люди съ высокими стремленіями и обширными познаніями, которыми они часто удивляли иностранцевъ; но эти люди до того благоговѣли предъ западной наукой и культурой, что холодно и съ пренебреженіемъ относились къ своей народности, къ родному языку и отечественной исторіи. Мы указали выше на семейства Тургеневыхъ и Муравьевыхъ, какъ на главные центры образованія въ александровскую эпоху, но изъ этихъ же семействъ выходили и декабристы. Можно сказать, что почти всѣ образованные люди конца XVIII и начала XIX в., даже тѣ, которые сдѣлались извѣстными въ исторіи какъ горячіе патріоты и защитники русской народности, сначала увлекались космополитическими чувствами. „Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіогноміи суть не что иное, какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размысленіи..... Все народное ничто передъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы и выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ“ писалъ въ 1790 г. изъ Парижа въ Россію Карамзинъ, тотъ самый Карамзинъ, который вскорѣ явился самымъ горячимъ народнымъ патріотомъ, который создалъ „Исторію государства російскаго“ и этой исторіей пробудилъ въ русскомъ обществѣ чувство народности. Въ страстномъ, юношескомъ увлеченіи поразившей его европейской цивилизаціей, Карамзинъ (ему было тогда только 23 года) еще не замѣчалъ, что народность есть не что иное, какъ только индивидуальная форма общечеловѣческаго духа, что человѣческое не можетъ существовать безъ народнаго, какъ необходимой формы, въ которой оно выражается; что само человѣчество существуетъ только въ идеѣ, а въ

дѣйствительности живутъ народы, а потому, чтобы быть человѣкомъ и служить человечеству, непременно надобно принадлежать къ какому нибудь народу, и конечно къ тому народу, обществу, средѣ, которымъ мы обязаны своимъ бытіемъ, и съ которымъ мы тѣсно связаны вѣрою, законами, нравами и обычаями.

Графъ Завадовскій въ 1800 г. писалъ къ А. Р. Воронцову: „Ежели не всё, то однакоже многія пробѣжалъ я наши исторіи: хаосъ не очищенный отъ лжи и невѣжества. Стоять одни имена и числа, а прочее все завалено грубымъ слоємъ.... Пишущимъ монахамъ не спорили монастырскія стѣны, а міръ легковѣрный, потому что не просвѣщенный, всякую всячину принималъ за истину, яко исходящую отъ святыхъ. Симъ образомъ, я полагаю, составила исторія нашей древности, на которую по пустому устремляемъ наше любопытство. Несторъ первый поступилъ во тьму необъятную, но его факелъ освѣтилъ ли намъ горизонтъ? Въ безднѣ дивныхъ народовъ, препиравшихся между собою, едва виденъ Россѣ. Всю полосу до царства Іоанна Васильевича должно откинуть *in loca imaginaria*, каковы полагались, прежде чѣмъ знали физику, за предѣлами земной сферы. Но и сія эпоха перемѣшана подобнымъ мракомъ, каковымъ объаты широкіе напуски отъ Китая, отъ Чингисхана и отъ вѣрующихъ въ Магомета. Потому исторія наша всегда будетъ для читателя скучна, если черпать оную хотимъ глубже, а не отъ временъ Петра В.. Для просвѣщающагося вѣка пріятнѣе повѣсть отъ начала просвѣщенія и отъ имени виновника онаго.—Когда ты занимаешься Плутархомъ, то сравни умъ и силу его изображеній противъ святыхъ и мірскихъ нашихъ писателей, и увидишь всю жалкую бѣдность сихъ послѣднихъ. По моему мнѣнію, только та исторія и пріятна и полезна, которую или философы, или политики писали. *Но еще наши науки и нашъ языкъ не достигли до того, то и лучше пользоваться чужимъ хлѣбомъ, чѣмъ грызть свои сухари со ржавчиною.* Когда пріѣдешь въ Москву, пришли мнѣ каталогъ продажныхъ французскихъ книгъ“. Соглашаясь, что и въ древнемъ періодѣ нашей исторіи были важныя происшествія, какъ напр. въ царствованіе Іоанна Грознаго, онъ однако же, по поводу Исторіи Щербатова, говоритъ, что всю эту древнюю исторію можно помѣстить на одной страницѣ: „Писателю просвѣщенному довольно было бы одной страницы, *чтобы наши всѣ матеріалы на времена до Петра I вмѣстить въ оную.* Но еще не перевелись, и не такъ скоро прейдутъ любители книгъ за толщину оныхъ. Впрочемъ, древнія начала всѣхъ государствъ суть темная ночь, которую я просыпаю безъ сказокъ и безъ сновидѣній, убѣдившись въ томъ всемірною исторіею“ <sup>1)</sup>. Такія выходки

---

<sup>1)</sup> Семейная хроника Воронцовыхъ А. Г. Бригнера. Вѣстн. Евр. 1857, сентябрь.

противъ древней отечественной исторіи и древнерусскаго и славянскаго языковъ, выходяки совершенно непонятныя нынѣ, могутъ быть объяснены именно только тѣмъ космополитизмомъ высшаго образованнаго общества, который развился подъ вліяніемъ иностраннаго воспитанія и который заставляетъ оставлять въ пренебреженіи все отечественное. Отечественное казалось ниже потому, что оно издавно было заброшено, не разработано и превратилось въ сухари со ржавчиной. Завадовскій самъ говорить, что начатки исторіи и просвѣщенія у каждаго народа бываютъ скудны, что и самыя блестящія и драгоценныя камни бываютъ покрыты корой и смѣшаны съ грязью и только очищенные и обдѣланные являются въ настоящемъ своемъ видѣ.

Такія же воззрѣнія на русскую старину и древнюю русскую исторію вскорѣ высказаны были поэтомъ Батюшковымъ. Въ 1809 г. онъ писалъ къ другу своему Гнѣдичу: „Нѣтъ, невозможно читать русской исторіи хладнокровно т. е. съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все равно. Она дѣлается интересной только со временъ Петра В.. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли: читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находить пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ; читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, Литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человѣкъ; нѣтъ середины! Великій, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу, мелкій, ибо занимаешься пустяками.... Отъ одного слова русскіе, не встати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ... Глинка называетъ свой *Вѣстникъ русскимъ*, какъ будто пишетъ въ Китаѣ для миссіонеровъ, или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжать, нашептываютъ: русское, русское, русское.... а я потерялъ вовсе терпѣніе“. Въ 1816 г., по поводу разсужденія Каченовскаго о славянскомъ и въ особенности церковномъ языкѣ, Батюшковъ къ тому же Гнѣдичу писалъ: „Нѣтъ, никогда я не имѣлъ такой ненависти къ этому мандаринскому, рабскому, татарско-славянскому языку, какъ теперь. Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и размышляю, тѣмъ болѣе удостоверяюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славянизмовъ. Когда переведутъ св. Писаніе на языкъ человѣческій? Дай, Боже! желаю этого“!.... Въ 1811 г. онъ писалъ къ Гнѣдичу: „Отгадайте, на что я начинаю сердиться? на что? на русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ то самъ по себѣ плоховать, грубенежъ, пахнетъ татарщиной. Что за *ы*, что за *ш*? что за *ш*, *шій*, *шіи*, *при*, *тры*? О варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ



чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что слово, то блаженство“. По поводу своей элегіи Батюшковъ говоритъ: „Я смѣшонъ по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпаго нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ задумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что ни говори“.

Не всѣ, конечно, образованные люди конца XVIII и начала XIX в. доходили до такихъ крайностей космополитизма, но всѣ болѣе или менѣе были налитаны имъ, особенно богатые и знатные. Они владѣли иногда обширными свѣдѣніями по разнымъ предметамъ науки и литературы, но изъ этихъ свѣдѣній не дѣлали никакихъ употребленій и приложеній не только вообще для Россіи, но и для своей жизни. Они иногда гораздо лучше знали, что было и что дѣлается въ Италіи, чѣмъ въ Россіи и даже въ ихъ собственныхъ имѣніяхъ. Замѣчательный типъ такихъ людей представляетъ сенаторъ и библіофилъ графъ Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ (1763—1829), у котораго была огромная библіотека и музей, сгорѣвшіе въ 1812 г. Онъ не выѣзжалъ изъ Россіи, и зналъ твердо разнообразныя мѣстныя нарѣчія итальянскаго языка и французскаго народонаселенія, зналъ наизусть до малѣйшихъ подробностей топографію Рима, Неаполя, Парижа. Онъ удивлялъ иностранцевъ своимъ энциклопедическимъ всевѣдніемъ; слушая его, они думали, что онъ много времени прожилъ въ той или другой мѣстности и едва вѣрили, когда графъ признавался имъ, что еще не выѣзжалъ изъ Россіи <sup>1)</sup>.

Космополитизмъ, страсть ко всему иностранному имѣли вредныя послѣдствія и для религіозныхъ убѣжденій русскихъ людей, развивая въ нихъ сначала религіозный индифферентизмъ и потомъ отступничество отъ православной вѣры и церкви. Это отступничество особенно обнаруживалось въ женскомъ аристократическомъ обществѣ, которое, получивъ иностранное воспитаніе и живя постоянно за границей, совершенно забывало свою вѣру и въ случаѣ запросовъ совѣсти и разныхъ религіозныхъ и нравственныхъ потребностей обращалось не къ православной церкви, которой оно съ дѣтства чуждалось, потому что совершенно ея не знало, но къ европейской вѣрѣ и преимущественно къ католической церкви, духовенство которой и всего болѣе іезуиты умѣли пользоваться религіознымъ невѣжествомъ русскихъ женщинъ. Это особенно обна-

---

<sup>1)</sup> Сочин. кн. Вяземскаго. VIII, 166.

ружилось въ эпоху отечественной войны, когда вслѣдствіе сильныхъ потрясеній, потерь и вообще разныхъ несчастій понадобились религіозныя утѣшенія,—за этими утѣшеніями тогда обращались не къ православной церкви и ея духовенству, а къ разнымъ мистическимъ сектамъ, другіе переходили въ католичество. Супруга Ѳ. В. Растопчина, графиня Екатерина Петровна, урожденная Протасова, еще въ 1812 г. обратилась въ католичество, подъ вліяніемъ одной французской книги, данной ей іезуитомъ, аббатомъ Сюррюжъ. Сестры графини Растопчиной, княгиня А. П. Голицына (ум. 1842), графиня В. П. Протасова (ум. 1852) и В. П. Васильчикова (ум. 1814), С. П. Свѣчина, графиня М. А. Воронцова и многія другія также перешли въ католичество, при содѣйствіи бывшаго сардинскаго посланника при русскомъ дворѣ, графа Іосифа де Местра <sup>1)</sup>. Въ Одессѣ въ лицей директоромъ былъ іезуитъ Николь и ввелъ въ лицей іезуитскую систему воспитанія. Въ самомъ Петербургѣ при Александрѣ существовалъ іезуитскій пансіонъ; воспитывавшіяся здѣсь русскія дѣти иногда наизусть знали католическую обѣдню, но не понимали православнаго богослуженія. Очень много также распространяли католичество послѣ революціи явившіеся въ Россію эмигранты и эмигрантки. Между послѣдними была извѣстна въ высшихъ петербургскихъ кругахъ эмигрантка княгиня де-Тарантъ <sup>2)</sup>. Но и независимо отъ иностранной и инوѣрной пропаганды иностранное, преимущественно французское, воспитаніе отдавало русскихъ образованныхъ людей и особенно женщинъ отъ вѣры православной, отъ обрядовъ и языка своей церкви. „До какой степени такъ называемая галломанія, говоритъ Майковъ, содѣйствовала къ сближенію съ католичествомъ, видно изъ примѣра В. П. Тургеневой, матери знаменитаго романиста, которая даже не будучи католичкой читала молитвы на французскомъ языкѣ“ <sup>3)</sup>.

Вредныя послѣдствія такого воспитанія были неизбѣжны. „Съ нравственностію, говоритъ Шашковъ, не то дѣлается, что съ естественностію. Курица, высиженная и вскормленная уткою, остается курицею и не пойдетъ за нею въ воду; но русскій, воспитанный французами, всегда будетъ больше французъ, нежели русскій“. Сколько въ образованномъ обществѣ можно было встрѣтить такихъ людей, которые чисто говорили по французски, но не могли правильно написать двухъ-трехъ строкъ по русски. Были даже

---

<sup>1)</sup> См. А. Н. Попова—Москва въ 1812 г., въ Русс. Архивѣ 1875, кн. II стр. 278—279.

<sup>2)</sup> См. Русс. Арх. 1866 г.

<sup>3)</sup> Воспоминанія о семьѣ И. С. Тургенева. В. П. Житовой. Вѣстн. Евр. 1884, ноябрь, стр. 86. См. у Майкова. Сочин. Батюшкова, II, 388—389.

градоначальники, затруднявшіеся въ объясненіяхъ съ подчиненными, которые не говорили по французски.

Война съ французами въ 1812 году, сопровождавшаяся страшными бѣдствіями, пробудила въ русскомъ обществѣ чувства патриотизма и народности. Тѣ же самыя лица, которыя прежде такъ громко высказывали свои космополитическія воззрѣнія, прониклись негодованіемъ и ненавистью къ французамъ. „Я слишкомъ живо чувствую раны, нанесенныя моему отечеству, писалъ тотъ же поэтъ Батюшковъ въ Гнѣдичу въ октябрѣ двѣнадцатаго года, чтобы минуту быть спокойнымъ. Ужасные поступки вандаловъ, или французовъ, въ Москвѣ и ея окрестностяхъ, поступки, безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ“.... Какъ прежде ужасы французской революціи поколебали гуманныя убѣжденія Карамзина и заставили его воскликнуть: „Вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя; въ крови и пламени не узнаю тебя; среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя“, такъ теперь Батюшковъ высказываетъ негодованіе противъ той самой образованности, подъ влияніемъ которой онъ воспитывался и предъ которой благоговѣлъ. „Варвары, вандалы, прибавляетъ онъ. И этотъ народъ изверговъ осмѣлился говорить о свободѣ и философіи, о челоуѣколюбіи. И мы до того были ослѣплены, что подражали имъ какъ обезьяны“<sup>1)</sup>. Карамзинъ въ своемъ Предисловіи къ Исторіи государства русскаго говорилъ: „Истинный космополитъ есть существо метафизическое, или столь необыкновенное явленіе, что нѣтъ нужды говорить о немъ, ни хвалить, ни осуждать его“... „Хвастливость авторскаго краснорѣчія и нѣга читателей осудятъ ли на вѣчное забвеніе дѣла и судьбу нашихъ предковъ? Они страдали и своими страданіями изготавили наше величіе; а мы не захотимъ и слушать о томъ, ни знать, кого они любили, кого обвиняли въ своихъ несчастіяхъ. Иноземцы могутъ пропустить скучное для нихъ въ нашей древней исторіи; но добрые руссіане не обязаны ли имѣть болѣе терпѣнія, слѣдуя правилу государственной нравственности, которая ставитъ уваженіе къ предкамъ въ достоинство гражданину образованному“.

Литература приняла народно-патріотическое направленіе. Это направленіе выражается въ одахъ и другихъ стихотвореніяхъ Карамзина, Дмитріева и Жуковскаго, въ драмахъ Озерова (Димитрій Донской, 1807 г.), Крюковскаго (Пожарскій, 1807), въ афишахъ графа Ѳ. В. Растопчина, въ разсужденіяхъ, манифестахъ, грамотахъ, рескриптахъ, приказахъ по арміямъ и другихъ извѣщеніяхъ, выходившихъ изъ подъ пера А. С. Шишкова. Въ 1808 г. С. Глин-

---

<sup>1)</sup> См. у Майкова, въ Біографіи Батюшкова. Сочин. Батюшкова I, 160—161.

ка основалъ „Русскій Вѣстникъ“ съ цѣлю возбуждать народный духъ къ борьбѣ съ французами. Вліяніе этого журнала было такъ сильно, что оно встревожило Наполеона, и французскій посолъ Коленкуръ жаловался русскому правительству на непріязненный духъ Вѣстника; а самого Глинку, по его энергіи и патріотическому энтузіазму, современники сравнивали съ Жанной д'Аркъ. Съ также патріотическою цѣлю въ 1812 году былъ основанъ Н. И. Гречемъ „Сынъ Отечества“. Но самымъ неутомимымъ органомъ патріотизма была „Бесѣда любителей русскаго слова“ (1811—1819), издававшаяся подъ управленіемъ А. С. Шишкова. Шишковъ первый, еще въ 1803 г. въ своемъ „Разсужденіи о старомъ и новомъ слогѣ російскаго языка“, возставаъ противъ порчи русскаго языка внесеніемъ въ него иностранныхъ словъ и оборотовъ, ставилъ въ связи эту порчу съ иностраннымъ воспитаніемъ русскаго общества. „Начало онаго (зла), говорилъ онъ, происходитъ отъ образа воспитанія: ибо какое знаніе можемъ мы имѣть въ природномъ языкѣ своемъ, когда дѣти знатнѣйшихъ бояръ и дворянъ нашихъ отъ самыхъ юныхъ ногтей своихъ находятъ на рукахъ у французовъ, прилѣпляются къ ихъ нравамъ, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получаютъ весь образъ мыслей ихъ и понятій, говорятъ языкомъ ихъ свободнѣе, нежели своимъ, и даже до того заражаются къ нимъ пристрастіемъ, что не токмо въ языкѣ своемъ никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать онаго, но еще многіе симъ постыднѣйшимъ изъ всѣхъ невѣжествомъ, какъ бы нѣкоторымъ украшающимъ ихъ достоинствомъ, хвастаютъ и величаются“ (стр. 5—6). „Французы прилежаніемъ и трудолюбіемъ своимъ умѣли бѣдный языкъ свой обработать, вычистить, обогатить и писаніями своими прославиться на ономъ; а мы богатый языкъ свой, не рача и не помышляя о немъ, начинаемъ превращать въ скудный. Надлежало бы взять ихъ за образецъ въ томъ, чтобъ подобно имъ трудиться въ созданіи собственнаго своего краснорѣчія и словесности, а не въ томъ, чтобъ найденныя ими въ ихъ языкѣ ни мало намъ не сродныя красоты перетаскивать въ свой языкъ“ (стр. 11—12).

Но чувство народности и патріотизма, такъ сильно заявившее себя во время отечественной войны, быстро прошло съ окончаніемъ этой войны и снова явилась галломанія, отъ которой не могли совершенно освободиться даже во время войны, такъ какъ подъ вліяніемъ ея воспитывались еще съ дѣтства. Мы указали выше на письма въ Нижній изъ Москвы И. М. Муравьева, весьма интересныя для характеристики русскаго общества въ эпоху отечественной войны. Въ этихъ письмахъ изображается, какъ москвичи, пострадавшіе отъ Наполеона и французовъ, не могли однакоже отдѣлаться отъ французской цивилизаціи, усвоенной ими съ малыхъ лѣтъ, такъ что продолжали жить по французски, собирались во французскіе

клубы, читали французскіе романы, танцевали французскія кадрили и даже проклинали французовъ на французскомъ языкѣ. Въ 1815 г. послѣ возвращенія русскихъ войскъ изъ за границы начали распространяться политическія либеральныя общества; русскіе офицеры, во время пребыванія въ Парижѣ, подчинились французскимъ воззрѣніямъ. Въ это время по всей Европѣ и особенно во Франціи повсюду разсѣяны были разныя тайныя политическія общества, которыя перенесены были и въ Россію. Н. Н. Муравьевъ-Карскій рассказываетъ о томъ, какъ изъ знакомыхъ ему молодыхъ людей составилъ тѣсный дружескій кружокъ, нѣчто въ родѣ тайнаго общества. „Какъ водится въ молодые лѣта, говоритъ онъ объ этомъ кружкѣ, мы судили о многомъ, и я, не ставя преграды воображенію своему, возбужденному чтеніемъ *Contrat social* Руссо, мысленно начерчивалъ себѣ великія предположенія въ будущемъ. Думалъ и выдумалъ слѣдующее: удалиться на какой-нибудь островъ, населенный дикими, взять съ собою надежныхъ товарищей, образовать жителей острова и составить республику. У общества были свои условленные знаки для узнаванія другъ друга при встрѣчѣ. Ребяческій этотъ бредъ прошелъ, когда наступили событія 12-го года; но потомъ нѣкоторые изъ членовъ кружка стали декабристами, другіе видными государственными дѣятелями“<sup>1)</sup>.

Извѣстно, что во второй половинѣ XVIII в. весьма важную роль играли масонскія ложи; Екатерина не любила ихъ и, испуганная французской революціей, закрыла ихъ. Но въ началѣ царствованія Александра масонскія ложи возобновились, и распространились разныя мистическія ученія. Возстановлены были нѣкоторыя прежнія ложи и открыты новыя, не только въ столицахъ, но и въ провинціальныхъ многолюдныхъ городахъ. Отличительную черту новыхъ масонскихъ обществъ составляло то, что они стояли болѣе на теоретической почвѣ, чѣмъ на практической, какъ это было при Новиковѣ, Лопухинѣ и Тургеневѣ, и имѣли болѣе мистическій, внутренній характеръ, чѣмъ внѣшній, ритуальный. Изъ дѣятелей такихъ мистико-масонскихъ ложъ особенно выдавались *Лабзинъ*, издававшій „Сіонскій Вѣстникъ“ (въ 1806 и 1817—1818 г.), гдѣ излагалось мистическое ученіе Бэма, Эквартсгаузена и другихъ мистиковъ и переводились ихъ сочиненія, и *Невзоровъ*, издававшій другою мистическій журналъ „Другъ юношества“. Мистическое направленіе впрочемъ, можно сказать, существовало во всемъ современномъ обществѣ и независимо отъ масонства. Многіе держались масонскаго ученія и не будучи масонами, напр. Сперанскій, кн. А. Н. Голицынъ и многія изъ духовныхъ лицъ. Самъ импер.

---

<sup>1)</sup> Новые мемуары объ Александровской эпохѣ. А. Н. Пыпина. Вѣстн. Евр. 1887 декабрь, стр. 673—674.

Александръ любилъ посѣщать собранія, гдѣ проповѣдывалось мистическое ученіе, былъ въ сношеніяхъ съ г-жею Крюднеръ, принималъ къ себѣ квакеровъ и бесѣдовалъ съ ними. Нѣкоторыя мистико-масонскія общества имѣли политическія тенденціи, вслѣдствіе чего въ 1822 г. всѣ масонскія ложи были закрыты. Политическій элементъ, впрочемъ, проникалъ и въ такія общества, которыя имѣли редигозно-нравственныя цѣли, или вообще образовательныя стремленія, напр. Библейское общество, основанное въ концѣ 1812 г. для распространенія въ народѣ свящ. Писанія, въ переводахъ на народныя языки (существовало до начала 20-хъ годовъ), ланкастерскія школы, открытыя въ 1819 г. въ Петербургѣ, гдѣ составилось общество учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія. Наконецъ стали составляться и настоящія тайныя политическія общества, по образцу западныхъ политическихъ обществъ, и особенно по образцу нѣмецкаго политическаго общества „Тугендбундъ“. Все это броженіе, навѣянное разными западными вліаніями, религіозными и политическими, вызвало дикія нападенія вообще на просвѣщеніе архимандрита Фотія, министерство просвѣщенія князя Голицина, названное министерствомъ потемнѣнія, грубую араччевщину и привело къ катастрофѣ 14 декабря, слѣдствіемъ которой явилась уже другая система въ образованіи и управленіи, совершенно противоположная Александровской системѣ.

На смѣну ложно-классическаго направленія явилось новое, *сантиментальное*. Въ европейскихъ литературахъ оно было протестомъ противъ искусственности и сухости классической школы, противъ искусственности и испорченности жизни въ высшихъ сословіяхъ, протестомъ природы противъ неправильно развившейся цивилизаціи. Впрочемъ аналогичныя явленія сказавшемуся въ *сантиментальномъ* направленіи были извѣстны и въ древнемъ мірѣ. Извѣстно, что въ Греціи, въ эпоху александрійскую, когда слишкомъ усилилась роскошь и нравы испортились, явилось желаніе возвратиться къ природѣ и простой жизни; развилась идиллическая поэзія, Теокрытъ и его школа начали рисовать сцены изъ жизни простыхъ людей, пастуховъ, земледѣльцевъ, рыбаковъ и пр. Подобнымъ образомъ и въ Римѣ, въ эпоху Августа, когда римская аристократія, пресыщенная богатою и роскошною жизнію и ея удовольствіями, томилась отъ скуки и пресыщенія и не знала, что съ собою дѣлать, энтузіастъ полей и лѣсовъ, Виргилій погналъ всѣхъ римскихъ богачей изъ города въ деревню, на свѣжій воздухъ природы, рисуя въ своихъ эклогахъ и Георгикахъ разные виды сельскаго хозяйства и прелести деревенской жизни. Тоже самое повторилось и въ Европѣ во второй половинѣ XVIII в., когда въ средѣ искусственной жизни, какъ въ душной комнатѣ,

человѣкъ задыхался отъ множества накопившихся въ ней міазмовъ цивилизаціи, явилась потребность освѣжиться чистымъ воздухомъ природы и жизни простыхъ людей; явилось обожаніе природы, мечты о небываломъ золотомъ вѣкѣ; развилась пастушеская поэзія; явился Руссо съ своими пламенными рѣчами противъ цивилизаціи. Съ другой стороны, сантиментальное направленіе было протестомъ противъ односторонности науки и философіи энциклопедистовъ. Философія энциклопедистовъ заботилась только о развитіи ума, обогащая его разными свѣдѣніями по разнымъ наукамъ, но нисколько не старалась о развитіи чувства, о воспитаніи нравственного характера; выходили люди съ образованіемъ, люди знающіе, но безъ сердца, безъ нравственного чувства. Сантиментальная литература, напротивъ, все вниманіе обращала на развитіе чувства, развивала чувство гуманности, гуманныя отношенія ко всѣмъ людямъ, воспитывала въ человѣкѣ нравственный характеръ. Но имѣя такой чистый источникъ и такія чистыя побужденія и намѣренія, сантиментальное направленіе само явилось на практикѣ одностороннимъ: преслѣдуя интересы чувства и нравственности, оно совершенно игнорировало интересы ума и образованія, и естественно скоро выродилось. Чувство превратилось въ ложную чувствительность, не управляемую и не просвѣщаемую здравымъ разсудкомъ. Истинная чувствительность обращается къ такимъ предметамъ, которые достойны сочувствія, выражается въ такихъ чувствахъ и ощущеніяхъ, которыя важны и интересны для всѣхъ людей; ложная чувствительность обратилась къ мелочамъ, не стоющимъ никакого вниманія; развилась склонность казаться нѣжнымъ, добрымъ и чувствительнымъ, совершенно не имѣя этихъ качествъ, склонность рисоваться своимъ чувствомъ, все преувеличивать, въздыхать или восторгаться по каждому ничтожному случаю.

Сантиментальное направленіе явилось прежде всего въ англійской литературѣ, вмѣстѣ съ романами Ричардсона и „Чувствительнымъ путешествіемъ“ Стерна, откуда и взято самое слово сантиментальный (sentimental), давшее имя цѣлому направленію. Изъ Англіи оно вскорѣ перешло во Францію. По подражанію „Клариссы“ Ричардсона (1748) Руссо написалъ „Новую Элоизу“, Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеръ романъ „Павелъ и Виргинія“. Новая Элоиза произвела необыкновенно сильное впечатлѣніе; въ ней самымъ краснорѣчивымъ образомъ изображалась вся искусственность городской жизни, весь вредъ цивилизаціи, и дѣлались самыя пламенные воззванія къ природѣ или къ жизни въ природѣ. Новая Элоиза произвела множество подражаній во всѣхъ литературахъ. „Путешествіе“ Стерна (1768) названо чувствительнымъ потому, что оно содержитъ въ себѣ не описаніе внѣшняго міра или тѣхъ предметовъ, которые путешественникъ встрѣчалъ на своемъ пути, а

изображеніе внутренняго міра его души, тѣхъ идей, ощущеній, чувствъ, которые возникали въ его душѣ при встрѣчѣ съ этими предметами. Въ Англіи Стерну подражалъ Макензи, написавшій „Чувствительнаго человѣка“, въ Германіи Георгъ Якоби, извѣстный своими „Лѣтними и зимними странствованіями“, во Франціи Вернь, написавшій два путешествія: „Чувствительный путешественникъ, или моя прогулка въ Ивердюнь“ и „Чувствительный путешественникъ во времена Робеспьера“, котораго французы называютъ своимъ Стерномъ. Въ предисловіи ко второму путешествію онъ объясняетъ свою главную мысль такимъ образомъ: „Такъ какъ мнѣнія выказываютъ слабость и несовершенство нашего ума, то я стараюсь доказать, что добрыя и благородныя чувства сердца должны господствовать надъ мнѣніями, должны быть выслушиваемы какъ единственный голосъ, не обманывающій человѣчества, какъ единственный законъ, на которомъ природа основываетъ счастье своихъ тварей. Послѣ злополучныхъ и кровавыхъ дней, пережитыхъ нами, послѣ того, какъ мы видѣли человѣческую природу, обезображенную звѣрскими страстями, оскверненную всѣми пороками, чувствуешь потребность успокоить душу созерцаніемъ этой природы въ ея первобытной красотѣ, въ сіяніи простыхъ добродѣтелей и слѣдующаго за ними счастья, въ томъ идеальномъ образцѣ, въ какомъ она должна была существовать по волѣ Творца.... Доброе сердце необходимѣ великихъ знаній, пускай же не ожидаютъ отъ меня поученій или описаній, представляемыхъ большинствомъ путешествій: первое и самое важное поученіе—люби своихъ ближнихъ“<sup>1)</sup>. Романы Ричардсона скоро явились и въ Россіи, въ переводѣ на русскій языкъ: Памела въ 1787 г., Кларисса въ 1791—92 г. и Грандисонъ въ 1793—94 г., въ 1794 г. явилось подражаніе Памелѣ: „Россійская Памела, или исторія Маріи, добродѣтельной по-селянки“ Львова, который за нее былъ названъ Антирихардсономъ. Изъ сочиненій Стерна были переведены въ 1789 г. „Письма Юрика“, а въ 1793 г. его „Путешествіе“. Первая часть Новой Элоизы была напечатана въ переводѣ еще въ 1769 г., а вся Элоиза была переведена два раза: въ 1792—93 и 1804 г. Переводы романовъ де-Сенъ-Пьера печатались въ журналахъ „Чтеніе для вкуса, разума и чувствованія“ и „Пріятное и полезное препровожденіе времени“, а потомъ вышли отдѣльно „Павелъ и Виргинія“ въ 1793 г., „Индійская хижина“ въ 1794 г. Такимъ путемъ было внесено сентиментальное направленіе въ русскую литературу. Но оригинальнымъ и самостоятельнымъ представителемъ его суждено было быть Карамзину.

1787g  
93, 91  
1789  
92  
1804

<sup>1)</sup> Галахова Ист. Русс. Слов. II. 122.



Карамзинъ является центральной личностію въ александровскую эпоху. Всѣхъ писателей этой эпохи можно раздѣлить на двѣ стороны; на одной сторонѣ стоялъ Карамзинъ и его послѣдователи и защитники его направленія; на другой сторонѣ, съ Шишковымъ во главѣ—противники Карамзина и защитники прежняго направленія. Борьба между этими двумя направленіями наполняетъ собою всю эту эпоху, составляя главное ея содержаніе, главный ея интересъ. Начавшись споромъ о старомъ и новомъ слоgѣ въ литературѣ, возбужденномъ первыми сочиненіями Карамзина, она, вслѣдствіе соціально-политическихъ обстоятельствъ, вскорѣ осложняется, отъ слога и языка переходитъ на самое содержаніе литературы и изъ области литературной переходитъ на почву общественную, поднимая множество разныхъ вопросовъ, которые наконецъ всѣ сливаются въ одинъ коренной вопросъ объ отношеніи русской народности къ европейской культурѣ, вопросъ, зародившійся вмѣстѣ съ реформой Петра, но до сихъ поръ не рѣшенный и составляющій большое мѣсто въ русской жизни и литературѣ.

### Н. М. КАРАМЗИНЪ <sup>1)</sup>.

14 16  
Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1 декабря 1766 г., въ Казанской губерніи, Симбирской провинціи, Самарскаго уѣзда, въ селѣ Михайловкѣ (Преображенское тожъ). Фамилія Карамзина объясняется

<sup>1)</sup> Изданія сочиненій Карамзина: 1-е изданіе, Москва 1803—1804; 2-е М. 1814; 3-е М. 1820; 4-е 1834; 5-е Смирдинское 3 ч. 1843. Неизданныя сочиненія Карамзина и переписка, 1862. Біографическія статьи и изслѣдованія: Дѣтство, воспитаніе и первые литературные опыты Карамзина, М. Погодина. Утро, 1866, стр. 1—50. Возврънтія Карамзина въ первую половину его литературной дѣятельности, А. Галахова. Спб. Вѣдомости 1886, № 322 и 325. Матеріалы для опредѣленія литературной дѣятельности Карамзина, А. Галахова. Соврем. 1853, № 1 и 2. Карамзинъ, какъ оптимистъ, А. Галахова. Отеч. Зап. 1853. № 1. Н. М. Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ, Погодина. 2 ч. М. 1866. Матеріалы для характеристики Карамзина, какъ практическаго философа, въ Лѣт. русск. литер. и древ. 1859 г. II. Торжественное собраніе Импер. Акад. Наукъ 1 декабря 1866, въ память столѣтней годовщины рожденія Н. М. Карамзина, съ приложеніемъ портрета и изображеній памятника, воздвигнутаго въ Симбирскѣ. Спб. 1867. Статьи, написанныя для произнесенія въ торжественномъ собраніи Казанскаго Университета въ столѣтній юбилей Карамзина: Біографическій очеркъ Карамзина и развитіе его литературной дѣятельности, Н. Н. Булича. Мысли Карамзина о воспитаніи, П. Д. Шестакова. Карамзинъ объ исторіи сѣверовосточной Россіи, Н. А. Ойрсова. Исторія государства російскаго въ отношеніи къ исторіи русскаго права, С. М. Шпилевскаго. Два слова въ память Карамзину, М. П. Петровскаго. Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина. академика Я. К. Грота. Сборн. 2-го отд. Ак. Н. т. I, 1867. Болѣе подробное указаніе изданій сочиненій Карамзина и

изъ происхожденія его рода. Родъ Карамзина происходитъ отъ татарскаго мурзы, Кара-мурзы (Черный мурза). Предки Карамзина были помѣщиками въ Нижегородскомъ уѣздѣ, но его дѣдъ уже владѣлъ двумя помѣстьями въ Симбирской губерніи; однимъ изъ нихъ, Михайловкой владѣлъ отецъ Карамзина, отставной комендантъ Михаилъ Егоровичъ; здѣсь и родился Н. М. Карамзинъ. Карамзинъ былъ такимъ образомъ уроженецъ и воспитанникъ великой русской рѣки, какъ Державинъ, Дмитріевъ и многіе другіе писатели; Волга и ея окрестности окружали Карамзина съ дѣтства и навсегда остались въ его воображеніи. Дѣтство Карамзина описано имъ самимъ, подъ именемъ Леона, въ неоконченной повѣсти „Рыцарь нашего времени“ (1799-1802). „Отъ колыбели до малой кровати, отъ жестяной гремушки до маленькаго раскрашеннаго конька, отъ первыхъ нестройныхъ звуковъ голоса до внятнаго произношенія словъ Леонъ (Карамзинъ) не зналъ неволи, принужденія, горя и сердца. Любовь питала и согрѣвала, тѣшила, веселила его, была первымъ впечатлѣніемъ его души“. Подъ этою любовью разумѣется любовь матери, которая умерла чрезъ три года. Въ 1795 г. въ „Посланіи къ женщинамъ“ онъ вспоминаетъ о ней въ слѣдующихъ стихахъ:

Ахъ, я не зналъ тебя!.... Ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!  
Среди весеннихъ, ясныхъ дней  
Въ жилище мрака преселилась!  
.....  
Но образъ твой священный, милый  
Въ груди моей запечатлѣнъ,  
И съ чувствомъ въ ней соединенъ!  
Твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство;  
Твой духъ всегда со мной.  
Невидимой рукой  
Хранила ты мое безопытное дѣтство;  
Ты въ лѣтахъ юности меня къ добру влекла,  
Ты совѣстью моею въ часъ слабостей была.  
Я часто тѣнь твою съ любовью обнимаю,  
И въ вѣчности тебя узнаю!....

ислѣдованій о немъ см. у Межова, Геннади и въ матеріалахъ для біографіи Карамзина Пономарева. Сборн. 2-го отд. Ак. Н. т. XXXII, № 8.

Исторія Государства Россійскаго, 8 ч. Спб. 1816—1818. 2-е изд. 12 ч. Спб. 1818—1829 (Изданіе Сленина и къ нему ключъ Строева, М. 1836). 3-е и 4-е Смирдинскія изданія. Полное компактное изданіе Эйнерлига, съ приложеніемъ отрывковъ изъ Записки о древней и новой Россіи. Спб. 1842—1844.—Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытіи ему памятника 23 августа 1845 г., М. П. Погодина. М. 1845 г. Н. М. Карамзинъ, А. Старчевскаго. 1849. Карамзинъ какъ историкъ. К. Н. Бестужева-Рюмина. Ж. М. Н. Пр. 1867, № 7. Статья о Карамзинѣ Соловьева, Отч. Зап. 1856 г. № 4. ,

1799

1802

1795

1773 Въ половинѣ октября 1773 г. въ Михайловкѣ была пайка Пугачева, но семейство Карамзина было ранѣе извѣщено о приближеніи ея и успѣло скрыться. Читать Карамзина училъ сельскій дьячекъ, удивлявшійся быстротѣ пониманія ученика; чрезъ мѣсяцъ онъ могъ читать всѣ церковныя книги. Первою свѣтскою книгою, которую Карамзинъ постоянно читалъ и выучилъ наизусть, были басни Эзопа. „Скоро отдали Леону ключъ отъ желтаго шкапа, въ которомъ хранилась бібліотека покойной его матери и гдѣ на двухъ полкахъ стояли романы, а на третьей нѣсколько духовныхъ книгъ“. Здѣсь, между прочимъ, были переведенныя съ французскаго Восточныя повѣсти Давира, Селимъ и Дамасина, Похожденія Мирамонда (Ф. Эмина, 1763), Исторія лорда Н (вѣроятно Приключенія Милорда, переведенныя съ французскаго въ 1771 г.). Чтеніе этихъ романовъ не только не повредило юной душѣ Леона, но было еще весьма полезно для образованія въ немъ нравственнаго чувства. Въ этихъ романахъ герои и героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными; всѣ злодѣи описываются черными красками: первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе какъ прахъ исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, по буквамъ неизгладимыми, начерталось слѣдствіе: „итакъ любезность и добродѣтель одно! итакъ зло безобразно и гнусно! итакъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ“. Но приписывая романамъ такое вліаніе, Карамзинъ однакожъ сознавалъ ихъ вредное дѣйствіе, говоря, что ихъ можно назвать теплицею для юной души, которая отъ такого чтенія зрѣетъ преждевременно. Этимъ онъ объяснялъ въ себѣ излишество юношеской мечтательности.—Читать книги Леонъ убѣгалъ на Волгу. Съ 6—7 часовъ онъ уже находился тамъ, сидя въ орѣховыхъ кустахъ подъ тѣнью древняго дуба. Иногда, оставивъ книгу, онъ смотрѣлъ на Волгу, на бѣлые паруса судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ..... Эта картина такъ сильно запечатлѣлась въ душѣ его, что онъ и послѣ, чрезъ 20 лѣтъ, не могъ вспомнить ее равнодушно. „Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы“. Мысль о Божествѣ была одною изъ первыхъ мыслей Леона. Однажды онъ сидѣлъ и читалъ по обыкновенію подъ тѣнію древняго дуба. Вдругъ нашла туча и ударилъ громъ, и онъ началъ собираться домой, какъ внезапно изъ густаго лѣса выбѣжалъ медвѣдь и прямо бросился на Леона.... но грянулъ опять страшный громъ и убилъ медвѣдя. Богъ спасъ Леона; Леонъ устремилъ глаза на небо и „не смотря на черныя тучи, онъ видѣлъ, чувствовалъ тамъ присутствіе Бога-Спасителя. Слезы его лились градомъ; онъ молился въ глубинѣ души своей, и молитва его была.... благодарность. Леонъ не будетъ уже

никогда атеистомъ, если прочтаетъ и Спинозу и Гоббеса и Систему натуръ“.—Чтеніе романовъ развивало въ Карамзинѣ сильное воображеніе и мечтательность. Въ письмѣ изъ Женевы (ХСІ) онъ пишетъ: „Вспомнилъ я одинъ вечеръ, сумрачный и бурный, въ который, ощутивъ вдохновеніе божественныхъ фей, укрывшись отъ своего, впрочемъ весьма бдительнаго, дядьки, забрался въ ту горницу, гдѣ хранились разныя оружія, покрытыя почтенною ржавчиною,—схватилъ саблю, которая пришлась мнѣ по рукѣ, и заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился на гумно искать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ; но чувствуя, по мѣрѣ удаленія моего отъ дому, умноженіе страха, махнулъ саблею нѣсколько разъ по черному воздуху и благополучно возвратился въ свою комнату, думая, что подвигъ мой былъ довольно важенъ“. Такъ еще въ дѣтствѣ началъ складываться романтическій характеръ, основой котораго была глубокая чувствительность. Образование должно было еще усилить его въ этомъ направленіи. Образование свое онъ получилъ въ московскомъ пансіонѣ Шадена.

Иоганнъ Матіасъ Шаденъ, родившійся въ Пресбургѣ, воспитанникъ Тюбингенскаго университета, былъ приглашенъ въ Московскій университетъ въ 1756 г. на должность ректора гимназій, открываемыхъ при университетѣ; кромѣ того, у Шадена былъ домашній пансіонъ, въ которомъ и учился Карамзинъ. Послѣдователь Лейбнице-Вольфіанской философіи, Шаденъ былъ деистъ по религіознымъ воззрѣніямъ; своимъ воспитанникамъ онъ преподавалъ нравственное ученіе по лекціямъ Геллерта, въ которыхъ образованіе соединялось съ религіознымъ направленіемъ и чистою нравственностью. Карамзинъ вспомнилъ о Геллертѣ съ глубокимъ чувствомъ благодарности, когда, во время своего путешествія по Европѣ, въ Лейпцигѣ онъ увидѣлъ памятникъ Геллерта. „Смотря на сей памятникъ..... вспомнилъ я то щастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библіотеку..... когда профессоръ, преподавая намъ, маленькимъ ученикамъ, мораль по Геллертовымъ лекціямъ, съ жаромъ говаривалъ: друзья мои, будьте таковы, каковыми учить бытъ васъ Геллертъ, и вы будете щастливы“.

Въ пансіонѣ Шадена Карамзинъ выслушалъ реторику, піитику, міеологію и классическіе языки, читалъ лучшихъ французскихъ классиковъ и учился также англійскому языку. Изъ пансіона Шадена Карамзинъ вышелъ 15-ти лѣтъ и думалъ довершить образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ, но это желаніе его не исполнилось, и онъ вмѣсто университета поступилъ въ военную службу, въ которой также оставался недолго. Первымъ опытомъ переводовъ Карамзина былъ переводъ съ нѣмецкаго Разговоровъ австрійской императрицы Маріи Терезіи съ нашей императрицей Елисаветой

175

1774  
1779  
100  
въ елисейскихъ поляхъ“, за который онъ получилъ отъ книгопродавца Миллера Фильдинговъ романъ „Томъ Джонсъ“; но переводъ этотъ до насъ не сохранился. Первымъ печатнымъ опытомъ былъ переводъ Геснеровой идилліи „Деревянная нога“ (1783 г.) По кончинѣ своего отпа въ 1774 году онъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства дѣлъ. Здѣсь онъ встрѣтился и познакомился съ поетомъ масономъ И. П. Тургеневымъ. Тургеневъ, замѣтивъ дарованіе Карамзина, увезъ его въ Москву и ввелъ въ общество Новикова. Четырехлѣтнее пребываніе въ этомъ обществѣ было для Карамзина чрезвычайно полезно. Оно не сдѣлало его масономъ: ясный умъ его не принималъ ничего мистическаго; но онъ усвоилъ себѣ все хорошее, чѣмъ крѣпко было масонство—строго религіозно-нравственное направленіе, гуманное отношеніе къ людямъ и любовь къ труду. Здѣсь онъ подружился съ Петровымъ, характеръ котораго онъ изобразилъ въ „Цвѣтѣхъ на гробъ моего Агатона“ (1793) и въ статьѣ „Чувствительный и холодный“ (1803) подъ названіемъ Леонида, и съ Алексѣемъ Михайловичемъ Кутузовымъ. Съ Петровымъ онъ сталъ заниматься литературой, читалъ Оссіана и Шекспира и изучалъ Батте, который былъ въ то время главнымъ авторитетомъ въ эстетикѣ и теоріи литературы. Наконецъ, общество Новикова имѣло вліяніе на выборъ его дѣятельности; именно вслѣдъ за Новиковымъ Карамзинъ исключительно посвящаетъ себя литературѣ, дѣлая ее призваніемъ своей жизни, тогда какъ прежніе писатели, преданные исключительно государственной службѣ, смотрѣли на литературныя занятія какъ на дѣло постороннее. Въ обществѣ Новикова Карамзинъ перевелъ Галлерову поэмѣ „О происхожденіи зла“ и дѣлалъ другіе переводы для „Дѣтскаго чтенія“, издаваемого при Московскихъ Вѣдомостяхъ, ~~изъ Плантація и Томсоновы~~ „Временя года“, перевелъ „Юлія Цезаря“ Шекспира (1787) съ французскаго перевода Латурнера и „Эмилию Галотти“ Лессинга (1788) съ нѣмецкаго. Чтобы докончить свое образованіе, въ 1789 г. Карамзинъ отправился за границу; онъ лично хотѣлъ видѣть тѣхъ знаменитыхъ писателей, съ которыми былъ знакомъ по ихъ сочиненіямъ, видѣть произведенія искусства и высокое вліятельное положеніе въ обществѣ, какое писатели имѣютъ въ Европѣ, поставляя литературную дѣятельность выше всякой другой службы, на которой бы можно было принести пользу своему отечеству. Въ полтора года онъ объѣхалъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію; свои впечатлѣнія отъ видѣнныхъ имъ странъ и городовъ, свои посѣщенія библіотекъ и музеевъ, свои бесѣды съ разными знаменитостями европейской науки и искусства онъ описалъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“, которыя первоначально назначались для родныхъ его, Плещеевыхъ, а потомъ сдѣлались

общимъ достоинствомъ всего русскаго общества. По возвращеніи изъ за границы Карамзинъ вздумалъ посвятить себя литературѣ; онъ началъ издавать „Московскій журналъ“ и издавалъ его два года сряду (1791—92). Журналъ нравился публикѣ; въ числѣ сотрудниковъ его были Державинъ и Херасковъ; изъ собственныхъ сочиненій Карамзина здѣсь были помѣщены „Бѣдная Лиза“ и „Наталья, боярская дочь“. Кромѣ того въ Московскомъ журналѣ помѣщались критическія статьи Карамзина, въ которыхъ разобраны: „Каждъ и Гармонія“ Хераскова, „Энеида, вывороченная на изнанку“ Осипова, „Генриада“ Вольтера, „Неистовый Орландъ“ Аріоста, „Путешествія Анахарсиса“ Бартеlemi, „Кларисса“ Ричардсона, „Эмилиа Галотти“ Лессинга и „Ненависть къ людямъ“ Коцебу. Но срочная журнальная работа утомляла Карамзина; онъ вздумалъ замѣнить журналъ сборникомъ; въ 1794 году вышелъ первый сборникъ „Аглая“. Здѣсь были напечатаны „Цвѣтокъ на гробъ Агатона“, „Нѣчто о наукахъ и искусствахъ“, „Островъ Борнгольмъ“, „Аонинская жизнь“, „Письма Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору“, „Илья Муромецъ“ и др. Одновременно съ первой книжкой „Аглая“ Карамзинъ снова издалъ свои сочиненія изъ Московскаго журнала въ двухъ частяхъ подъ заглавіемъ „Мои бездѣлѣи“ (1794). Въ 1795 г. Карамзинъ издавалъ Московскія вѣдомости. Въ 1796—97 г. онъ напечаталъ другой сборникъ: „Аониды или собраніе новыхъ стихотвореній“ (3 части); стихотворенія эти принадлежали Державину, Дмитріеву, Хераскову, Капнисту, Кострову и самому Карамзину. Въ 1798 г. Карамзинъ издалъ сборникъ переводовъ съ французскаго, нѣмецкаго и другихъ языковъ, подъ заглавіемъ: „Пантеонъ иностранныхъ писателей“; въ 1801 г. напечаталъ другой сборникъ: „Пантеонъ русскіихъ авторовъ“, гдѣ были помѣщены краткія характеристики нѣкоторыхъ русскіихъ писателей.

Такая литературная дѣятельность Карамзина доставила ему не только славу, но любовь и уваженіе общества; его имя произносилось повсюду, какъ имя самаго „любезнаго“ писателя, доставляющаго своими сочиненіями истинное наслажденіе; въ кругу литературномъ, гдѣ живъ былъ еще староста русской литературы, Херасковъ, его называли десятникомъ литературы; сочиненія его переводились на иностранныя языки.

Въ 1801 г. Карамзинъ женился на любимой дѣвушкѣ, Протасовой, сестрѣ жены Плещеева, къ семейству котораго были написаны его письма изъ за границы.

Въ томъ же 1801 г. вступилъ на престолъ императоръ Александръ I. Карамзинъ восторженно привѣтствовалъ его слѣдующими стихами:

1791.

179.

175

179

179

1801

1802

..... Какъ Ангелъ Божій ты сіяешь  
И благостью и красотою,  
И съ первымъ словомъ общаешь  
Екатерины вѣкъ златой.—  
Ты будешь солнцемъ просвѣщенія—  
Наукой щастливъ человѣкъ—  
И блескомъ твоего правленія  
Осмысленъ будетъ новый вѣкъ.

804

Возбужденный такими надеждами, онъ началъ въ 1802 г. издавать новый журналъ, „Вѣстникъ Европы“, (цѣлю котораго поставилъ содѣйствовать „нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ Россійскій, развить новыя лучшія идеи, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей“.) Черезъ посредство его русскіе должны были знакомиться съ европейской литературой и политикой. Сообразно съ этимъ въ журналъ были два отдѣла: литературный и политическій. Въ статьяхъ политическаго отдѣла Карамзинъ часто излагалъ собственныя соображенія о тогдашнихъ событіяхъ, основанныя на внимательномъ изученіи современной политики. Въ литературномъ отдѣлѣ Карамзинъ является горячимъ просвѣщеннымъ патріотомъ и затрогиваетъ важнѣйшіе общественные вопросы, задачи внутренней и внѣшней политики, преобразованія Александра и отношенія Россіи къ Наполеону. Предметами особенно обращавшими его вниманіе были воспитаніе юношества и вообще просвѣщеніе русскаго народа, возвышеніе національной гордости, пробужденіе самостоятельности въ общественной жизни. Но Карамзинъ издавалъ этотъ журналъ недолго. Онъ уже рѣшилъ посвятить свои силы исключительно русской исторіи. Съ этого времени уже прекращается его литературная дѣятельность и появляются статьи историческаго содержанія. Историческое похвальное слово Екатеринѣ, написанная въ 1804 г. повѣсть Марѳа Посадница, Историческія воспоминанія на пути къ Троицѣ и въ семь монастырѣ, Лица и событія историческія, которыя могутъ служить предметомъ искусствъ, Изображеніе событій важнѣйшихъ въ царствованіе Алексѣя Михайловича, Извѣстія иностранныхъ писателей о Россіи въ XVII в., описаніе окрестностей Москвы, О происхожденіи тайной канцеляріи—составляютъ подготовленіе къ исторіи. Въ 1803 г. Карамзинъ писалъ къ министру народнаго просвѣщенія М. Н. Муравьеву: „Будучи весьма небогатъ, я издавалъ журналъ съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы принужденною работою пяти или шести лѣтъ купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы,—однимъ словомъ сочинять русскую исторію, которая съ нѣкотораго времени занимаетъ всю мою душу. Теперь слабыя глаза мои не

805

Екат. Павловн. Писем

— 27 —

дозволяютъ трудиться по вечерамъ и принуждаютъ меня отказаться отъ *Вѣстника*. Могу и хочу писать исторію, которая не требуетъ поспѣшной и срочной работы,—но еще не имѣю способа жить безъ большой нужды. Съ журналомъ я лишаюсь 6000 рублей доходу. Если вы думаете, милостивый государь, что правительство можетъ имѣть нѣкоторое уваженіе къ человѣку, который способствуетъ успѣхамъ языка и вкуса, заслужилъ лестное благоволеніе российской публики и котораго бездѣлки, напечатанныя на разныхъ языкахъ Европы, удостоились хорошаго отзыва славныхъ иностранныхъ литераторовъ, то нельзя ли при случаѣ доложить императору о моемъ положеніи и ревностномъ желаніи написать исторію не варварскую и не постыдную для его царствованія“ (1). Вслѣдствіе ходатайства Муравьева Карамзинъ въ томъ же году получилъ званіе исторіографа и 2000 рублей пенсіи ежегодно. Муравьевъ испросилъ Карамзину дозволеніе пользоваться рукописями монастырскихъ библиотекъ и архива иностранной коллегіи, доставлялъ ему книги, какихъ нельзя было найти въ Москвѣ. Весьма много также помогалъ ему А. И. Тургеневъ, сынъ того И. П. Тургенева, который ввелъ его нѣкогда въ Новиковскій кружокъ. Онъ познакомилъ Карамзина съ академиками Кругомъ и Лербергомъ и приобрѣталъ для него новыя историческія сочиненія, выходившія за границей. Карамзинъ весь погрузился въ русскую исторію. „Сплю и вижу Никона съ Несторомъ“, писалъ онъ; находка Волинской или Ипатьевской лѣтописи, по собственному его признанію, лишила его сна на нѣсколько ночей. Чтобы не развлекаться въ историческихъ занятіяхъ, онъ не только отказался отъ журнала и литературы, но и не принялъ предложеній занять кафедру исторіи, предложенную ему отъ Дерптскаго и Харьковскаго университетовъ, находя профессорскую дѣятельность несомвѣстимою съ разработкой исторіи, которая теперь стала главнымъ дѣломъ его жизни.

Первая супруга Карамзина жила съ нимъ недолго—не болѣе года; въ 1804 г. онъ вступилъ во второй бракъ съ Екатериной Андреевной Вяземской, сестрой извѣстнаго поэта Вяземскаго. Подмосковная деревня Вяземскихъ, Остафьево сдѣлалось постояннымъ лѣтнимъ жилищемъ Карамзина въ теченіе 12-ти лѣтъ и здѣсь главнымъ образомъ создавалась русская исторія. Въ 1810 г. онъ познакомился съ великой княгиней Екатериной Павловной въ Твери, гдѣ жилъ ея супругъ, принцъ Ольденбургскій. Здѣсь княгиня представила Карамзина государю, который уже зналъ его по сочиненіямъ. Здѣсь Карамзинъ читалъ нѣкоторые мѣста изъ своей исторіи и представилъ императору Александру „Записку о древней и новой Россіи“ (2). Записка сначала не понравилась государю, такъ

(1) Соч. III, 680—681.

(2) Издава неоднократно за границей и въ Русскомъ Архивѣ 1870 г.



1846  
18  
1815  
какъ она представляла критику на реформы, совершенныя въ его царствованіе, но вскорѣ онъ вполне оцѣнилъ ея искренность и полюбилъ Карамзина. Между тѣмъ эпоха 12-го года не только прервала занятія Карамзина, но и отразилась въ его жизни многими потерями и бѣдствіями. Его библіотека, которую онъ собиралъ четверть вѣка, сгорѣла въ общемъ московскомъ пожарѣ и онъ едва успѣлъ спасти рукопись своей исторіи; самъ онъ съ своимъ семействомъ долженъ былъ спастись частью въ Ярославль, частью въ Нижнемъ. Когда Москва освободилась отъ непріятелей, онъ возвратился въ Москву и усилилъ занятія своей исторіей, такъ что въ 1815 г. у него уже было готово восемь томовъ, которые онъ рѣшился представить государю. Съ этою цѣлью онъ въ слѣдующемъ году отправился въ Петербургъ. Государь принялъ его милостиво, долго бесѣдовалъ съ нимъ, наградилъ его чиномъ статскаго совѣтника и орденомъ св. Анны 1 степени и приказалъ выдать ему изъ кабинета 60000 рублей на печатаніе исторіи. Чрезъ полтора года вышло 8 томовъ „Исторіи государства Россійскаго“ (1816—1818). Впечатлѣніе было необычайное, въ 25 дней было продано 3000 экземпляровъ. „Появленіе этой книги, говоритъ Пушкинъ, надѣлало много шума и произвело сильное впечатлѣніе. Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, была найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили“, хотя многіе толки были такого свойства, что могли „отучить всякаго отъ охоты къ славѣ“. Вскорѣ понадобилось второе изданіе, и оно продано было книгопродавцу Сленину за 50000 рублей. Царская фамилія оказывала Карамзину постоянныя милости и ласки. Благоволеніе Александра было безпримѣрно; онъ былъ его искреннимъ другомъ. Лѣтомъ онъ часто призывалъ Карамзина къ себѣ и бесѣдовалъ съ нимъ въ большой аллеѣ Царско-сельскаго сада, которую прозвалъ своимъ зеленымъ кабинетомъ. Онъ самъ былъ цензоромъ его исторіи и читалъ ее еще въ рукописи, которую посылали ему и въ то время, когда онъ былъ за границей. Не смотря на такое благоволеніе къ нему государя, Карамзинъ ничего не хотѣлъ брать отъ него; нѣсколько разъ государь предлагалъ ему мѣсто министра народнаго просвѣщенія, не однажды предлагалъ также мѣсто губернатора, и Карамзинъ всегда отказывался. Онъ пользовался своимъ положеніемъ только тогда, когда его ходатайство было полезно другимъ. Такъ онъ подалъ записку государю о Новиковѣ, чтобы обратить вниманіе на бѣдственное положеніе семейства его. „Новиковъ, какъ гражданинъ, полезной своею дѣятельностію заслуживалъ общественную признательность; Новиковъ, какъ теософическій мечтатель, по крайней мѣрѣ не заслуживалъ

темницы: онъ былъ жертвою подозрѣнія извинительнаго, но несправедливаго. Бѣдность и несчастье его дѣтей подають случай государю милосердому вознаградить въ нихъ усопшаго страдальца, который уже не можетъ принести ему благодарности въ здѣшнемъ свѣтѣ, но можетъ принести ее Всевышнему“ <sup>1)</sup>). Такъ онъ ходатайствовалъ о Тургеневѣ, который былъ ему обязанъ тѣмъ, что остался на службѣ послѣ увольненія своего отъ должности директора департамента духовныхъ дѣлъ и получалъ полное жалованье. Въ отношеніи къ государю Карамзинъ отличался полною искренностью, смѣлостью и прямою и всегда говорилъ правду, не боясь потерять благоволеніе, или даже возбудить гнѣвъ и негодованіе. Доказательствомъ этого можетъ служить его записка о Польшѣ, подъ названіемъ „Мнѣніе русскаго гражданина“, поданная Александру въ 1819 г., когда онъ намѣренъ былъ возстановить Польшу въ ея предѣлахъ до перваго раздѣла. Онъ зналъ, что записка не понравится Александру и могъ предполагать даже, что она возбудитъ въ немъ негодованіе; не смотря на это, проникнутый глубокимъ чувствомъ патріотизма, онъ рѣшился представить ее государю. „Вы думаете, государь, писалъ онъ въ этой запискѣ, возстановить древнее королевство Польское; но сіе возстановленіе согласно ли съ законами государственнаго блага Россіи? согласно ли съ вашими священными обязанностями, съ вашею любовію къ Россіи и къ самой справедливости?.... Можете ли съ мирною совѣстью отнять у насъ Бѣлоруссію, Литву, Волинію, Подолію, утвержденную собственность Россіи еще до вашего царствованія? Не клянутся ли государи блюсти цѣлость своихъ державъ? Сіи земли уже были Россіею, когда митрополитъ Платонъ вручилъ вамъ вѣнецъ Мономаха, Петра и Екатерины, которую вы сами назвали Великою. Скажутъ ли, что она незаконно раздѣлила Польшу? Но вы поступили бы еще незаконнѣе, если бы вздумали загладить несправедливость раздѣломъ самой Россіи. Мы взяли Польшу мечемъ: вотъ наше право, коему всѣ государства обязаны бытіемъ своимъ, ибо всѣ составлены изъ завоеваній. Екатерина отвѣтствуетъ Богу, отвѣтствуетъ исторія за свое дѣло; но оно сдѣлано, и для васъ уже свято: для васъ Польша есть законное россійское владѣніе. Старыхъ крѣпостей нѣтъ въ политикѣ: иначе мы должны были возстановить и Казанское, Астраханское царство, Новгородскую республику, великое княжество Рязанское, и тавъ далѣе. Къ тому же и по старымъ крѣпостямъ Бѣлоруссія, Волинія и Подолія, вмѣстѣ съ Галиціею, были нѣкогда кореннымъ достояніемъ Россіи. Если вы отдадите ихъ, то у васъ потребуютъ и Кіева, и Чернигова, и Смо-

<sup>1)</sup> Незданныя сочиненія и переписка Н. М. Карамзина. 1862 г. Часть I. 225—226 стр.

ленска, ибо они также долго принадлежали враждебной Литвѣ. . . . Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россію бездушную, безсловесную собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого заблагоразсудите? (1)

По поводу замѣчаній имп. Александра о томъ, чтобы уничтожить въ исторіи всѣ рѣзкія выраженія о полякахъ при описаніи междоусобицъ, Карамзинъ писалъ: „Слѣдуя Вашему замѣчанію, я съ особеннымъ вниманіемъ просмотрѣлъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о полякахъ, союзникахъ Лжедмитрія: нѣтъ, кажется, ни слова, обиднаго для народа; описываются только худыя дѣла лицъ и такъ, какъ сами польскіе историки ихъ описывали или судили.... Я не щадилъ и русскихъ, когда они злодѣйствовали или срамились. Употребляю предпочтительно имя ляховъ для того, что оно короче, пріятнѣе для слуха и въ сіе время (т. е. въ XVI и XVII в.) обыкновенно употреблялось въ Россіи (стр. 29).

825. Первые три главы XII тома государь читалъ на возвратномъ пути изъ Варшавы въ 1825 г., а другія главы уже въ Таганрогѣ. Смерть государя глубоко потрясла Карамзина и поколебала его и безъ того разстроенное неимоверными трудами здоровье. „Я любилъ его искренно и нѣжно, любилъ человека, красу человѣчества своимъ великодушіемъ, милосердіемъ, незлобіемъ рѣдкимъ. Не боюсь встрѣтиться съ нимъ на томъ свѣтѣ, о которомъ мы такъ часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба вѣря Богу и добродѣтели.“ Окончивъ XII томъ своей исторіи, Карамзинъ хотѣлъ уѣхать въ Москву и тамъ заняться воспитаніемъ своихъ сыновей, но здоровье оказалось такъ разстроеннымъ, что доктора настоятельно требовали перемѣнить климатъ, ѣхать въ Италію.... Не имѣя средствъ жить внѣ Россіи безъ должности, онъ просилъ себѣ мѣсто повѣреннаго въ дѣлахъ тамъ, гдѣ онъ будетъ жить. Новый государь, Николай Павловичъ, принялъ самое горячее участіе въ судьбѣ его и велѣлъ приготовить особый фрегатъ, который долженъ былъ отвезти его въ Марсель. Дальнѣйшая его воля и заботливость о Карамзинѣ была выражена въ слѣдующемъ рескриптѣ на его имя: „Николай Михайловичъ! Разстроенное здоровье ваше принуждаетъ васъ покинуть на время отечество и искать благопріятнаго для васъ климата. Почитаю за удовольствіе изъяснить вамъ мое искреннее желаніе, чтобы вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами и могли снова дѣйствовать для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донинѣ. Въ то же время и за покойнаго государя, знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ

---

1) Незадан. сочиненія и переписка Н. М. Карамзина ч. I. Спб. 1862. Мѣніе русскаго гражданина (1819) стр. 1—8.

нему привязанность, и за себя самого, и за Россію изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею жизнію какъ гражданинъ и своими трудами какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: русскій народъ достоинъ знать свою исторію. Исторія, вами написанная, достойна русскаго народа.— Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить братъ мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъясненіе воли моей, которое, будучи съ моей стороны одною только справедливостію, есть для меня священное завѣщаніе императора Александра. Желаю, чтобы путешествіе было вамъ полезно, и чтобы оно возвратило вамъ силы для довершенія главнаго дѣла вашей жизни“. При рескриптѣ былъ указъ, которымъ повелѣвалось производить Карамзину по 50 тысячъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы сія сумма, обращаемая ему въ пенсію, послѣ него была производима его женѣ, а по смерти ея и дѣтямъ—сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ на службу, а дочерямъ до замужества.

Но Карамзинъ лично самъ уже не могъ воспользоваться такимъ благодѣяніемъ; 22 мая 1826 г. онъ умеръ и похороненъ въ Александроневской лаврѣ. Въ Симбирскѣ въ 1845 г. ему поставленъ памятникъ.

Сочиненія Карамзина, написанныя до путешествія за границу, почти всѣ переводныя и представляютъ его подготовительные опыты въ его литературной дѣятельности. Сочиненія, написанныя по возвращеніи изъ-за границы въ 1790 г., до назначенія его исторіографомъ въ 1803 г., представляютъ періодъ самостоятельной его литературной дѣятельности и имѣютъ особенно важное значеніе, по тому дѣйствию, какое они произвели на современниковъ. Послѣдній періодъ отъ 1804 по 1826 годъ обнимаетъ его труды по Исторіи государства русскаго.

Переводныя сочиненія Карамзина весьма много объясняютъ характеръ его собственныхъ сочиненій. Эти сочиненія почти всѣ относятся къ господствовавшему тогда въ европейской литературѣ сентиментальному направленію, находившемуся въ тѣсной связи съ англійскимъ деизмомъ и оптимизмомъ Лейбница. Первыми переводными опытами были „Разговоръ Маріи Терезіи съ русскою императрицею Елисаветою въ елисейскихъ поляхъ“ и „Деревянная нога“, идиллія Геснера. Содержаніе идилліи слѣдующее. Молодой пастухъ, пасшій козъ въ долинѣ, встрѣчаетъ стараго, сѣдинами украшеннаго старика на деревянной ногѣ. Старикъ рассказываетъ ему, что онъ потерялъ ногу въ сраженіи за свободу отечества, во время котораго и самъ могъ бы погибнуть, если бы одинъ, сражавшійся подлѣ него, товарищъ не вынесъ его раненаго съ поля

224

1826

1845

1819

1883

битвы; но къ сожалѣнію онъ не знаетъ до сихъ поръ, кто онъ былъ и живъ ли онъ теперь. Изъ разговора старика съ пастухомъ оказывается, что этимъ товарищемъ, спасшимъ старика, былъ отецъ пастуха, умершій уже два года тому назадъ. Старикъ пригласилъ пастуха къ себѣ въ домъ и познакомилъ его со своею дочерью. Молодые люди такъ понравились другъ другу, что соединились бракомъ.—Дальнѣйшими переводами были поэма Галлера „О происхожденіи зла“ (1786 г.), переведенная, по порученію Дружескаго общества, переводы, помѣщенные въ Дѣтскомъ чтеніи: Деревенскіе вечера Жанлисъ, нѣсколько статей изъ *Contemplation de la Nature* Боннета, Весна, Лѣто, Осень и Зима изъ поэмы Томсона—Времена года. Всѣ эти писатели были оптимистическаго направленія, представителями котораго были Шефтсбери и другіе англійскіе деисты и Лейбницъ. Главное положеніе Шефтсбери состояло въ томъ, что природа никогда не заблуждается; красота въ ней состоитъ изъ противоположностей; самыя разнообразныя явленія сливаются въ ней въ общую гармонію; отдѣльныя существа, претерпѣвая вредъ и погибая, служатъ тѣмъ не менѣе прекраснѣйшей природѣ, которая существуетъ вѣчно и не подвергается гибели. Главнымъ основаніемъ „Теодицеи“ Лейбница было положеніе, что существующій міръ—наилучшій изъ міровъ; міровой порядокъ предопредѣленъ Богомъ и потому являетъ предуготовленную гармонію; нарушеніе порядка касается только частей, а не цѣлаго; самое зло въ мірѣ есть средство къ добру. Идея оптимизма были особенно распространены англійскимъ поэтомъ Попомъ въ его „Опытѣ о человѣкѣ“ (1733—1734). Происхожденіе зла въ мірѣ онъ объяснялъ слѣдующимъ образомъ: Богъ по своей премудрости создалъ наилучшій міръ, въ которомъ видимыя недостатки и явленія зла въ цѣломъ составляютъ все-же красоту; диссонансы разрѣшаются въ гармонію; совершенство добродѣтели и счастья заключается въ согласіи съ божественнымъ устройствомъ. Боннетъ былъ послѣдователь Попа; подъ вліяніемъ Попа находился также и Томсонъ, сентиментальный поэтъ и оптимистъ. Галлеръ былъ послѣдователь Лейбница и въ своей поэмѣ „О происхожденіи зла“ доказывалъ, что міръ управляется божественнымъ Промысломъ, не смотря на существующее въ немъ зло. Въ Московскомъ журналѣ Карамзиннымъ печатались переводы изъ Оссіана и сентиментальныхъ поэтовъ XVIII вѣка—Стерна, Мармонтеля, Флоріана, Коцебу. Еще во время пребыванія въ Новиковскомъ обществѣ и вѣроятно подъ вліяніемъ Петрова, занимавшагося изученіемъ англійской литературы, былъ слѣланъ Карамзиннымъ переводъ трагедіи Шекспира: „Юлій Цезарь“ (1786 г.). Переводъ слѣланъ съ французскаго перевода Летурунѣра, но въ предисловіи въ переводу взглядъ на Шекспира выражается совсѣмъ не французскій. Карамзина не могли увлечь несправед-

ливыя сужденія о Шекспирѣ Дидро и Вольтера. Указавъ на эти сужденія, именно, что Шекспиръ писалъ будто - бы безъ всякихъ правилъ, что творенія его суть и трагедіи и комедіи вмѣстѣ, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы безъ плана, безъ связи въ сценахъ и безъ единства; непріятная смѣсь высокаго и низкаго, трогательнаго и смѣшнаго, истинной и ложной остроты, забавнаго и бессмысленнаго; что они исполнены такихъ мыслей, которыя достойны мудреца, и притомъ такого вздора, который только шута достоинъ; что они исполнены такихъ картинъ, которыя принесли бы честь самому Гомеру, и такихъ каррикатуръ, которыхъ и самъ Скарронъ постыдился бы,—онъ говоритъ: „что Шекспиръ не держался правилъ театральныхъ, это правда; истинною причиною сего, я думаю, было пылкое его воображеніе, не могшее покориться никакимъ предписаніямъ. Духъ его парилъ, яко орелъ, и не могъ паренія свои измѣрять, какъ измѣряютъ полетъ свой воробы. Не хотѣлъ онъ соблюдать такъ называемыхъ трехъ единствъ, которыхъ нынѣшніе наши авторы драматическіе такъ вѣрно придерживаются; не хотѣлъ онъ полагать тѣсныхъ предѣловъ воображенію своему: онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь впрочемъ ни о чемъ. Извѣстно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ Запада къ Востоку, отъ края области монгольской къ предѣламъ Англіи. Геній его, подобно генію натуры, обнималъ взоромъ своимъ и солнце и атомы. Съ равнымъ искусствомъ изображаетъ онъ и героя и шута, умнаго и безумца, Брута и башмачника. Драмъ его, подобно неизмѣримому театру натуры, исполнены многоразличія; всѣ-же вмѣстѣ составляютъ совершенное цѣлое, не требующее исправленія отъ нынѣшнихъ театальныхъ писателей. Трагедія, мною переведенная, есть одно изъ превосходнѣйшихъ его твореній; характеры, въ сей трагедіи изображенные, заслуживаютъ вниманія читателей; характеръ Брутовъ есть наилучшій“. Почти въ одно время съ Юліемъ Цезаремъ Шекспира была переведена „Эмилиа Галотти“ Лессинга, который глубоко изучилъ Шекспира и своей критикой научилъ европейскую литературу правильно понимать Шекспира. Эти двѣ трагедіи — Юлій Цезарь и Эмилиа Галотти заставили и Карамзина перемѣнить свой взглядъ на французскую драматическую литературу, на ея ложно-классическое направленіе.

**Оригинальныя сочиненія Карамзина.** Представленный выше биографическій очеркъ Карамзина и разсмотрѣнные сейчасъ переводные труды его показываютъ, что онъ воспитался и писалъ подъ разными вліяніями. Эти вліянія неизбѣжно должны были отразиться на его оригинальныхъ сочиненіяхъ различіемъ какъ вообще въ его міросозерцаніи, такъ и въ частности въ его взглядахъ на разные

научные и общественные вопросы. Онъ былъ человѣкъ глубоко религіозный; но его религіозность, вынесенная изъ пансіона Шадена и вообще полученная изъ литературы XVIII в., сначала имѣла деистическій характеръ; она естественно должна была измѣниться, когда онъ началъ заниматься древней русской исторіей, читать лѣтописи, житія святыхъ и другіе памятники древне-русской письменности, которые отличаются другимъ характеромъ. При этомъ духъ оптимизма, которымъ пронизана вся упомянутая литература и которымъ дышатъ первыя сочиненія Карамзина, долженъ былъ смѣниться христіанскимъ учепіемъ о Промыслѣ Божіемъ, что добро въ мірѣ смѣшано со зломъ, что земная жизнь человѣка есть училище терпѣнія, тѣмъ болѣе, что жизнь окружающая и собственная жизнь Карамзина, испытавшаго самую дорогую утрату въ жизни, смерть первой жены, представляла противъ оптимистической доктрины сильныя возраженія. Карамзинъ былъ страстный патріотъ; но его патріотизмъ имѣлъ сначала отвлеченный, космополитическій характеръ и состоялъ въ стремленіи видѣть свой народъ такъ же просвѣщеннымъ, какъ другіе народы, въ усвоеніи ему науки, искусства, цивилизаціи. Изученіе исторіи въ этомъ случаѣ показало ему, что не все однако-же безъ разбора можетъ быть усвоено, что сдѣлано другими народами, что это усвоеніе должно происходить сообразно съ духомъ народа, съ его потребностями, съ его исторіей, что самый патріотизмъ долженъ имѣть народный характеръ. Внимательное изученіе русской исторіи, которой онъ прежде не изучалъ, привело его къ тому, что онъ наконецъ измѣнилъ свой прежній взглядъ на весь древній періодъ и на самую реформу Петра. Онъ вѣрилъ въ прогрессъ и допускалъ необходимость улучшенія государственнаго строя и быта народнаго; но, по его мнѣнію, новый порядокъ вещей долженъ возникать на исторической почвѣ, на основахъ того, что выработано жизнію народа, а не на развалинахъ его прошедшаго и настоящаго. По основнымъ убѣжденіямъ будучи неизмѣннымъ монархистомъ, онъ высказывалъ въ молодости сочувствіе къ свободнымъ республиканскимъ учрежденіямъ. Это сочувствіе ясно выразилось въ его исторической повѣсти: „Марѳа посадница или покореніе Новгорода“, въ авторѣ которой, по словамъ предисловія, „явно играетъ кровь Новгородская, при описаніи нѣкоторыхъ случаевъ“, и потомъ при описаніи паденія Новгорода въ самой исторіи, онъ говоритъ: „сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной; самыя опасности и безпокойства, питая великодушіе, плѣняютъ умъ, въ особенности юный, малоопытный“. Но ужасы французской революціи и примѣры исторіи заглушили эти сочувствія къ республиканскимъ идеямъ, утвердили его еще болѣе въ сознаніи не-

обходимости монархіи и заставили его сказать: „народы мудрые любятъ порядокъ, а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“.

**Письма Русскаго Путешественника** (1). „Послѣ Исторіи Государства Россійскаго, говоритъ Буслаевъ, „Письма Русскаго Путешественника“ болѣе прочихъ сочиненій Карамзина оказали свое дѣйствіе на образованіе русской публики, оказываютъ и теперь, составляя одно изъ лучшихъ украшеній всякой хорошей хрестоматіи русской словесности. Своими письмами изъ-за границы Карамзинъ впервые внесъ въ нашу литературу самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ европейской цивилизаціи, которыя были тѣмъ наставительнѣе, что относились къ послѣднимъ годамъ прошлаго столѣтія, когда господство французскаго направленія стало уступать новымъ идеямъ, продолжавшимъ свое развитіе и въ первой половинѣ текущаго столѣтія“ (2).

Письма принадлежатъ къ первымъ временамъ молодости Карамзина, когда ему не было и 23 лѣтъ; они представляютъ выраженіе ума необыкновенно даровитаго, высокообразованнаго, доступнаго всѣмъ впечатлѣніямъ, безъ особенныхъ симпатій или антипатій, кромѣ одной глубокой преобладающей симпатіи къ наукѣ, искусству и цивилизаціи. Главное вниманіе его обращено на то, что доставляетъ пищу уму и сердцу, въ чемъ выражаются успѣхи науки и искусства, чему онъ можетъ научиться самъ и что можетъ быть пригодно для Россіи. Прибывъ въ городъ, онъ прежде всего старается увидѣть ученыхъ, или художниковъ, извѣстныхъ въ этомъ городѣ, потомъ осматриваетъ библіотеки, музеи, картинныя галлеи, памятники, или мѣста, ознаменованныя какими нибудь историческими событіями. Въ Кенигсбергѣ Карамзинъ бесѣдуетъ съ Кантомъ о нравственномъ законѣ и удивляется его обширнымъ историческимъ и географическимъ знаніямъ. „Кантъ, замѣчаетъ Карамзинъ, говоритъ весьма тихо и не вразумительно, и потому надлежало мнѣ самому слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервъ слуха“. Объ обстановкѣ жизни Канта онъ прибавляетъ: „домикъ у него маленькій; и внутри приборовъ не много. Все просто, кромѣ... его метафизики.“ Въ Берлинѣ Карамзинъ посѣтилъ Берлинскую библіотеку. „Она огромна,—и вотъ всё, что могу сказать о ней. Волѣе всего занимало меня богатое анатомическое сочиненіе, съ изображеніями всѣхъ частей тѣла человѣческаго. Покойный король заплатилъ за него 700 талеровъ... Показывали мнѣ еще Лю-

(1) Въ первый разъ Письма Русскаго Путешественника были напечатаны въ Московскомъ Журналѣ 1791—92; первое отдѣльное изданіе появилось въ 1797—1801; послѣднее отдѣльное изданіе въ «Дешевой библіотекѣ» А. С. Суворина; здѣсь приложена рѣчь Буслаева при празднованіи столѣтняго юбилея Карамзина въ 1866 г.

(2) Рѣчь о «Писъм. Русск. Пут.», стр. XIII—XIV.



теровъ манускриптъ, но я почти совсѣмъ не могъ разобрать его, не читавъ никогда рукописей того вѣка“<sup>1)</sup>). Въ Берлинѣ Карамзинъ познакомился съ Николаи, „авторомъ и книгопродавцемъ“. „Васъ знаютъ и въ Россіи, сказалъ я ему; знаютъ, что нѣмецкая литература обязана вамъ частію своихъ успѣховъ“. Съ Николаи онъ имѣлъ замѣчательный разговоръ о терпимости. „Признаться, сердце мое не можетъ одобрить тона, въ которомъ господа Берлинцы пишутъ. Гдѣ искать терпимости, если самые философы, самые просвѣтителѣ, — а они такъ себя называютъ, — оказываютъ столько ненависти къ тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они. Тотъ есть для меня истинный философъ, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ; кто любитъ и несогласныхъ съ его образомъ мыслей. Должно показывать заблужденія разума человѣческаго съ благороднымъ жаромъ, но безъ злобы. Скажи человѣку, что онъ ошибается, и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцемъ“ (стр. 64—68). Въ письмѣ отъ 5-го Іюля 1785 г. Карамзинъ рассказываетъ о посѣщеніи нѣмецкаго Горація, Рамлера, стихотворенія котораго извѣстны были и въ Россіи, и при этомъ очень мѣтко характеризуетъ поэзію Рамлера. Здѣсь же помѣщенъ отзывъ о Донъ-Карлосѣ Шиллера. „Сія трагедія, говоритъ онъ, есть одна изъ лучшихъ драматическихъ піесъ, и вообще прекрасна. Авторъ пишетъ въ Шекспировскомъ духѣ. Есть только слишкомъ фигурныя выраженія (такъ, какъ и у самого Шекспира), которыя хотя и показываютъ остроуміе автора, однако-жъ въ драмѣ не у мѣста“ (стр. 80—84).

При посѣщеніи Дрезденской картинной галлерей, онъ перечисляетъ первоклассныя картины лучшихъ живописцевъ, начиная съ Рафаэля, и дѣлаетъ о нихъ краткій отзывъ (стр. 97—105). При посѣщеніи Дрезденской библіотеки, онъ замѣчаетъ: „между греческими манускриптами показываютъ весьма древній списокъ одной Эврипидовой трагедіи, проданной въ библіотеку бывшимъ Московскимъ профессоромъ Маттеемъ; за сей манускриптъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, взялъ онъ съ курфирста около 1500 талеровъ. Спрашивается, гдѣ г. Маттей досталъ сіи рукописи?“ (стр. 106). Въ Лейпцигѣ Карамзинъ ознакомился съ докторомъ Платнеромъ и слушалъ его лекціи по эстетикѣ о геніи (стр. 122). Въ этомъ городѣ онъ обратилъ особенное вниманіе на книжную торговлю и множество книжныхъ лавокъ. „Почти на всякой улицѣ, говоритъ онъ, вы найдете нѣсколько книжныхъ лавокъ, — что для меня удивительно. Правда, что здѣсь много ученыхъ, имѣющихъ нужду въ книгахъ; но сіи люди почти всѣ или авторы, или переводчики, и собирая свои библіотеки, платятъ они книгопродавцамъ не деньгами, а сочиненіями или переводами. Къ тому же во всякомъ нѣмецкомъ городѣ есть публичныя библіотеки, изъ которыхъ

<sup>1)</sup> Соч. Карамзина, изд. Смирдина. II, 62.

можно брать для чтенія всякія книги, платя за то бездѣлку. Книгопродавцы со всей Германіи съѣзжаются на Лейпцигскія ярмарки (которыхъ бываетъ здѣсь три въ годъ: одна начинается съ 1-го Января, другая съ Пасхи, а третья съ Михайлова дня) и мѣняются между собою новыми книгами.“ (стр. 125). Въ Лейпцигѣ, у Вейсе, Карамзинъ видѣлъ рукописную исторію нашего театра, переведенную съ русскаго. „Г. Дмитревскій, замѣчаетъ онъ, будучи въ Лейпцигѣ, сочинилъ ее, а нѣкто изъ русскихъ, которые учились тогда въ здѣшнемъ университетѣ, перевелъ на нѣмецкій и подарилъ Г. Вейсе, который хранитъ сію рукопись, какъ рѣдкость, въ своей библіотекѣ“ (131). Въ письмѣ изъ Веймара онъ описываетъ свое свиданіе и бесѣду съ Гердеромъ, приводитъ выписку изъ его сочиненія о природѣ, помѣщаетъ его замѣчаніе о Мессиадѣ Клопштока. „Пріятно, милые друзья мои, видѣть наконецъ того человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались“ (148). Изъ бесѣды съ Гердеромъ Карамзинъ убѣдился, что нѣмцы лучше другихъ народовъ понимаютъ классическую древность: „и потому ни французы, ни англичане не имѣютъ такихъ хорошихъ переводовъ съ греческаго, какими обогатили нѣмцы свою литературу. Гомеръ у нихъ Гомеръ“: та же безыскусственная простота въ языкѣ, которая была душею древнихъ временъ, когда царевны ходили по воду и цари знали счетъ своимъ баранамъ (143). Въ письмѣ изъ Веймара Карамзинъ описываетъ свое знакомство съ Виландомъ (143—151). Въ Цюрихѣ онъ познакомился съ Лафатеромъ (212—253). Въ Лозаннѣ „съ Руссовою Элоизою въ рукахъ,“ онъ „хотѣлъ собственными глазами видѣть тѣ прекрасныя мѣста, въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романическихъ любовниковъ.“ Описывая эти мѣста, онъ замѣчаетъ: „Вы можете имѣть понятія о чувствахъ, произведенныхъ во мнѣ сими предметами, зная, какъ я люблю Руссо и съ какимъ удовольствіемъ читалъ съ вами его Элоизу... безъ которой не существовалъ бы и нѣмецкій Вертеръ“ (304). Въ Женевѣ Карамзинъ посѣтилъ замокъ Ферней, гдѣ жилъ Вольтеръ, описалъ его жилище, сдѣлалъ отзывъ о его сочиненіяхъ, который оканчивается слѣдующими словами: „къ чести его можно сказать, что онъ распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ... (Примѣчаніе. Но я не могу одобрить Вольтера, когда онъ отъ суевѣрія не отличалъ истинной христіанской религіи, которая, по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, находится къ первому въ такомъ же отношеніи, въ какомъ находится правосудіе къ ябедѣ)“ (318—320). Въ Женевѣ Карамзинъ познакомился съ Боннетомъ и выпросилъ у него позволеніе перевести на русскій языкъ его „Соп-

templation de la Nature“ (стр. 338). Но поклоняясь европейской наукѣ и ея представителямъ, Карамзинъ никогда не забывалъ о Россіи, о русской наукѣ и литературѣ. Бесѣдуя съ Виландомъ о литературѣ, онъ говоритъ, что и на русскій языкъ переведены нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ его сочиненій. Разсуждая съ Лейпцигскими профессорами и студентами, онъ замѣчаетъ, что на русскій языкъ переведены первыя десять пѣсенъ Клопштока, и чтобы познать ихъ съ гармоніей нашего языка, читаетъ имъ русскіе стихи. Вслушивается въ мелодіи Швейцарскихъ пѣсенъ и ищетъ въ нихъ сходства съ нашими, столько для него трогательными. Въ Лондонѣ онъ изучаетъ англійскій языкъ и приходитъ къ убѣжденію въ превосходствѣ предъ нимъ русскаго языка. „Да будетъ же честь и слава нашему языку, говоритъ онъ, который въ самородномъ богатствѣ своемъ, почти безъ всякаго чуждаго примѣса, течетъ какъ гордая, величественная рѣка — шумитъ, гремитъ — и вдругъ, если надобно, смягчается, журчитъ нѣжнымъ ручейкомъ и сладостно вливается въ душу, образуя всѣ мѣры, какія заключаются только въ паденіи и возвышеніи человѣческаго голоса!“ (стр. 751).

И въ другихъ случаяхъ Карамзинъ является горячимъ заступникомъ за Россію. По поводу россійской исторіи Лелева онъ говоритъ: „Больно, но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей россійской исторіи, т. е. писанной съ философскимъ умомъ, съ критикою, съ благороднымъ краснорѣчіемъ. Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы. Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Цикона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ... У насъ былъ свой Карлъ Великій: Владиміръ; свой Людовикъ XI: царь Іоаннъ; свой Кромвель: Годуновъ, — и еще такой государь, которому нигдѣ не было подобныхъ: Петръ Великій“... Здѣсь виденъ уже будущій историкъ Государства Россійскаго, который съ такимъ живымъ сочувствіемъ и такъ краснорѣчиво изобразилъ древнюю исторію Россіи; но теперь пока онъ еще защитникъ реформы Петра, и въ своей горячей защитѣ великаго человѣка и европейской цивилизаціи увлекающійся до такого космополитизма, который отвергаетъ все національное. „Путь образованія или просвѣщенія одинъ для народовъ; всѣ они идутъ имъ въ слѣдъ другъ за другомъ. Иностранцы были умнѣ русскихъ: и такъ надлежало отъ нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?.. Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной фizio-

гноми, или не что иное, какъ шутка, или происходить отъ недостатка въ основательномъ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!" (стр. 511 — 515). Въ страстномъ увлеченіи европейской цивилизаціей Карамзинъ тогда не замѣчалъ, что народность составляетъ одну изъ формъ общечеловѣческаго духа...

Письма изъ Франціи и Англіи особенно интересны. Особенно хорошо и подробно описаны въ „Письмахъ“ Парижъ и Лондонъ. Подѣзжая къ Парижу, Карамзинъ думалъ: „вотъ онъ городъ, который въ теченіе многихъ вѣковъ былъ образцемъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ, котораго имя произносится съ благоговѣніемъ всѣми. Мнѣ казалось, что я какъ маленькая песчинка попалъ въ ужасную пучину и кружусь въ водномъ вихрѣ“. Онъ описываетъ Лувръ, Пале-рояль, Тюльери, Елисейскія поля, Люксембургъ, описываетъ улицы, сады, церкви, монастыри, соборы, дворцы, описываетъ французскіе театры и при этомъ говоритъ о французской драматической литературѣ. „И теперь не перемѣнилъ я своего мнѣнія о французской Мельпоменѣ. Она благородна, величественна и прекрасна; но никогда не тропетъ, не потрасетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова и нѣкоторыхъ (правда, не многихъ) нѣмцевъ“. Въ Академіи Надписей и Словесности онъ видѣлъ Бартеlemi и разговаривалъ съ нимъ; видѣлъ автора повѣстей и сказокъ — Мармонтеля. „Въ Аббатствѣ св. Женеьевы хранится прахъ Декартовъ, привезенный изъ Стокгольма, чрезъ 17 лѣтъ послѣ смерти философа.... „Въ церкви св. Андрея сооруженъ памятникъ аббату Баттѣ, наставнику авторовъ, котораго за два года предъ симъ читалъ я съ любезнымъ Агатономъ, вникая въ истину его примѣровъ“. Видѣлъ Эрменонвиль, гдѣ умеръ Руссо; онъ описываетъ всѣ мѣста, гдѣ любилъ отдыхать великій писатель. „Свѣтъ, литература, слава, все ему наскучило; одна природа сохранила до конца милыя права свои на его сердце и чувствительность. Въ Эрменонвилѣ рука Жанъ-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бѣднымъ. Лучшее его удовольствіе состояло въ прогулкахъ, въ дружескихъ разговорахъ съ земледѣльцами и въ невинныхъ играхъ съ дѣтьми“... Карамзину удалось быть въ народномъ собраніи; онъ высидѣлъ 5 или 6 часовъ и видѣлъ одно изъ самыхъ бурныхъ засѣданій. Де-

путаты духовенства предлагали католическую религію признать единственною или главною во Франціи. Мирабо, оспаривая, говорилъ съ жаромъ и наконецъ сказалъ: „я вижу отсюда то окно, изъ котораго сынъ Катерины Медицистъ стрѣлялъ въ протестантовъ“.

Во Франціи Карамзину привелось быть, когда тамъ началась французская революція; онъ самъ былъ воспитанъ въ тѣхъ либеральныхъ идеяхъ, которыя много способствовали французской революціи; но страшная дѣйствительность не оправдала тѣхъ розовыхъ мечтаній о свободѣ мысли и совѣсти, о правахъ челоуѣчества, основанныхъ на законахъ природы, которыя предносились воображенію людей XVIII в. Уже по самой организаціи своей нѣжной, чувствительной души онъ не терпѣлъ ничего рѣзкаго, насильственного, болѣзненнаго; могъ ли онъ равнодушно относиться къ тѣмъ ужаснымъ сценамъ, которыхъ онъ во Франціи былъ очевидцемъ.

Письма изъ Англіи особенно интересны. „Парижъ и Лондонъ, два первые города въ Европѣ, были двумя Фаросами моего путешествія, когда я сочинялъ планъ его“. Онъ описываетъ всѣ замѣчательности Лондона. Прежде всего онъ попалъ въ Вестминстерское аббатство, на Генделеву ораторію „Мессія“. „Вообразите, говоритъ онъ, дѣйствіе 600 инструментовъ и 300 голосовъ, наилучшимъ образомъ согласенныхъ,—въ огромной залѣ, при безчисленномъ множествѣ слушателей, наблюдающихъ глубокое молчаніе! Какая величественная гармонія!“ Далѣе описываетъ англійскіе суды, Биржу и Королевское общество, храмъ св. Павла, Сентъ-Джемскій дворецъ. Былъ въ англійскомъ парламентѣ, когда разбиралось знаменитое дѣло Гастингса, въ Британскомъ музеумѣ, въ англійскомъ театрѣ и говоритъ объ англійской литературѣ. „Литература англичанъ, подобно ихъ характеру, имѣетъ много особености, и въ разныхъ частяхъ превосходна. Здѣсь отечество живописной поэзіи (*poésie descriptive*): французы и нѣмцы перепяли сей родъ у англичанъ, которые умѣютъ замѣчать самыя мелкія черты въ природѣ. Но сіе время ничто еще не можетъ сравняться съ Томсоновыми „Временами года“; ихъ можно назвать зеркаломъ натуры... Въ англійскихъ поэтахъ есть еще какое-то простодушіе, не совсѣмъ древнее, но сходное съ Гомеровскимъ. Самымъ же лучшимъ цвѣтомъ Британской поэзіи считается Мильтоново описаніе Адама и Евы и Драйденова ода на музыку. Въ драматической поэзіи англичане не имѣютъ ничего превосходнаго, кромѣ твореній одного автора: но этотъ авторъ есть Шекспиръ, и англичане богаты! Всякій авторъ ознаменованъ печатію своего вѣка. Шекспиръ хотѣлъ нравиться своимъ современникамъ, зналъ ихъ вкусъ и угождалъ ему... Но всякій истинный талантъ, платя дань вѣку, творить и для вѣчности; современныя красоты исчезаютъ, а общія,

основанныя на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей, сохраняютъ силу свою, какъ въ Гомерѣ, такъ и въ Шекспирѣ. Величіе, истина характеровъ, занимательность приключеній, откровеніе человѣческаго сердца, и великія мысли, разсѣяныя въ драмахъ Британскаго генія, будутъ всегда ихъ магіею для людей съ чувствомъ. Я не знаю другаго поэта, который имѣлъ бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неисощимое воображеніе; и вы найдете всѣ роды поэзіи въ Шекспировыхъ сочиненіяхъ... Примѣчанія достойно то, что одна земля произвела и лучшихъ романистовъ и лучшихъ историковъ. Ричардсонъ и Фильдингъ выучили французовъ и немцевъ писать романы, какъ исторію жизни, а Робертсонъ, Юмъ, Гиббонъ, вліяли въ исторію привлекательность любопытнѣйшаго романа, умнымъ расположеніемъ дѣйствій, живописью приключеній и характеровъ, мыслями и слогомъ. Послѣ Оукидида и Тацита ничто не можетъ сравняться съ историческимъ триумвиратомъ Британіи“ (стр. 746—749).

Карамзинъ воспитался на сочиненіяхъ Руссо; отсюда у него такое страстное увлеченіе красотами природы, что самое искусство казалось ему ничтожнымъ предъ явленіями природы. „Что значать всѣ наши своды предъ сводомъ неба? восклицаетъ онъ, остановившись подъ куполомъ св. Павла въ Лондонѣ. Сколько надобно ума и трудовъ для произведенія столь неважнаго дѣйствія? Не есть ли искусство самая безстыдная обезьяна природы, когда оно хочетъ спорить съ нею въ величіи!“ Съ особеннымъ восхищеніемъ онъ говоритъ въ своихъ письмахъ о Швейцаріи. Изъ Базеля, напр., онъ пишетъ: „Итакъ я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной натуры, въ землѣ свободы и благополучія! Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее: дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверхъ, и я съ гордостію помышляю о своемъ человѣчествѣ“ (стр. 192). „Уже я наслаждаюсь Швейцаріею, милые друзья мои! Всякое дуновеніе вѣтерка проникаетъ, кажется, въ мое сердце и развѣваетъ въ немъ чувство радости. Какія мѣста! Какія мѣста! Отѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цвѣтущій берегъ зеленаго Рейна, и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю. Щастливые Швейцарцы! Всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое щастіе, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и служа одному Богу?“ (стр. 203—204). Сентиментальный тонъ этого письма разлитъ по всѣмъ Письмамъ русскаго путешественника отъ перваго до послѣдняго и составляетъ ихъ отличительный характеръ. Карамзинъ всѣмъ восхищается чрезъ мѣру, груститъ по самому ничтожному поводу, льетъ слезы радости и унываетъ при самомъ обык-

новенномъ случаѣ; всякій добрый поступокъ возбуждаетъ въ немъ необыкновенное чувство. Получивъ въ Ригѣ отъ одного нѣмца (Крамера) три хлѣба на дорогу, онъ сквозь слезы благодарить его. „Гостепріимство, восклицаетъ онъ по этому случаю, добродѣтель, обыкновенная во дни юности рода человѣческаго и столь рѣдкая во дни наши! Есть-ли я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудутъ меня друзья мои! Пусть вѣчно буду на землѣ странникомъ и нигдѣ не найду втораго Крамера!“ Но лучшимъ образцомъ сентиментальности Карамзина можетъ служить письмо изъ Дрездена, гдѣ онъ описываетъ видъ на Эльбу. „Я смотрѣлъ и наслаждался; смотрѣлъ, радовался и—даже плакалъ: что обыкновенно бываетъ, когда сердцу моему очень, очень весело.—Вынулъ бумагу, карандашъ; написалъ: любезная природа! и болѣе ни слова!! Но едва ли когда нибудь чувствовалъ такъ живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда нибудъ въ сердцѣ своемъ былъ такъ добръ и такъ благодаренъ противъ моего Творца, какъ въ сія минуты. Мнѣ казалось, что слезы мои льются отъ живой любви въ самой Любви, и что онѣ должны смыть нѣкоторыя черныя пятна въ книгѣ жизни моей. А вы, цвѣтушіе берега Эльбы, зеленые лѣса и холмы! вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь въ сѣверное, отдаленное отечество мое, въ часы уединенія буду воспоминать прошедшее!“ (стр. 107). Такъ и видно, что пишетъ 23-лѣтній юноша, которому все въ природѣ и жизни представляется въ одномъ розовомъ цвѣтѣ, безъ тѣхъ тѣней, которыми все окружено болѣе или менѣе въ дѣйствительности.

Новое направленіе въ сочиненіяхъ Карамзина. Говоря о переводахъ Карамзина изъ Шекспира и Лессинга, мы уже замѣтили, что эти занятія должны были показать несостоятельность французскаго ложно-классическаго направленія; путешествіе по Европѣ, гдѣ онъ уже видѣлъ опыты новаго направленія, убѣдило въ томъ еще болѣе. Вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы онъ вздумалъ дать русской литературѣ направленіе болѣе близкое къ дѣйствительности, заимствуя содержаніе для литературныхъ произведеній изъ народной жизни, народной поэзіи и народной исторіи. Начиная повѣсть „Фролъ Силинъ, благодѣтельный человѣкъ“ въ Московскомъ Журналѣ 1791 г., онъ говорить: „Пусть Virgilius прославляютъ Августовъ!. Я хочу хвалить Фрола Силина, простаго поселанина, и хвала моя будетъ состоять въ описаніи дѣлъ его, мнѣ извѣстныхъ“. Въ повѣсти описывается, какъ въ голодный годъ Фролъ Силинъ, крестьянинъ одной деревни, раздавалъ даромъ хлѣбъ бѣднѣйшимъ жителямъ, какъ онъ помогъ жителямъ погорѣвшихъ двухъ деревень, какъ онъ выкупилъ у помѣщика двухъ дѣвокъ и

выдалъ замужъ съ хорошимъ приданымъ. Въ неоконченной повѣсти „Людоръ“ онъ изображаетъ характеръ деревенскихъ помѣщиковъ прежняго времени (въ Москов. Журналѣ 1792 г., мартъ). Въ письмѣ подъ заглавіемъ: „Сельскій праздникъ и свадьба“ (тамъ-же) описываетъ такъ же жизнь помѣщиковъ и крестьянъ конца прошлаго вѣка. Содержаніе „Бѣдной Лизы“ взято изъ обыкновенной жизни и отличается простотою и несложностію. Въ предисловіи къ повѣсти „Наталья, боярская дочь“ онъ высказываетъ особенное сочувствіе къ древней русской жизни и къ древней русской исторіи. „Кто изъ насъ не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими, когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу, т. е. говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сіи времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно истлѣвшихъ вѣзовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа русскаго, и съ нѣжностію цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ“. Ту же самую мысль или то же стремленіе въ область народной поэзіи выражаетъ Карамзинъ въ богатырской сказкѣ: „Илья Муромецъ“.

«Не хочу съ пѣвцомъ Греціи  
Звучнымъ гласомъ Калдіоннымъ  
Пѣть вражды Агамеяновою  
Съ храбрымъ правнукомъ Юпитера;  
Или, слѣдуя Виргилію,  
Плыть отъ Трои разоренныя  
Съ хитрымъ сыномъ Афродитинимъ  
Къ златнымъ берегамъ Италіи.  
Не желаю въ Мисеологіи  
Черпать дивныхъ, странныхъ вымысловъ.  
Мы не греки и не римляне;  
Мы не вѣримъ ихъ преданіямъ;  
Мы не вѣримъ, чтобы богъ Сатурнъ  
Могъ любезнаго родителя  
Превратить въ уродъ жалкаго;  
Чтобы Леды были—бурицы,  
И несли весною янца,  
Чтобы Поллуксъ съ Еленами  
Родились отъ бѣлыхъ лебедей.  
Намъ другія сказки надобны;  
Мы другія сказки слышали  
Отъ своихъ покойныхъ мамушекъ.  
Я намѣренъ слогомъ древности  
Рассказать теперь одну изъ нихъ».



Но собственные сочиненія Карамзина показываютъ, что простота и естественность въ нихъ далеко еще не такъ естественны, что хотя сюжеты заимствованы изъ народной жизни и исторіи, но изображаются далеко не въ народномъ духѣ, а во вкусѣ и стилѣ сантиментальныхъ повѣстей Жанлисъ и Мармонтеля.

**Бѣдная Лиза.** Содержаніе этой знаменитой повѣсти чрезвычайно просто, чтобы не сказать бѣдно. Въ Москвѣ, не далеко отъ Симонова монастыря, подлѣ березовой рощи, среди зеленого луга, стояла бѣдная хижина, въ которой жила *прекрасная Лиза* съ своей матерью старушкой. Отецъ Лизы былъ „довольно зажиточный поселянинъ“. Но когда онъ умеръ, то мать и дочь обѣднѣли. Лиза кормила мать своими трудами; она ткала холсты, вязала чулки, весною собирала цвѣты, а лѣтомъ ягоды и ходила въ городъ продавать ихъ. „Богъ далъ мнѣ руки, говорила она, чтобы работать; ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенкомъ, теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживятъ батюшки“ (ч. III, 4). Однажды Лиза, продавая въ Москвѣ ландыши, на улицѣ встрѣтила молодого человѣка, который, покупая у нея цвѣты, обратилъ на нее особенное вниманіе и спросилъ, гдѣ она живетъ; вмѣсто пяти копѣекъ онъ давалъ ей за цвѣты рубль; но она не взяла его. Молодой человѣкъ такъ ей понравился, что на другой день, нарвавъ самыхъ лучшихъ ландышей, она ужъ искала его въ Москвѣ, другимъ не хотѣла продавать своихъ цвѣтовъ и, когда не нашла его, то бросила ихъ въ рѣку. Между тѣмъ, на другой день вечеромъ, молодой человѣкъ самъ пришелъ въ хижину Лизы и спросилъ напиться; ему принесли молока. Онъ познакомился съ матерью Лизы и понравился ей. „Мнѣ хотѣлось бы, сказалъ онъ матери, чтобы дочь твоя никому, кромѣ меня, не продавала своей работы. Такимъ образомъ ей не за чѣмъ будетъ часто ходить въ городъ, и ты не принуждена будешь съ нею разставаться. Я самъ по временамъ буду заходить къ вамъ“. Старушка съ охотою приняла его предложеніе, увѣряя его, что полотно, вытканное и чулки, связанные Лизой, бываютъ отменно хороши и носятся дольше всякихъ другихъ (стр. 8). Молодой человѣкъ сталъ часто бывать у нихъ. Его звали Эрастомъ. Это былъ „довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ отъ природы, но слабымъ и вѣтренымъ. Онъ велъ разсѣянную жизнь, думалъ только о своемъ удовольствіи, искалъ его въ свѣтскихъ забавахъ, но часто не находилъ: скучалъ и жаловался на судьбу свою“. Красота Лизы при первой встрѣчѣ сдѣлала впечатлѣніе въ его сердцѣ. „Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, чего сердце его давно искало“. Молодые люди сильно полюбили

другъ друга, всякій вечеръ видѣлись „или на берегу рѣки, или въ березовой рошѣ, но всего чаще подъ тѣнью столѣтнихъ дубовъ, осынявшихъ глубокой, чистый прудъ“. Лиза до того увлеклась Эрастомъ, что отказала своему жениху, сыну богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни, а Эрастъ далъ обѣщаніе Лизѣ жениться на ней. Но счастье Лизы продолжалось не долго. Эрастъ, насытившись ея любовью, сталъ посѣщать ее рѣже и рѣже, и однажды объявилъ ей, что онъ служитъ въ военной службѣ и долженъ ѣхать на войну. Лиза повѣрила, и Эрастъ ѣхалъ. Прошло около двухъ мѣсяцевъ; Лиза пошла въ Москву купить розовой воды — лечить глаза матери. На одной улицѣ вдругъ она увидѣла Эраста въ каретѣ, бросилась за нимъ и прибѣжала въ его домъ; но Эрастъ принялъ ее холодно; объявилъ, что онъ скоро женится на другой. Онъ, дѣйствительно, былъ на войнѣ; но, вмѣсто того, чтобы сражаться съ непріятелемъ, игралъ въ карты и проигралъ почти все свое имѣніе, и чтобы заплатить свои долги, онъ вздумалъ жениться на богатой вдовѣ. Онъ далъ Лизѣ сто рублей и выпроводилъ изъ своего дома. Лиза очутилась на улицѣ въ такомъ положеніи, котораго никакое перо описать не можетъ. Съ ней произошелъ обморокъ. Одна добрая женщина, которая шла по улицѣ, увидѣвъ ее лежащую на землѣ, привела ее въ чувство. Лиза вышла изъ города и вдругъ увидѣла себя на берегу того глубокаго пруда и подъ тѣнью тѣхъ древнихъ дубовъ, которые такъ еще недавно были безмолвными свидѣтелями ея счастья. Встрѣтивъ свою подругу Анюту, она попросила ее отнести матери данные ей Эрастомъ сто рублей, а сама бросилась въ прудъ и утонула. Мать, узнавъ о смерти Лизы, умерла; Эрастъ также былъ несчастенъ; совѣсть не давала ему покоя за то, что онъ сдѣлался убійцей Лизы. „Сердце мое обливается кровію въ сію минуту, говоритъ авторъ. Я забываю человека въ Эрастѣ—готовъ проклинать его—но языкъ мой не движется—смотрю на небо и слеза катится по лицу моему. Ахъ! для чего пишу не романъ, а печальную быль?“ (стр. 22).— Горячая симпатія, съ какою авторъ изобразилъ эту исторію „Бѣдной Лизы“, нѣжный, чувствительный колоритъ, разлитый по всей повѣсти и наконецъ прекрасныя описанія окрестностей Москвы и Симонова монастыря невообразимо трогали читателей и сдѣлали эту небольшую и простую повѣсть знаменито-исторической.—Окрестности Симонова монастыря долго были любимымъ мѣстомъ гуляній; прудъ, въ которомъ утопилась Лиза, стали называть Лизинымъ прудомъ; всѣ деревья по берегамъ его были испещрены начальными буквами ея имени, которыя вырѣзывали гуляющіе.

Въ исторіи литературы „Бѣдная Лиза“ имѣетъ значеніе какъ первая повѣсть, сюжетъ которой взятъ изъ простаго и притомъ русскаго быта, хотя этотъ простой бытъ изображенъ далеко не

такъ просто и не въ русскомъ духѣ, а въ стилѣ западныхъ сентиментальныхъ повѣстей и романовъ. Лиза и мать ея представлены съ воззрѣніями и чувствами героевъ и героинь этихъ повѣстей, а не съ такими, какія свойственны простымъ русскимъ крестьянамъ. Съ настоящей точки зрѣнія эта невѣрность дѣйствительности составляетъ ничѣмъ непоправимый недостатокъ; но тогда на поэтический вымыселъ смотрѣли иначе. Поэтическую творческую фантазію, какъ источникъ этихъ вымысловъ, самъ Карамзинъ называлъ богиней лжи и призраковъ (въ сказкѣ объ Ильѣ Муромцѣ).

**Наталья, боярская дочь.** „Въ престольномъ градѣ славнаго русскаго царства, въ Москвѣ бѣлокаменной, жилъ бояринъ Матвѣй Андреевъ, человекъ богатый, умный, вѣрный слуга царскій и, по обычаю русскихъ, великій хлѣбосоль. Царь называлъ его правымъ глазомъ своимъ, и правый глазъ никогда царя не обманывалъ. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себя на помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, вкладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: сей правъ (не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но) по моей совѣсти; сей виновать по моей совѣсти — и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою“ (стр. 84). Въ каждый дванадесатый праздниѣ онъ приготавлиалъ длинныя столы въ своихъ горницахъ, покрытыя чистыми скатертями, уставленныя чашами и блюдами съ разными кушаньями. Сидя на лавкѣ, подлѣ высокихъ своихъ воротъ, онъ звалъ къ себѣ обѣдать мимо ходящихъ бѣдныхъ людей, сколько могло помѣститься въ его боярскомъ жилищѣ. Ласково бесѣдуя съ гостями, онъ узнавалъ ихъ нужды, подавалъ имъ хорошіе совѣты, предлагалъ свои услуги и веселился съ ними, какъ съ друзьями. Любовь народная и милость царская были наградою добраго боярина. Но вънцомъ его счастья и радости была его единственная дочь, красавица Наталья. Много цвѣтовъ въ полѣ, въ рощахъ и на лугахъ зеленыхъ; но нѣтъ прекраснѣе розы; много было красавицъ въ Москвѣ, но никакая красавица не могла сравниться съ Натальей. Довольно сказать, что самыя богомольныя старики, видя боярскую дочь у обѣдни, забывали класть земныя поклонны и самыя пристрастныя матери отдавали ей преимущество предъ своими дочерьми. Далѣе авторъ описываетъ душевныя и тѣлесныя качества древне-русской боярской дочери и то, въ чемъ она проводила время свое зимою и лѣтомъ „отъ восхода до заката краснаго солнца“. Проснувшись на восходѣ солнца и перекрестившись, она тотчасъ вставала и начинала собираться „въ обѣднѣ“; только одна жестокая вьюга зимою, а лѣтомъ проливной дождь съ грозою могли удержать древне-русскую дѣвицу отъ исполненія этой обязанности. Становясь всегда въ уголѣ трапезы, Наталья

молилась Богу съ усердіемъ, но въ то же время изъ подлѣбья посматривала на право и на лѣво. Въ старину не было ни влюбѣвъ, ни маскарадовъ, говоритъ авторъ, куда нынѣ ѣздить себя казать и другихъ смотрѣть, итакъ гдѣ же, какъ не въ церкви, любопытная дѣвушка могла поглядѣть тогда на людей? Послѣ обѣдни Наталья всегда раздавала нѣсколько копѣекъ бѣднымъ людямъ. Возвратившись отъ обѣдни, она садилась шить въ пальцахъ, или плести кружево, сучить шелеъ, низать ожерелье. Послѣ сытнаго обѣда бояринъ Матвѣй ложился отдыхать, а дочь свою отпускалъ съ мамой гулять въ садъ или на большой зеленый лугъ у „красныхъ воротъ“. Вечеромъ къ Натальѣ собирались молодыя подруги; въ ихъ кружокъ приходилъ иногда побесѣдовать и самъ бояринъ и рассказывалъ имъ „приключенія благочестиваго князя Владиміра и могучихъ богатырей россійскихъ“. Зимой Наталья каталась въ саняхъ по городу и ѣздила къ подругамъ „на вечеринки“, гдѣ играли въ жмурки, прятались, хоронили золото, пѣли пѣсни, рѣзались, „не нарушая благопристойности и смѣялись безъ насмѣшекъ“. Такъ жила Наталья до 17-ти лѣтъ. Однажды, по обыкновенію, она была у обѣдни и встрѣтила здѣсь одного прекраснаго молодого человѣка, который произвелъ на нее глубокое впечатлѣніе. Ей представилось, что безвзвѣстный призракъ, который ночью и днемъ прельщалъ ея воображеніе, былъ не что иное, какъ образъ сего молодого человѣка. Въ свою очередь и Наталья понравилась молодому человѣку. На другой день Наталья пришла къ обѣднѣ ранѣе всѣхъ и всѣхъ позже вышла изъ церкви; но молодого человѣка не было; тоже повторилось на третій день, и только на четвертый день они опять увидѣлись. Спусти нѣсколько времени, когда боярина Матвѣя не было дома, няня ввела молодого человѣка въ теремъ; онъ бросился къ ногамъ Натальи и объявилъ ей, что онъ уже давно влюбленъ въ нее. Наталья также призналась ему въ своей любви. Не надѣясь, что бояринъ Матвѣй согласится на ихъ бракъ, онъ уговорилъ Наталью тайно уѣхать съ нимъ и повѣнчаться. Въ ту же ночь онъ увѣзъ ее вмѣстѣ съ няней. На пути они остановились въ одной деревянной церкви, гдѣ дожидалъ ихъ одинъ старый священникъ и обвинчалъ ихъ. Послѣ вѣнца они продолжали путь и пріѣхали въ дремучій лѣсъ. На встрѣчу имъ вдругъ вышло нѣсколько человѣкъ съ зажженными пучками соломѣ и съ кинжалами. Няня подумала, что они находятся въ рукахъ разбойниковъ; но оказалось, что эти люди молодого мужа. Его звали Алексѣемъ Любославскимъ. Онъ былъ сынъ одного опальнаго боярина Любославскаго, который, по ложному подозрѣнію, былъ замѣшанъ въ заговоръ противъ государя и, чтобы спасти свою жизнь, бѣжалъ изъ Москвы со своимъ 12-лѣтнимъ сыномъ Алексѣемъ и скрылся на берегахъ Волги, въ той странѣ, гдѣ въ эту рѣку вливается

Свіяга (значить въ странѣ Казанской). Проживъ здѣсь около 10 лѣтъ, онъ умеръ, поручивъ предъ смертію сына своего одному другу своему въ Москвѣ, который построилъ для его убѣжища уединенный домикъ въ 40 верстахъ, въ дремучемъ непроходимомъ лѣсу, но самъ тоже вскорѣ послѣ этого умеръ. Алексѣй переселился въ этотъ домикъ уже послѣ его смерти. Это и было то мѣсто, куда онъ привезъ Наталью. Молодые люди устроились хорошо; но Наталья не могла забыть оставленнаго ею отца и постоянно сокрушалась, а Алексѣя тяготила царская опала, вслѣдствіе которой онъ не могъ нигдѣ показаться. Онъ придумывалъ способы испросить прощеніе у боярина Матвѣя и заслужить милость государя. Этому помогъ слѣдующій случай. На Московское царство напали Литовцы. Алексѣй вздумалъ отправиться на войну, чтобы подвигами своими обратить на себя вниманіе; но Наталья никакъ не хотѣла разстаться съ нимъ и рѣшилась сама отправиться на войну: „дай мнѣ только, сказала она, мечъ острый и копье булатное, пищаetz, панцырь и щитъ желѣзный, увидишь, что я не хуже мужчины“. Алексѣй выбралъ для нея самое легкое оружіе, нарядилъ ее въ панцырь, сдѣланный изъ мѣдныхъ колецъ (на которомъ было написано: съ нами Богъ, — никто же на ны), вооружилъ своихъ людей, надѣлъ латы своего отца и съ Натальей отправился на войну. На войнѣ Алексѣй и Наталья такъ отличились своею храбростію, что обратили на себя всеобщее вниманіе. Донося о побѣдѣ, военачальникъ писалъ царю: „Мы не можемъ по достоинству восхвалить того юнаго воина, которому принадлежать вся честь побѣды, и который гвалъ, разилъ непріятелей и собственною рукою плѣнилъ ихъ предводителя. Повсюду слѣдовалъ за нимъ братъ его, прекрасный отрокъ, и закрывалъ его щитомъ своимъ. Онъ не хочетъ объявить имени своего никому, кромѣ тебя, государя“ (стр. 134). Государь потребовалъ ихъ къ себѣ и спросилъ, кто они такіе, и когда они объявили себя, то простилъ Алексѣя и уговорилъ и боярина Матвѣя простить Наталью и благословить ихъ на супружескую жизнь. И потомъ они жили счастливо до глубокой старости.

Повѣсть написана Карамзинымъ въ 1792 г., когда авторъ уже началъ изучать русскую исторію и хотѣлъ воскресить предъ русскимъ обществомъ древне-русскую жизнь. „Кто изъ насъ, говорить онъ въ самомъ началѣ повѣсти, не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т. е. говорили, какъ думали“ (стр. 81). Онъ относится къ древне-русской жизни съ

глубокимъ сочувствіемъ и старается выставить всѣ лучшія ея стороны иногда въ укоръ современной жизни. Говоря о добротѣ, честности и правдивости боярина Матвѣя, о его покровительствѣ и заступничествѣ за своихъ бѣдныхъ сосѣдей, онъ прибавляетъ: „чему въ наши просвѣщенные времена, можетъ быть, не всякій повѣритъ, но что въ старину совсѣмъ не почиталось рѣдкостью“; говоря о качествахъ его дочери Натальи, онъ замѣчаетъ, что „она имѣла всѣ свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя русскіе не читали тогда ни Локка о воспитаніи, ни Руссова Эмиля“. Въ бояринѣ представленъ типъ именитаго и богатаго боярина, въ Наталья типъ древне-русской боярышни; но черты этихъ типовъ слишкомъ общи и слишкомъ идеализированы, изображены безъ всякихъ тѣней тогдашней дѣйствительности, безъ исторической обстановки; въ характерѣ Натальи авторъ даже отступаетъ отъ исторіи, выводя Наталью изъ замкнутой свѣтлицы или терема на войну, въ военный станъ съ рыцарскимъ пошибомъ, героиней въ родѣ какой-нибудь Жанны д'Аркъ, для чего примѣровъ древняя исторія русская не представляетъ.

**Островъ Борнгольмъ.** Авторъ говоритъ, что рассказъ о приключеніяхъ на датскомъ островѣ Борнгольмѣ, написанный въ 1793 г., составляетъ эпизодъ изъ его приключеній во время возвращенія изъ путешествія по Европѣ. Во время остановки въ Гревсендѣ (въ Англіи), на морскомъ берегу, онъ встрѣтилъ „молодаго человека, худого, блѣднаго, томнаго, болѣе привидѣніе, нежели человека. Въ одной рукѣ держалъ онъ гитару, другою срывалъ листочки съ дерева и смотрѣлъ на синее море неподвижными черными глазами своими, въ которыхъ сіялъ послѣдній лучъ угасающей жизни“. Когда авторъ спросилъ о причинѣ его несчастія, онъ ничего не отвѣтилъ, но, взявъ гитару, запѣлъ слѣдующую пѣсню:

Законы осуждаютъ  
Предметъ моей любви;  
Но кто, о сердце! можетъ  
Противиться тебѣ?

Но какіе законы осуждаютъ любовь несчастнаго и какая клятва удалила его отъ береговъ Борнгольма, столь ему милого, автору узнать не удалось, потому что онъ долженъ былъ немедленно сѣсть на корабль. Но когда корабль присталъ къ острову Борнгольму, авторъ вздумалъ пробраться въ замокъ на этомъ островѣ, чтобы узнать тайну несчастнаго гревсендскаго молодого человека. Въ старомъ мрачномъ замкѣ, съ заросшимъ красивой и пыльною дворомъ и огромными пустыми залами, доживалъ послѣдніе дни

„почтенный сѣдовласый старецъ“; онъ принялъ его ласково и сказалъ: „Давно я живу въ уединеніи, давно не слышу ничего о судьбѣ людей. Скажи мнѣ, царствуетъ ли любовь на земномъ шарѣ? Курится ли огнемъ на алтаряхъ добродѣтели? благоденствуютъ ли народы въ странахъ, тобою видѣнныхъ?“—Свѣтъ наукъ, отвѣчалъ я, распространяется все болѣе и болѣе; но еще струится на землѣ кровь человѣческая, льются слезы несчастныхъ, хвалятъ имя добродѣтели и спорятъ о существѣ ея. Старецъ вздохнулъ и пожалъ плечами. Узнавъ, что я россиянинъ, сказалъ: мы происходимъ отъ одного народа съ вашимиъ. Древніе жители острововъ Рюгена и Борнгольма были Славяне. Но вы прежде насъ озарились свѣтомъ христіанства. Уже великолѣпные храмы, единому Богу посвященные, возносились въ облакамъ въ странахъ вашихъ; но мы, во мракѣ идолопоклонства, приносили кровавыя жертвы безчувственнымъ истуканамъ“ (стр. 157). Ночью автора встревожилъ тяжелый и странный сонъ; чтобы освѣжиться, онъ сошелъ въ садъ и здѣсь наткнулся на пещеру, гдѣ, за желѣзной рѣшеткой, на которой висѣлъ большой замокъ, горѣла лампада, привязанная къ своду, а въ углу, на соломенной постелѣ, лежала молодая блѣдная женщина въ черномъ платьѣ. „Кто бы ты ни былъ, сказала она, какимъ бы случаемъ ни зашелъ сюда, чужеземецъ! я не могу требовать отъ тебя ничего, кромѣ сожалѣнія. Не въ твоихъ силахъ перемѣнить долю мою. Я лобзаю руку, которая меня наказываетъ... Ради Бога оставь меня!... Если онъ самъ послалъ тебя—тотъ, котораго страшное проклятiе гремитъ всегда въ моемъ слухѣ, скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь; что сердце мое высохло отъ горести; что слезы не облегчаютъ уже тоски моей. Скажи, что я безъ ропота, безъ жалобъ сношу заключеніе, что я умру его нѣжною, несчастною“... На другой день утромъ старецъ разсказалъ ему исторію этой несчастной. „Но вы, друзья мои, теперь не услышите ее; она останется до другаго времени. На сей разъ скажу вамъ одно то, что я узналъ тайну гревзендскаго незнакомца,—тайну страшную!“ (стр. 162—165).

Повѣсть напоминаетъ старыя рыцарскія баллады, въ которыхъ изображаются рыцарскіе замки съ окружающими ихъ рвами, подъемными мостами, огромными залами съ готическими колоннами, страшными башнями и подземными темницами, въ которыхъ томятся разные несчастные; подъ вліяніемъ балладъ она, конечно, и составилаь.

**Марea посадница или повореніе Новгорода.** Историческая повѣсть. Повѣсть эта, весьма интересная въ литературномъ отношеніи, весьма важна и потому, что характеризуетъ взглядъ Карамзина на этотъ знаменитый эпизодъ въ древней русской исторіи.

Несомненно, что Карамзинъ относился весьма сочувственно къ Новгородцамъ, возставшимъ за свою вольность противъ Іоанна; онъ видѣлъ въ ихъ возстаніи проявленіе глубокаго патріотизма и съ этой точки зрѣнія изобразилъ все событіе. „И лѣтописи и старинныя пѣсни, говоритъ авторъ, отдають справедливость великому уму Марѣи Борецкой, сей чудной женщины, которая умѣла овладѣть народомъ и хотѣла (весьма не кстати) быть Катонѣмъ своей республики“ (стр. 167). Дѣйствительно, Марѣя посадница изображена въ величавомъ образѣ, напоминающемъ древнихъ римлянѣкъ временъ Катона или Брута; съ такимъ же твердымъ и самоотверженнымъ характеромъ изображены другія дѣйствующія лица: посадникъ Дѣлинскій, дѣдъ Марѣи отшельникъ Θεодосій, Мірославъ, Михаилъ Храбрый, дочь Марѣи Ксенія и др. Каждая сцена проникнута чрезвычайнымъ одушевленіемъ и исполнена драматизма, и все лѣтописное повѣствованіе о покореніи Новгорода, подъ перомъ автора, получило характеръ высокой исторической трагедіи, написанной, вѣроятно, подъ вліяніемъ историческихъ трагедій Шекспира и въ частности „Юлія Цезаря“, переводомъ котораго авторъ занимался, кажется, въ это время. Повѣсть состоитъ изъ трехъ главъ, которыя названы книгами. Въ первой книгѣ описывается посольство Московскаго князя Іоанна III въ Новгородъ съ предложеніемъ ему добровольно покориться Москвѣ, если онъ не хочетъ быть разоренъ войною и покоренъ насильно. „Раздался звукъ Вѣчеваго колокола,—такъ начинается повѣсть,—и вздрогнули сердца въ Новгородѣ. Отцы семействъ вырываются изъ объятій супруговъ и дѣтей, чтобы спѣшить, куда зоветъ ихъ отечество. Недоумѣніе, любопытство, страхъ и надежда влекутъ гражданъ шумными толпами на великую площадь. Всѣ спрашиваютъ: никто не отвѣтствуетъ... Тамъ, противъ древняго дома Ярославова, уже собрались посадники съ золотыми на груди медалями, тысяцкіе съ высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всѣхъ пяти концевъ Новгородскихъ съ серебряными сѣкирами. Но еще не видно никого на мѣстѣ Лобномъ или Вадимовомъ (гдѣ возвышался мраморный образъ сего витязя)“ (стр. 167—168). Но вотъ всходитъ на желѣзные ступени Лобнаго мѣста именитый гражданинъ Іосифъ Дѣлинскій, смиренно кланяется и говоритъ народу, что князь Московскій прислалъ въ Великій Новгородъ своего боярина, который желаетъ всенародно объявить его требованія. Это былъ воевода, князь Холмскій, мужъ благоразумный и твердый—правая рука Іоаннова въ предпріятіяхъ воинскихъ, око его въ дѣлахъ государственныхъ, храбрый въ битвахъ, веверѣчивый въ совѣтѣ. „Граждане Новгородскіе! вѣщаетъ онъ: князь Московскій и всея Россіи говоритъ съ вами—внимайте! Народы дикіе любятъ независимость, народы мудрые любятъ порядокъ: а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собою и были жер-



твою лютыхъ сосѣдовъ или еще лютейшихъ внутреннихъ междоусобій. Старецъ добродѣтельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклиналъ ихъ избрать владѣтеля. Они повѣрили ему: ибо человекъ при дверяхъ гроба можетъ говорить только истину. Граждане Новгородскіе! въ стѣнахъ вашихъ родилось, утвердилось, прославилось самодержавіе земли русской. Здѣсь великодушный Рюрикъ творилъ судъ и правду; на семь мѣстѣ древніе Новгородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирилъ внутренніе раздоры, успокоилъ и возвеличилъ городъ ихъ. На семь мѣстѣ они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого“ (стр. 169). „Граждане Новгородскіе! не только воинскою славою обязаны вы государямъ русскимъ: если глаза мои, обращаясь на всѣ концы вашего города, видятъ повсюду золотые кресты великолѣпныхъ храмовъ святой вѣры; если шумъ Волхова напоминаетъ вамъ тотъ великій день, въ который знаки идолослуженія погибли съ шумомъ въ быстрыхъ волнахъ его: то вспомните, что Владиміръ соорудилъ здѣсь первый храмъ истинному Богу; Владиміръ низвергъ Перуна въ пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны въ Новѣгородѣ, то скажите, чья рука оградила ихъ безопасностью!.. Здѣсь—(указывая на домъ Ярослава)—здѣсь жилъ мудрый законодатель, благотворитель вашихъ предковъ, князь великодушный, другъ ихъ, котораго называли они вторымъ Рюрикомъ“!... (170). И потомъ въ обширной картинѣ изображаетъ, какъ подъ властію князей Кіевскихъ и Московскихъ создалось, окрепло и возвысилось русское государство, и въ частности указываетъ на заслугу Московскаго князя Іоанна. „Народъ и граждане, заключаетъ онъ свою рѣчь, да властвуетъ Іоаннъ въ Новѣгородѣ, какъ онъ въ Москвѣ властвуетъ! или—внимайте его послѣднему слову—или храброе войнство, готовое сокрушить татаръ, въ грозномъ ополченіи явится прежде глазамъ вашимъ, да усмирить мятежниковъ!.. Миръ или война? отвѣтствуйте!“ (174—175). Но долго одно молчаніе было отвѣтомъ на краснорѣчивое и сильное воззваніе Холмскаго. Наконецъ толпы народныя заколебались и раздались восклицанія: Марѳа! Марѳа! и появилась бывшая посадница Марѳа Борецкая и тихо и величаво взошла на желѣзные ступени. „Говори, славная дочь Новогорода“! воскликнулъ народъ единогласно... „Потомки славянъ великодушныхъ! сказала Марѳа, васъ называютъ мятежниками!.. За то ли, что вы подыали изъ гроба славу ихъ? Они были свободны, когда текли съ востока на западъ избрать себѣ жилище во вселенной, свободны подобно орламъ, парившимъ надъ ихъ главою въ обширныхъ пустыняхъ древняго міра... Они утвердились на красныхъ берегахъ Ильмея, и все еще служили одному Богу... Правда, съ теченіемъ времени родился въ душахъ новыя страсти; обычаи древніе, спасительныя забывались, и неопытная юность презирала.

мудрые совѣты старцевъ: тогда Славяне призвали къ себѣ знаменитыхъ храбростію князей варяжскихъ, да повелѣваютъ юнымъ мятежнымъ воинствомъ. Но когда Рюрикъ захотѣлъ самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадимъ храбрый звалъ его предъ судъ народа... Кончина Рюрика,—да отдадимъ справедливость сему знаменитому витязю!—мудраго и смѣлаго Рюрика, воскресила свободу Новгородскую. Народъ, изумленный его величіемъ, невольно и смиренно повиновался; но скоро, не видя уже героя, пробудился отъ глубокаго сна, и Олегъ, испытавъ многократно его упорную непреклонность, удалился отъ Новгорода съ воинствомъ храбрыхъ варяговъ и славянскихъ юношей, искать побѣды, данниковъ и рабовъ между другими сѣверскими, менѣе отважными и гордыми племенами. Съ того времени Новгородъ признавалъ въ князьяхъ своихъ единственно полководцевъ и военачальниковъ: народъ избралъ власти гражданскія, и, повинаясь имъ, повиновался уставу воли своей. Въ кievлянахъ и другихъ росіянахъ отцы наши любили кровь славянскую, служили имъ, какъ друзьямъ и братьямъ, разили ихъ непріателей и вмѣстѣ съ ними славились побѣдами. Здѣсь провелъ юность свою Владиміръ; здѣсь, среди примѣровъ народа великодушнаго, образовался великій духъ его; здѣсь мудрая бесѣда старцевъ нашихъ возбудила въ немъ желаніе спросить всѣ народы земные о тайнствахъ вѣры ихъ, да откроется истина ко благу людей; и когда, убѣжденный въ святости христіанства, онъ принялъ его отъ Грековъ, Новгородцы, разумѣе другихъ племенъ славянскихъ, изъявили и болѣе ревности къ новой истинной вѣрѣ. Имя Владиміра священно въ Новгородѣ; священна и любезна память Ярослава: ибо онъ первый изъ князей русскихъ утвердилъ законы и вольность Великаго града. Пусть дерзость называетъ отцевъ нашихъ неблагодарными за то, что они отражали властолюбивыя предпріятія его потомковъ! Духъ Ярославовъ оскорбился бы въ небесныхъ селеніяхъ, если бы мы не умѣли сохранить древнихъ правъ, освященныхъ его именемъ. Онъ любилъ Новгородцевъ, ибо они были свободны; ихъ признательность радовала его сердце, ибо только души свободныя могутъ быть признательными: рабы повинуются и ненавидятъ! (стр. 175—178). Марѳа старается ослабить силу впечатлѣнія, произведеннаго на народъ рѣчью Холмскаго и разбираетъ каждое его положеніе и наконецъ, дойдя до заслугъ князя Іоанна, на которыя указалъ Холмскій, она говоритъ: „Да будетъ великъ Іоаннъ, но да будетъ великъ и Новгородъ! Да славится князь Московскій истребленіемъ враговъ христіанства, а не друзей и не братій земли русской, которыми она еще славится въ мірѣ! да прерветъ оковы ея, не возлагая ихъ на добрыхъ и свободныхъ новгородцевъ! Еще Ахматъ дерзаетъ называть его своимъ данникомъ: да идетъ Іоаннъ противъ монгольскихъ

варваровъ, вѣрная дружина наша откроетъ ему путь къ стану Ахматову“! (стр. 182). Обращаясь къ Новгороду, она сказала: „Знай, о Новгородъ! что съ утратою вольности изсохнетъ и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изощряетъ серпы и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли, она же окрыляетъ суда новгородскіе, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Бѣдность, бѣдность накажетъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцевъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ великій, опустѣютъ многолюдные концы твои; ширскія улицы заростутъ травой, и великолѣпіе твое, исчезнувъ на вѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно любопытный странникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось вѣче, гдѣ стоялъ домъ Ярославовъ и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ ихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: здѣсь былъ Новгородъ“!... (стр. 184): Но страшный вопль народа больше не далъ говорить посадницѣ. „Нѣтъ, нѣтъ! мы всѣ умремъ за отечество“! воскликнули безчисленные голоса. „Новгородъ государь нашъ! да явится Іоаннъ съ воинствомъ“!... Но посреди шума народнаго вдругъ раздается на площади страшный трескъ и громъ, и всѣ съ ужасомъ увидѣли, что высокая башня Ярославова, новое гордое зданіе народнаго богатства, пала съ вѣчевымъ колоколомъ и дымится въ своихъ развалинахъ, и въ то же время послышался голосъ, подобный глухому стону: „о Новгородъ! такъ падетъ слава твоя: такъ исчезнетъ твое величіе“! Ночью тысячскіе и бояре съ гражданами отрыли вѣчевой колоколъ и повѣсили на другой башнѣ.

Во второй книгѣ описывается приготовленіе новгородцевъ къ войнѣ, избраніе полководца Мірослава и женитьба его на Ксеніи, дочери Марѣи посадницы, что составляетъ романическій элементъ повѣсти. Затѣмъ помѣщенъ рассказъ о посольствѣ въ Новгородъ польскаго короля Казимира, съ предложеніемъ помощи въ войнѣ съ княземъ Московскимъ. Марѣя съ гордостью отвергла его предложеніе. „Лучше погибнуть отъ руки Іоанновой, нежели спастись отъ вашей, съ жаромъ отвѣтствуетъ Марѣя. Когда вы не были лютыми врагами народа русскаго? когда міръ надѣялся на слово польское? Давно ли самъ невѣрный Амурать удивлялся вѣроломству вашему? И вы дерзаете мыслить, что народъ великодушный захочетъ упасть на колѣни предъ вами? Тогда бы Іоаннъ справедливо укорялъ насъ измѣною. Нѣтъ! если угодно небу, то мы падемъ съ мечемъ въ рукѣ предъ княземъ Московскимъ: одна кровь течетъ въ жилахъ нашихъ; русскій можетъ покориться русскому, но чужеземцу—никогда, никогда“! (стр. 203). Новгородцы вздумали обратиться за помощью къ Псковитянамъ, но Псковитяне посовѣтовали имъ покориться Іоанну. Съ конца второй главы начинается описаніе сра-

женія новгородцевъ съ Московскимъ войскомъ, а въ третьей книгѣ изображается побѣда Московскаго князя и покореніе Новгорода. Повѣсть оканчивается трагическою сценою казни Марыи посадницы и водвореніемъ въ Новгородъ знамени и власти Московскаго князя. „Вѣчевой колоколъ, говоритъ авторъ, былъ снятъ съ древней башни и отвезенъ въ Москву: народъ и нѣкоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за нимъ съ безмолвною горестію и слезами, какъ нѣжныя дѣти за гробомъ отца своего“ (стр. 238).

„Бѣдная Лиза“, „Наталья боярская дочь“ и „Марья посадница“ составляютъ главные литературныя произведенія Карамзина. Кромѣ того въ своихъ журналахъ онъ напечаталъ много разныхъ статей и разсужденій по разнымъ научнымъ и общественнымъ вопросамъ.

**Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости.**  
„Все народное ничто предъ человѣческимъ“, говорилъ Карамзинъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“; главное дѣло быть людьми, а не славянами; что выдуманно французами, нѣмцами и англичанами, то мое, ибо я человѣкъ“. Въ послѣдствіи Карамзинъ увидѣлъ, что все человѣческое существуетъ и можетъ обнаруживаться только въ народной формѣ, что для того, чтобы быть людьми, непремѣнно нужно принадлежать къ какому-нибудь народу, къ какому-нибудь обществу, что понятія: человѣкъ и человечество суть понятія отвлеченныя, а въ дѣйствительности существуютъ французы, нѣмцы, англичане, русскіе; что хотя все, приобрѣтенное разными народами, принадлежитъ всему человечеству, но не все, приобрѣтенное однимъ народомъ, можетъ быть пригодно другому народу, ибо каждый народъ можетъ, кромѣ общихъ потребностей, имѣть другія потребности, возникающія вслѣдствіе разныхъ условій народной жизни, условій климатическихъ, историческихъ и социальныхъ. — Вслѣдствіе этого Карамзинъ, не переставая сочувствовать европейскому образованію, наукѣ, искусству, явился горячимъ проповѣдникомъ патріотизма въ своемъ разсужденіи „О любви къ отечеству и народной гордости“. Здѣсь онъ доказываетъ, что человѣкъ не можетъ жить внѣ своего народа, что онъ связанъ съ нимъ такими узами, разорвать которыя не возможно. Эти узы составляютъ тѣ формы жизни, которыя созданы почвою и климатомъ страны, религіозными и политическими учрежденіями, нравами и обычаями, которыя и составляютъ народность. На основаніи этихъ коренныхъ началъ любви къ отечеству, онъ раздѣляетъ ее на три вида: физическую, нравственную и политическую. Любовь физическая есть привязанность къ мѣсту своего рожденія и воспитанія. „Сія привязанность есть общая для всѣхъ людей и народовъ; есть дѣло при-

роды, и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не мѣстными красотою, не яснымъ небомъ, не пріятнымъ климатомъ, а плѣнительными воспоминаніями, окружающими, такъ сказать, утро и колыбель человѣчества... Лапландецъ, рожденный почти во гробъ природы, не смотря на то любитъ хладный мракъ земли своей. Переселите его въ счастливую Италію: онъ взоромъ и сердцемъ будетъ обращаться къ сѣверу, подобно магниту; яркое сіяніе солнца не произведетъ такихъ сладкихъ чувствъ въ его душѣ, какъ день сумрачный, какъ свистъ бури, какъ паденіе снѣга: они напоминаютъ ему отечество!—Самое расположеніе нервъ, образованныхъ въ человѣкѣ по климату, привязываютъ насъ къ родинѣ. Не даромъ медики совѣтуютъ иногда больнымъ лечиться ея воздухомъ; не даромъ житель Гельвеціи, удаленный отъ снѣжныхъ горъ своихъ, сохнетъ и впадаетъ въ меланхолію; а возвращаясь въ дикій Унтервальденъ, въ суровый Гларисъ, оживаетъ. Всякое растеніе имѣетъ болѣе силы въ своемъ климатѣ: законъ природы и для человѣка не измѣняется“ (466).—Нравственная любовь къ отечеству возникаетъ и развивается въ той средѣ, въ которой происходитъ воспитаніе и образованіе человѣка. „Съ кѣмъ мы росли и живемъ, къ тѣмъ привыкаемъ. Душа ихъ сообразуется съ нашею; дѣлается нѣкоторымъ ея зеркаломъ; служитъ предметомъ или средствомъ нашихъ нравственныхъ удовольствій, и обращается въ предметъ склонности для сердца. Сія любовь къ согражданамъ или къ людямъ, съ которыми мы росли, воспитывались и живемъ, есть вторая или нравственная любовь къ отечеству, столь же общая, какъ и первая, мѣстная или физическая, но дѣйствующая въ нѣкоторыхъ лѣтахъ сильнѣе: ибо время утверждаетъ привычку. Надобно видѣть двухъ единоплеменцевъ, которые въ чужой землѣ находятъ другъ друга: съ какимъ удовольствіемъ они обнимаются и спѣшатъ изливать душу въ искреннихъ разговорахъ!... На берегахъ прекраснѣйшаго въ мірѣ озера, служащаго зеркаломъ богатой натурѣ, случилось мнѣ встрѣтить голландскаго патріота, который, по ненависти къ Штатгальтеру и Оранистамъ, выѣхалъ изъ отечества и поселился въ Швейцаріи между Нюна и Роля. У него былъ прекрасный домикъ, физическій кабинетъ, библіотека; сидя подъ окномъ, онъ видѣлъ предъ собою великолѣпнѣйшую картину природы. Хотя мимо домика, я завидовалъ хозяину, не зная его; познакомился съ нимъ въ Женевѣ, и сказалъ ему о томъ. Отвѣтъ голландскаго флегматика удивилъ меня своею живостію: „никогда не можетъ быть счастливъ внѣ своего отечества, гдѣ сердце его выучилось разумѣть людей и образовало свои любимыя привычки. Никакимъ народомъ нельзя замѣнить согражданъ. Я живу не съ тѣми, съ кѣмъ жилъ 40 лѣтъ и живу не такъ, какъ жилъ 40 лѣтъ: трудно приучать себя къ новостямъ, и мнѣ скучно!“ (466—468). „Но физическая

и нравственная привязанность къ отечеству, дѣйствіе натуры и свойствъ человека, не составляетъ еще той великой добродѣтели, которою славилась греки и римляне. Патриотизмъ есть любовь къ благу и славѣ отечества и желаніе способствовать имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ требуетъ разсужденія, и потому не всѣ люди имѣютъ его. Самая лучшая философія есть та, которая основываетъ обязанности человека на его счастьи. Она скажетъ намъ, что мы должны любить пользу отечества, ибо съ нею неразрывна наша собственная; что его просвѣщеніе окружаетъ насъ самихъ многими удовольствіями въ жизни; что его тишина и добродѣтели служатъ щитомъ семейственныхъ наслажденій; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человеку называться сыномъ презрѣннаго отца, то не менѣе оскорбительно и гражданину называться сыномъ презрѣннаго отечества. Такимъ образомъ любовь къ собственному благу производитъ въ насъ любовь къ отечеству, а личное самолюбіе гордость народную, которая служитъ опорой патриотизма (стр. 468). Затѣмъ онъ указываетъ на главные эпохи въ древней и новой исторіи Россіи, знаменитыя событія, подвиги и успѣхи въ наукахъ, искусствахъ и цивилизаціи, составляющіе славу Россіи и долженствующіе служить основаніемъ патриотизма и наконецъ очень скромно въ заключеніе упрекаетъ русскихъ людей въ слабости патриотизма, въ недостатѣ любви къ своему родному, особенно въ области отечественной науки, отечественнаго языка и словесности. „Расположеніе души моей, слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу; но я осмѣлюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная лучше парижскихъ жителей всѣ произведенія французской литературы, не хотятъ и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ французскіе и нѣмецкіе критическіе журналы, которые отдають справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ. Кому не будетъ обидно походить на Даламбертову мамку, которая живучи съ нимъ, къ изумленію своему услышала отъ другихъ, что онъ умный человекъ? Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ русскаго языка: это извиненіе хуже самой вины. Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой, живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богаче гармонією, нежели французскій; способнѣе для изліянія души въ тонахъ; представляетъ болѣе аналогическихъ словъ, т. е. сообразныхъ съ изображаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по французски и не думаемъ трудиться надъ обработываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснять имъ нѣкоторыхъ тонкостей

въ разговорѣ? Одинъ иностранный министръ сказалъ при мнѣ, что „языкъ нашъ долженъ быть весьма теменъ, ибо русскіе, говоря имъ, по его замѣчанію, не разумѣютъ другъ друга, и тотчасъ должны прибѣгать къ французскому“. Не мы ли сами подаемъ поводъ къ такимъ нелѣпымъ заключеніямъ? Есть всему предѣлъ и мѣра: какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть самъ собою, чтобы сказать: я существую нравственно!... Патріотъ спѣшитъ присвоить отечеству благотворное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!“ (стр. 473—475).

**Переписка Мелодора и Филалета.** Взглядъ Карамзина на французскую революцію и вообще на современные событія въ мірѣ выразился въ перепискѣ двухъ друзей Мелодора и Филалета. Ужасы революціи глубоко потрясли чувствительное сердце Карамзина и возбудили было въ немъ отчаяніе за будущую судьбу челоуѣчества; особенно онъ боялся за участь науки и новаго просвѣщенія, въ которомъ невѣжественные люди находили источникъ пагубныхъ идей, приведшихъ къ такому кровавому перевороту. Но время и размышленіе значительно измѣнили его взглядъ и вывели болѣе примирительное и успокоительное воззрѣніе. Первый взглядъ—мрачный—выраженъ въ письмѣ Мелодора, другой—успокоительный—въ письмѣ Филалета. „Конецъ нашего вѣка, говоритъ Мелодоръ, почтали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій челоуѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣривъ нравственнымъ образомъ въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, наслаждаться истинными благами жизни. О Филалеть! гдѣ теперь сія утѣшительная система?... Она разрушилась въ своемъ основаніи! Осьмой-надесять вѣкъ кончается: что же видишь ты на сценѣ міра?—Осьмой-надесять вѣкъ кончается, и несчастный филантропъ мѣрять двумя шагами могилу свою, чтобы лечь въ ней съ обманутымъ, растерваннымъ сердцемъ своимъ и закрыть глаза на вѣки!“ (ч. III, 438—439)... „Вѣкъ просвѣщенія! я не узнаю тебя—въ крови и пламени не узнаю тебя—среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!... Свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу искусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоценностей ума челоуѣческаго; драгоценностей, собранныхъ вѣками; драгоценностей, на которыхъ основывались всѣ планы мудрыхъ и добрыхъ!... Мизософы (ненавистники наукъ) торжествуютъ: „Вотъ плоды вашего просвѣщенія! говорятъ они; вотъ

плоды вашихъ наукъ, вашей мудрости! Гдѣ воспылае огонь раздора, мятѣжа и злобы? Гдѣ первая кровь обагрила землю? и за что?... И откуда взялись сіи пагубныя идеи?... Да погибнетъ же ваша философія!...“ ..... „Такъ, мой другъ, паденіе наукъ кажется мнѣ не только возможнымъ, но и вѣроятнымъ; не только вѣроятнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. Когда же падутъ онѣ.... когда ихъ великолѣпное зданіе разрушится, благодѣтельныя лампы угаснутъ—что будетъ? Я ужасаюсь, и чувствую трепеть въ сердцѣ!“ (стр.439—441). Въ этомъ отчаяніи за участь и будущую судьбу человѣчества Филалетъ утѣшаетъ Мелодора слѣдующими размышленіями. „Новыя ужасныя происшествія Европы разрушили всю прежнюю утѣшительную систему твою, разрушили и повергнули тебя въ море неизвѣстности и недоумѣній... Вздыхаю, подобно тебѣ, о бѣдствіяхъ человѣчества и признаюсь искренно, что грозныя бури временъ нашихъ могутъ поколебать систему всякаго добродушнаго философа. Но неужели, другъ мой, не найдемъ мы никакого успокоенія во глубинѣ сердецъ нашихъ? Ужели, въ отчаяніи горести, будемъ проклинать міръ, природу и человѣчество? Ужели откажемся на вѣки отъ своего разума и погрузимся во тьму унынія и душевнаго бездѣйствія?—Нѣтъ, нѣтъ! сіи мысли ужасны. Сердце мое отвергаетъ ихъ, и, сквозь густоту ночи, стремится къ благотворному свѣту, подобно мореплавателю, который въ гибельный часъ кораблекрушенія—въ часъ, когда всѣ стихіи угрожаютъ ему смертію—не теряетъ надежды, сражается съ волнами и хватается рукою за плывущую доску“ (447—448)... „Неужели, видя Бога въ естественномъ мірѣ, видя руку Его въ теченіи планетъ, въ порядкахъ солнечныхъ, въ перемѣнѣ головныхъ временъ и во всѣхъ физическихъ явленіяхъ нашей земной обители, будемъ мы отрицать Его содѣйствіе въ одномъ нравственномъ мірѣ, который по существу своему долженъ быть, если смѣю сказать, ближе перваго къ сердцу великаго Божества? Соглашаюсь, что порядокъ нравственный не столь ясенъ для насъ, какъ порядокъ физическій; но сіе затрудненіе не происходитъ ли отъ слабости нашего разума? Можетъ быть единственно отъ того мы и не постигаемъ нравственной гармоніи, что она есть высочайшая, совершеннѣйшая“ (449). Филалетъ совѣтуетъ Мелодору имѣть вѣру въ Провидѣніе: „сія драгоценная вѣра можетъ чудеснымъ образомъ успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театрѣ міра. Вкуси сладость ея, мой любезный другъ, и лучъ утѣшенія кротко озаритъ мракъ души твоей!—Горе той философіи, которая все рѣшить хочетъ“ (450)... „Сѣмя добра есть въ человѣческомъ сердцѣ и не исчезнетъ во вѣки; рука Провидѣнія хранитъ его отъ хлада и бурь. Теперь свирѣпствуютъ аввилонны; но рано или поздно настанетъ благодѣтельная весна, и сѣмя распустится отъ животворнаго дыханія зе-



фировъ"... „Соглашаюсь съ тобою, что мы нѣкогда излишне величали осмой-надесять вѣкъ, и слишкомъ много ожидали отъ него. Происшествія доказали, какимъ ужаснымъ заблужденіямъ подверженъ еще разумъ нашихъ современниковъ. Но я надѣюсь, что впереди ожидаютъ насъ лучшія времена; что природа человѣческая болѣе усовершенствуется — напримѣръ, въ девятнадцатомъ вѣкѣ—нравственность болѣе исправится, разумъ, оставивъ всѣ химерическія предпріятія, обратится на устроеніе мирнаго блага жизни, и зло настоящее послужитъ къ добру будущему"... „Знаю, что распространеніе нѣкоторыхъ ложныхъ идей надѣлало много зла въ наше время; но развѣ просвѣщеніе тому виною? Развѣ науки не служатъ напротивъ того средствомъ къ открытію истины и къ разсѣянію заблужденій, пагубныхъ для нашего спокойствія"... „Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ! я имѣю довѣренность къ мудрости властителей, и спокоенъ; имѣю довѣренность ко благодѣи Всевышняго, и спокоенъ. Нѣтъ! свѣтильникъ наукъ не угаснетъ на земномъ шарѣ" (452—453).

**Нѣчто о наукахъ.** Съ перепиской Мелодора и Филагета тѣсно связана по предмету статья Карамзина: „Нѣчто о наукахъ“, въ которой онъ разбираетъ извѣстное разсужденіе Руссо о вредѣ наукъ и въ которой онъ является горячимъ апологетомъ науки и просвѣщенія. Разсужденіе Руссо: „Discours sur la question proposée par l'Académie de Dijon, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs?“ было вызвано современнымъ состояніемъ наукъ и просвѣщенія во Франціи, которыя имѣли такое превратное и гибельное направленіе, что могли подавать поводъ къ самымъ сильнымъ возраженіямъ противъ всякаго просвѣщенія, науки и цивилизаціи. Руссо это состояніе и привело къ такому заключенію, которое онъ и доказываетъ въ своемъ разсужденіи, что чѣмъ больше человѣкъ учится и развивается, тѣмъ болѣе онъ портится въ нравственномъ отношеніи и становится несчастнѣе въ жизни, что единственное средство для того, чтобы уничтожить зло или положить конецъ испорченности, заключается въ томъ, чтобы возвратиться къ природѣ, къ простымъ и естественнымъ принципамъ первоначальныхъ человѣческихъ обществъ, когда еще не было ни науки, ни искусства, но не было и испорченности нравовъ. Ближайшимъ поводомъ для Карамзина къ разбору этого разсужденія была, какъ онъ замѣчаетъ, „новая піеса одного неизвѣстнаго нѣмецкаго автора (написанная подъ вліяніемъ Руссо), въ которой бѣдныя науки страдаютъ ужаснымъ образомъ“. — „Былъ человѣкъ,— такъ начинается Карамзинъ свою статью,— и человѣкъ великій, незабвенный въ лѣтописяхъ философіи, въ исторіи людей — былъ человѣкъ, который со всѣмъ блескомъ красно-

рѣчія доказывалъ, что просвѣщеніе для насъ вредно, и что науки несовмѣстны съ добродѣтелию! Я чту великія твои дарованія, краснорѣчивый Руссо! Уважаю истины, открытыя тобою современникамъ и потомству... люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою къ человѣчеству; но признаю мечты твои мечтами; парадоксы парадоксами“ (373). Приступая къ самому разбору разсужденія, Карамзинъ замѣчаетъ, что прежде всего надобно опредѣлить, что такое науки и искусства. „Не смотря на разные классы наукъ, онѣ суть не что иное, какъ познаніе натуры и человѣка, или система свѣдѣній и умствованій, относящихся къ симъ двумъ предметамъ“ (375)... Отъ чего произошли онѣ? Отъ любопытства, которое есть одно изъ сильнѣйшихъ побужденій души человѣческой: любопытства, соединеннаго съ разумомъ... Не сама ли природа вложила въ насъ сію живую склонность къ знаніямъ?... Не она ли призываетъ насъ къ наукамъ? Можетъ ли человѣкъ быть безчувственъ тогда, когда громы натуры гремятъ надъ его головою; когда страшные огни ея пылаютъ на горизонтѣ и разсвѣчаютъ небо; когда моря ея шумятъ и ревутъ въ необозримыхъ своихъ равнинахъ; когда она цвѣтетъ предъ нимъ въ зеленой одеждѣ“ (376)... „Можно сказать, что науки были прежде университетовъ, академій, профессоровъ, магистровъ, бакалавровъ. Гдѣ натура, гдѣ человѣкъ, тамъ учительница, тамъ ученикъ—тамъ наука. Хотя первыя понятія дикихъ людей были весьма недостаточны, но они служили основаніемъ тѣхъ великолѣпныхъ знаній, которыми украшается вѣкъ нашъ; они были первымъ шагомъ къ великимъ открытіямъ Невтоновъ и Лейбницевъ“ (378).— „Что суть искусства?—Подражаніе натурѣ. Густыя, сросшіяся вѣтви были образцомъ первой хижины и основаніемъ архитектуры; вѣтеръ, вѣявшій въ отверстіе соломЕННОЙ трости или на струны лука, и поющія птицы научили насъ музыкѣ, тѣнь предметовъ—рисованію и живописи. Горлица, сѣтующая на вѣтви объ умершемъ дружкѣ своемъ, была наставницею перваго элегическаго поэта“ (380). — „Итакъ науки и искусства необходимы; ибо онѣ суть плодъ природныхъ склонностей и дарованій человѣка и соединены съ существомъ его, подобно какъ дѣйствія соединяются съ причиною, т. е. союзомъ неразрывнымъ. Успѣхи ихъ показываютъ, что духовная натура наша въ теченіи временъ, подобно какъ золото въ горнилѣ, очищается и достигаетъ большаго совершенства; показываютъ великое наше преимущество предъ всѣми иными животными, которыя отъ начала міра живутъ въ одномъ кругѣ чувствъ и мыслей, между тѣмъ какъ люди безпрестанно его распространяютъ, обогащаютъ, обновляютъ“ (381). Затѣмъ Карамзинъ опровергаетъ тѣ возраженія, какія дѣлаютъ противъ наукъ, именно: 1) науки портятъ нравы, чему доказательствомъ служитъ просвѣщенный восемнадцатый вѣкъ;

2) Спартанцы не знали ни наукъ, ни искусствъ, и были добродѣтельными прочихъ грековъ и были непобѣдимы. Когда невѣжество царствовало въ Римѣ, тогда римляне повелѣвали міромъ; но Римъ просвѣтился, и сѣверные варвары наложили на него цѣпи рабства; 3) въ наукахъ много заблужденій; 4) на науки и искусства слишкомъ много тратится драгоценнаго времени; 5) люди, занимающіеся науками, не рѣдко имѣютъ порочные нравы. Разобравъ подробно эти возраженія, онъ оканчиваетъ статью слѣдующимъ воззваніемъ: „Такъ, просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, и когда вы, вы, которымъ вышняя Власть поручила судьбу челоувѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣществѣ, — нѣтъ! Сіе золотое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текущій кристаллъ утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною своею тѣнію прохлаждаетъ и пастуха и героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки—и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ челоувѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ—спокойнѣйшимъ, говорю: ибо находя вездѣ и во всемъ тысячу удовольствій и пріятностей, не имѣетъ онъ причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь“... „Законодатель и другъ челоувѣчества! ты хочешь общественнаго блага: да будетъ же первымъ закономъ твоимъ — просвѣщеніе!“ (399—400; 402).

**Разговоръ о счастьи.** „Переписка Мелодора и Филалета“ и „Нѣчто о наукахъ“ отличаются свѣтлымъ колоритомъ: всѣ диссонансы въ природѣ, всѣ неурядицы и катастрофы въ мірѣ нравственномъ авторъ старается примирить, затушевать, какъ настоящій послѣдователь оптимизма; но всего рѣзче и полнѣе оптимистическое направленіе Карамзина выразилось въ „Разговорѣ о счастьи“ тѣхъ же двухъ друзей Мелодора и Филалета. Какъ въ Перепискѣ, Мелодоръ представляется пессимистомъ, Филалетъ—оптимистомъ.

Мелодоръ. „Утѣшенія! гдѣ найти его въ этомъ хаосѣ заблужденій, обмановъ и безчисленныхъ золъ всякаго рода? Я смотрѣлъ, мыслилъ, говорилъ съ философами, съ сердцемъ своимъ—и готовъ прыгнуть съ земнаго шара“ (478).

Филалетъ. Я помню слова одного философа. „Есть ли счастье?“ спросилъ у него любопытный челоувѣкъ. — Люди съ начала міра ищутъ его и по сіе время не нашли, отвѣчалъ онъ: слѣдственно... „Слѣдственно его нѣтъ?“ сказалъ любопытный. — Однакожъ, про-

должалъ мудрецъ, если бы оно было не что иное, какъ пустой фантомъ, то люди давно бы уже перестали искать его; но какъ они все упорствуютъ въ своихъ мысляхъ и все ищутъ, то надобно... „Чтобъ оно существовало? Два противныя слѣдствія: которое же справедливо?“ спросилъ опять любопытный. Рѣши самъ! отвѣчалъ философъ; завернулся въ свою мантию и замолчалъ.

Мелодоръ. Надѣюсь, что ты будешь снисходительнѣе этого философа, и скажешь мнѣ, есть ли, по твоему мнѣнію, истинное счастье въ мирѣ? можетъ ли человѣкъ найти его?

Филалетъ. Нѣтъ и есть! не можетъ и можетъ! (479—480).

Богу не угодно было даровать человѣку совершеннаго блаженства въ здѣшней жизни; оно невозможно по образованію души нашей... Но если счастье состоитъ въ томъ, чтобы находить въ жизни многія истинныя пріятности, не скучать ею, не роптать на судьбу, быть довольнымъ: то оно возможно и дано человѣку.

Мелодоръ. Какъ же я буду доволенъ, когда...

Филалетъ. Будешь, повинуясь сердцу и разсудку. Первое велитъ искать удовольствій, а послѣдній однихъ невинныхъ удовольствій, согласныхъ съ законами природы и мудрости (483).

Я не люблю стойковъ, которые чернымъ сукномъ одѣваютъ всю природу и заранѣе владутъ сердце въ холодную могилу. Нѣтъ, нѣтъ! Природа любитъ одѣваться зеленью и цвѣтами: она дала намъ чувства для того, чтобы услаждать ихъ; дала намъ разсудокъ для того, чтобы выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ нужны, необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мирѣ.

Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны (484).

Натура употребила со своей стороны всѣ средства удержать наши страсти въ естественномъ или (что все одно) въ благомъ ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ горе и страданіе.... Природа не виновата, если мы несчастливы и врожденныя склонности, источникъ вѣрныхъ благъ, превращаемъ въ источникъ злѣ, вопреки ея добруму намѣренію. Человѣкъ долженъ быть творцомъ своего благополучія, приводя страсти въ счастливое равновѣсіе, и образуя вкусъ для истинныхъ наслажденій (490—491).

Истинный философъ или (что все одно) истинно благоразумный человѣкъ смотритъ на миръ съ того мѣста, на которое онъ поставленъ судьбою; ищетъ удовольствій на своемъ горизонтѣ, вокругъ себя; пользуется тѣмъ, что у него подъ рукою; знаетъ, что всякое состояніе въ гражданскомъ обществѣ имѣетъ свои пріятности и непріятности, и для того покойно остается въ своемъ, не завидуя никому (498).

Люди, рожденные въ изобиліи, въ излишествѣ всего нужнаго для физическаго бытія; люди праздные живутъ противъ своего назначенія, противъ естественной цѣли, и за усмиленіе силъ своихъ, данныхъ имъ для дѣйствія, наказываются скукою, всегдашнимъ безпокойнымъ чувствомъ, которое тревожить, томить, изнуряетъ ихъ, и которое можно назвать душевною чахоткою. Чтобы избавиться отъ такой мучительной болѣзни, они должны возвратиться къ природѣ и произвольно отдаться подъ ея законъ, который велитъ жить и работать; надобно, чтобы трудъ, отдыхъ, забава, были также тремя главными эпохами жизни ихъ.... Натура не дѣлаетъ ничего безъ цѣли. Работа есть соль удовольствій, и безъ будней нѣтъ праздника (499).

Чернить нравственный міръ, изливать на людей желчь ненависти, многіе почитаютъ философіею, но сохрани насъ Богъ отъ язвы, голода и такой философіи! Люди дѣлаютъ много зла — безъ сомнѣнія — но злодѣевъ мало; заблужденіе сердца, безразсудность, недостатокъ просвѣщенія, виною дурныхъ дѣлъ (502 стр.).

Вотъ мое заключеніе, вся моя система въ короткихъ словахъ: „Возможное земное счастье состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку — въ нѣжномъ вкусѣ, обращенномъ на природу — въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. Безпрестанное наслажденіе такъ же невозможно, какъ безпрестанное движеніе; машину надобно заводить для хода, а работа заводитъ душу для чувства новыхъ удовольствій. Быть счастливымъ, есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а какъ они основаны на общемъ добрѣ и противны злу, то быть счастливымъ есть.... быть добрымъ“ (503).

Но Карамзинъ не остался навсегда вѣренъ этой утѣшительной системѣ, изложенной имъ въ 1797 г. Въ 1803 г., слѣдовательно чрезъ 6 лѣтъ послѣ этого, онъ уже возставалъ противъ оптимизма, какъ противъ утопіи или игры ума въ своей статьѣ: „О счастливѣйшемъ времени въ жизни“<sup>(1)</sup>. „Человѣколюбіе, безъ сомнѣнія, заставило Цицерона хвалить старость; однакожъ не думаю, чтобы трактать его въ самомъ дѣлѣ утѣшалъ старцевъ: остроумію легко плѣнить разумъ, но трудно побѣдить въ душѣ естественное чувство. Можно ли хвалить болѣзнь? а старость сестра ея. Перестанемъ обманывать себя и другихъ; перестанемъ доказывать, что всѣ дѣйствія природы и всѣ феномены ея для насъ благотворны — въ общемъ планѣ, быть можетъ; но какъ онъ извѣстенъ одному Богу, то человѣку и нельзя разсуждать о вещахъ въ семъ отношеніи. Оптимизмъ есть не философія, а игра ума: философія занимается только ясными исти-

(1) Сочин. Карамз. т. III, 327—331.

нами, хотя и печальными; отвергаетъ ложь, хотя и пріятную. Творецъ не хотѣлъ для человѣка снять завѣсы съ дѣлъ своихъ, и догадки наши никогда не будутъ имѣть силы удостовѣренія.—Вопреки Жанъ-Жаку Руссо, младенчество, сіе всегдашнее бореніе слабой жизни съ алчною смертію, должно казаться намъ жалкимъ; вопреки Цицерону, старость печальна; вопреки Лейбницу и Пону, здѣшній міръ остается училищемъ терпѣнія. Не даромъ всѣ народы имѣли древнее преданіе, что земное состояніе человѣка есть его паденіе или наказаніе: сіе преданіе основано на чувствѣ сердца. Болѣзнь ожидаетъ насъ здѣсь при входѣ и выходѣ; а въ срединѣ, подъ розами здоровья, кроется змѣя сердечныхъ горестей. Живѣйшее чувство удовольствія имѣетъ въ себѣ какой-то недостатокъ; возможное на землѣ счастье, столь рѣдкое, омрачается мыслию, что или мы оставимъ его, или оно оставитъ насъ. Однимъ словомъ, вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки“ (327—328). Но, возставая противъ оптимизма, Карамзинъ не вдается въ другую противоположную крайность, въ какую впадали пессимисты. „Однакожъ, продолжаетъ онъ, слова: благо и счастье справедливо занимаютъ мѣсто свое въ лексиконѣ здѣшняго свѣта. Сравненіе опредѣляетъ цѣну всего: одно лучше другаго—вотъ благо! одному лучше, нежели другому—вотъ счастье!—Какую же эпоху жизни можно назвать счастливѣйшею по сравненію? Не ту, въ которую мы достигаемъ до физическаго совершенства въ бытіи (ибо человѣкъ не есть только животное), но—последнюю степень физической зрѣлости—время, когда всѣ душевныя способности дѣйствуютъ въ полнотѣ своей, а тѣлесныя силы еще не слабѣютъ примѣтно; когда мы уже знаемъ свѣтъ и людей, ихъ отношенія къ намъ, игру страстей, цѣну удовольствій и законъ Природы, для нихъ устроенный; когда разумъ нашъ, богатый идеями, сравненіями, опытами, находитъ истинную мѣру вещей, соглашается съ нею желанія сердца и даетъ жизни общій характеръ благоразумія. Какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе предъ началомъ увяданія..... Не въ лѣтахъ кипѣнія страстей, а въ полномъ дѣйствіи ума, въ мирныхъ трудахъ его, въ тихихъ удовольствіяхъ жизни единообразной, успокоенной, хотѣлъ бы я сказать солнцу: остановися!“ (328—329; 331).

О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей. Рѣшается вопросъ, откуда взять учителей въ новыя училища? Карамзинъ думаетъ, что „Россія на первый случай можетъ единственно отъ нижнихъ классовъ гражданства ожидать ученыхъ, особенно педагоговъ“. На дворянъ надежда еще плоха. „Дворяне хотятъ чиновъ, купцы богатства чрезъ торговлю; они безъ сомнѣнія будутъ учиться, но только для выгодъ своего особеннаго состоянія, а не

для успѣховъ самой науки, не для того, чтобы хранить и передавать ея сокровища другимъ. Слава Богу! нигдѣ уже благородные не думаютъ, что пыльный генеалогическій свитокъ есть право быть невѣждою и занимать важнѣйшія мѣста въ государственномъ порядкѣ; но если и въ другихъ земляхъ Европы, гораздо опытнѣйшихъ и старѣйшихъ въ гражданскомъ образованіи, ученый дворянинъ есть нѣкоторая рѣдкость, то можемъ ли въ Россіи ждать благородныхъ на профессорскую кафедру? хотя—признаюсь—я душевно бы обрадовался первому феномену въ семь родѣ“ (III, 343—344).

**Что нужно автору?** Здѣсь выражается идеалъ писателя,—идеалъ этотъ вытекаетъ изъ нравственной философіи. Если Цицеронъ говорилъ: *Nemo orator, nisi vir bonus*, то Карамзинъ это требованіе прилагаетъ вообще ко всякому писателю. „Говорятъ, что автору нужны таланты и знанія: острый провицательный разумъ, живое воображеніе и проч. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословенія народовъ. Творецъ всегда изображается въ твореніи и часто противъ воли своей. Тщетно думаетъ лицемѣръ обмануть читателей и подъ златою одеждою пышныхъ словъ сокрыть желѣзное сердце; тщетно говоритъ намъ о милосердіи, состраданіи, добродѣтели! Всѣ восклицанія его холодны, безъ души, безъ жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется изъ его твореній въ нѣжную душу читателя“ (III, 370). Это требованіе совершенно, разумѣется, справедливо: конечною цѣлью всякой человѣческой дѣятельности должно быть нравственное усовершенствованіе человѣка.

**Моя исповѣдь.** Въ статьѣ „Моя исповѣдь“ Карамзинъ изображаетъ типъ (сатирическій) образованныхъ людей того времени, получившихъ иностранное воспитаніе и живущихъ на иностранный манеръ.

**Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?** „Не въ климатѣ, но въ обстоятельствахъ гражданской жизни Россіянъ надобно искать отвѣта на вопросъ: „для чего у насъ рѣдки хорошіе писатели?“... Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладѣть духомъ своего языка? Вольтеръ сказалъ справедливо, что въ шесть лѣтъ можно выучиться всѣмъ главнымъ языкамъ, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному“ (т. III, 527).

**О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи.** Здѣсь находится очень теплое воспоминаніе о Новиковѣ, который первый сталъ заботиться о печатаніи и распространеніи книгъ. Карамзинъ замѣчаетъ, что, по отзыву книгопродавцевъ, всего болѣе расхо-

дятся романы. При этомъ онъ защищаетъ чтеніе романовъ. „Напрасно, говоритъ онъ, думаютъ, что романы могутъ быть вредны для сердца: всѣ они обыкновенно представляютъ славу добродѣтели или правоучительное слѣдствіе. Правда, что нѣкоторые характеры въ нихъ бываютъ вмѣстѣ и приманчивы и порочны; но чѣмъ же они приманчивы? Нѣкоторыми добрыми свойствами, которыми авторъ закрасилъ ихъ черноту: слѣдственно добро и въ самомъ злѣ торжествуетъ. Нравственная природа наша такова, что не угодишь сердцу изображеніемъ дурныхъ людей и не сдѣлаешь ихъ никогда его любимцами. Какіе романы болѣе всѣхъ нравятся? обыкновенно чувствительные: слезы, проливаемые читателями, текутъ всегда отъ любви къ добру и питаютъ ее. Нѣтъ, нѣтъ! дурные люди и романовъ не читаютъ“ (III, 549—550).... „Теперь въ страшной модѣ Коцебу, и какъ нѣкогда парижскіе книгопродавцы требовали „Персидскихъ писемъ“ отъ всякаго сочинителя, такъ наши книгопродавцы требуютъ отъ переводчиковъ и самыхъ авторовъ Коцебу, одного Коцебу“ (стр. 548). „Прежде торгаши ѣзжали по деревнямъ съ лентами и перстнями; нынѣ ѣздятъ они съ ученымъ товаромъ, и хотя по большей части сами не умѣютъ читать, но, желая прельстить охотниковъ, рассказываютъ содержаніе романовъ и комедій, правда по своему и весьма забавно“ (стр. 547).

**Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени (1802 г.).** Въ этой статьѣ Карамзинъ прежде всего говоритъ о томъ, какую пользу принесла французская революція. „Революція объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти; что самое турецкое правленіе лучше анархіи, которая всегда бываетъ слѣдствіемъ государственныхъ потрясеній; что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать новыя законы нравственному и политическому міру, должны остаться въ книгахъ, вмѣстѣ съ другими, болѣе или менѣе любопытными произведеніями остроумія; что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не можетъ быть замѣнена никакою силою ума; что одно время и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенства гражданскихъ обществъ; и что съ сею довѣренностію къ дѣйствию времени и въ мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и дѣлать все возможное добро вокругъ себя. Французская революція, грозившая ниспровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ“ (III, 585—586).... „Прежде сей эпохи вся-



кая дерзкая книга была модною: нынѣ, напротивъ того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо передъ всякимъ жива картина бѣдствій, произведенныхъ во Франціи развратомъ“ (стр. 588). Упомянувъ о томъ, что Россія находится нынѣ въ хорошемъ состояніи, онъ говоритъ: „Но патріотизмъ не долженъ ослѣплять насъ; любовь къ отечеству есть дѣйствіе яснаго разсудка, а не слѣпая страсть; и жалѣя о тѣхъ людяхъ, которые смотрятъ на вещи только съ дурной стороны, не видятъ никогда хорошаго и вѣчно жалуются, мы не хотимъ увѣрять себя, что Россія находится уже на высочайшей степени блага и совершенства“ (стр. 591).... „Давно называютъ свѣтъ бурнымъ океаномъ: но счастливъ, кто плыветъ съ компасомъ! а это дѣло воспитанія. Родители, оставляя въ наслѣдство дѣтямъ имѣніе, должны присоединить къ нему и наслѣдство своихъ опытовъ, лучшихъ идей и правилъ для счастья. Хорошо, если отецъ можетъ поручить сына мудрому наставнику; еще лучше, когда онъ самъ бываетъ его наставникомъ: ибо натура даетъ отцу такіа права на юное сердце, какихъ никто другой не имѣетъ“ (стр. 593—594).

Рѣчь въ Россійской Академіи 5 Декабря 1818 г., по выборѣ Карамзина въ члены. .... „Успѣхи наукъ свидѣтельствуютъ вообще о превосходствѣ разума человѣческаго, успѣхи же языка и словесности свидѣтельствуютъ о превосходствѣ народа, являя степень его образованія, умъ и чувствительность къ изящному“ (III, 642). Указавъ заслуги Россійской Академіи по изданію Словаря, Карамзинъ одною изъ задачъ ея ставитъ—„посвятить часть досуговъ своихъ критическому обзорѣнію Россійской Словесности“ и выясняетъ далѣе, какими свойствами должна отличаться критика.

Сообразно съ своимъ добрымъ характеромъ Карамзинъ требовалъ критики снисходительной, совѣтовалъ слѣдовать „правилу, внушаемому намъ и любовію къ добру и самою любовію къ изящному: *болѣе хвалитъ достойное хвалы, нежели осуждаетъ, что осудить можно*. Иногда чувствительность бываетъ безъ дарованія, но дарованіе не бываетъ безъ чувствительности: должно падить ее. Употребимъ сравненіе не новое, но выразительное: чтѣ дыханіе хлада для цвѣтущихъ растений, то излишне строгая критика для юныхъ способностей души: мертвитъ, уничтожаетъ“ (III, 645).

Разсуждая далѣе о подражаніи русскихъ писателей иностраннымъ, Карамзинъ доказываетъ, что это подражаніе сдѣлалось неизбѣжнымъ послѣ реформы Петра, который сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ, и—не находитъ это подражаніе дурнымъ, потому что, если производится въ мѣру и благоразумно, оно не уничтожаетъ народности, которая и въ обще-европейскомъ можетъ и даже должна обнаружиться неизбѣжно. „Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ Россіянъ прервалась на вѣки (т. е. послѣ

реформы). Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ: ибо живемъ, какъ они живутъ; читаемъ, что они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты особенныя, составляющія характеръ словесности народной, уступаютъ красотамъ общимъ: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для Россіянъ: еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка. Тамъ нѣтъ *бездушнаго подражанія*, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и *общимъ* языкомъ времени; тамъ есть *особенность личная* или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входить въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное знаменіе. Съ другой стороны, Великій Петръ, измѣнивъ многое, не измѣнилъ всего кореннаго русскаго: для того ли, что не хотѣлъ, или для того, что не могъ: ибо и власть самодержцевъ имѣетъ предѣлы.—Сходствуя съ другими европейскими народами, мы и разнствуемъ съ ними въ нѣкоторыхъ способностяхъ, обычаяхъ, навыкахъ, такъ, что хотя и не можно иногда отличить руссіанина отъ британца, но всегда отличимъ руссіанъ отъ британцевъ: *во множествѣ* открывається *народное*. Сію истину отнесемъ и къ словесности: будучи зеркаломъ ума и чувства народнаго, она также должна имѣть въ себѣ нѣчто особенное, незамѣтное въ одномъ авторѣ, но явное во многихъ. Имѣя вкусъ французовъ, имѣемъ и свой собственный: хвалимъ, чего они не хвалятъ; молчимъ, гдѣ они восхищаются. Есть звуки сердца русскаго, есть игра ума русскаго въ произведеніяхъ нашей словесности, которая еще болѣе отличится ими въ своихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ. Молодые писатели не рѣдко подражаютъ у насъ иноземнымъ, ибо думаютъ, ложно или справедливо, что мы еще не имѣемъ великихъ образцевъ искусства: если бы сіи писатели не знали творцевъ чужеземныхъ, что бы сдѣлали? подражали бы своимъ; но и тогда списки ихъ остались бы бездушными. А кто рожденъ съ избыткомъ внутреннихъ силъ, тотъ и нынѣ, начавъ подражаніемъ, свойственнымъ юной слабости, будетъ наконецъ самъ собою—оставить путеводителей, и свободный духъ его, какъ орелъ дерзновенный, уединенно воспаритъ въ горнихъ пространствахъ". (III, 649—651).

**Стихотворенія Карамзина.** Стихотворенія Карамзина ничѣмъ особеннымъ не отличаются. Они содержатъ мысли, взгляды и сужденія умнаго человѣка, изложенныя въ легкихъ и стройныхъ стихахъ. Въ нихъ, какъ въ прозаическихъ сочиненіяхъ, развивается то же успокоивающее, примиряющее воззрѣніе, какъ выраженіе

души кроткой и нѣжной, чуждающейся всего рѣзкаго и желающей  
всѣмъ счастья. Въ торжественныхъ одахъ, написанныхъ импера-  
тору Александру, при восшествіи на престолъ, при коронаціи, и  
на освобожденіе Европы отъ Наполеона, нѣтъ тѣхъ военныхъ эли-  
зовъ храбрости, геройства, грома побѣдъ, какіе раздавались въ  
одахъ прежнихъ поэтовъ, а кроткій призывъ къ просвѣщенію, къ  
наукѣ, къ внутренней тишинѣ и благоустройству. Въ императорѣ  
Александрѣ онъ желалъ видѣть „генія покоя, героя дѣлъ мирныхъ,  
правоты святой“.

Монархъ! довольно лавровъ славы,  
Довольно ужасовъ войны!  
Бразды російскія державы  
Тебѣ для счастья вручены.  
Ты будешь геніемъ покоя;  
Въ Тебѣ увидимъ мы героя  
Дѣлъ мирныхъ, правоты святой.  
Возьми—не мечъ—вѣсы Фемиды,  
И бѣдный, не страшась обиды,  
Найдетъ безъ злата вѣкъ златой. (Соч. I, 201)

Идеаль его—установившійся порядокъ и защита тишины и  
спокойствія.

Въ правленіяхъ новое опасно,  
А безначаліе ужасно.  
Какъ трудно общество создать!  
Оно устроилось вѣками:  
Гораздо легче разрушать  
Безумцу съ дерзкими руками.  
Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:  
Въ семь мірѣ совершенства нѣтъ. (Соч. I, 253)

Стихотворенія Карамзина, по замѣчанію Грота, представля-  
ютъ намъ въ особенности историческій и біографическій интересъ,  
какъ лѣтопись сердечной жизни глубоко искренняго человѣка. . .  
Всякій разъ, когда онъ выражалъ любимыя свои мысли, стихи его  
принимаютъ отпечатокъ одушевленія. . . Обыкновенная тема поэзіи  
Карамзина—любовь въ природѣ, въ сельской жизни, дружба, кро-  
тость, чувствительность, меланхолія, пренебреженіе къ чинамъ и  
богатствамъ, мечта о безсмертіи въ потомствѣ. Нѣкоторыя стихо-  
творенія, между прочимъ пѣсни въ формѣ романа, особенно нра-  
вились современникамъ, каковы: „Законы осуждаютъ предметъ  
моей любви; но кто, о сердце, можетъ противиться тебѣ“—изъ  
повѣсти: „Островъ Борнгольмъ“; „Райса. Древняя баллада“ („Во  
тѣмъ ночной ярилась буря; сверкаль на небѣ грозный лучъ“);  
„Веселый часъ“ („Братъ, рюмки наливайте! лейся черезъ край  
вино“); „Прости“ („Кто могъ любить такъ страстно, какъ я лю-  
билъ тебя“). Они переложены были на ноты и распѣвались по-

всюду; они вошли въ пѣсенники и сохранились до позднѣйшаго времени. Нѣкоторыя мысли, хотя довольно обыкновенныя, но выраженные легкими стихами, долго были ходячими пословицами въ обществѣ, какъ напр.:

Ничто не ново подъ луною:  
Что есть, то было, будетъ вѣкъ.  
И прежде кровь лилась рѣкою,  
И прежде плакалъ человѣкъ,  
И прежде былъ онъ жертвой рока,  
Надежды, слабости, порока. (1, 4)

**Исторія Государства Россійскаго.** Капитальную заслугу Карамзина предъ русской наукой и литературой составляетъ то, что онъ написалъ „Исторію Государства Россійскаго“. Исторія эта доведена Карамзинымъ до 1611 г. и состоитъ изъ 12-ти томовъ. Карамзинъ смотрѣлъ на исторію такъ же, какъ смотрѣли въ эпоху Ломоносова и самъ Ломоносовъ — съ патріотической точки зрѣнія, какъ на собраніе примѣровъ для прославленія предковъ и для назиданія потомковъ, когда образцами для историковъ служили еще классическіе историки, Геродотъ и Титъ Ливій.

Въ предисловіи къ исторіи (въ 1815 г.) онъ говоритъ: „Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная книга народовъ, главная и необходимая; зеркало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль откровеній и правилъ; завѣтъ предковъ къ потомству; дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго. Правители, законодатели дѣйствуютъ по указаніямъ исторіи и смотрятъ на ея листы, какъ мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человѣческая имѣетъ нужду въ опытахъ, а жизнь кратковременна. Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ и согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье. Но и простой гражданинъ долженъ читать исторію. Она миритъ его съ несовершенствомъ видимаго порядка, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ; утѣшаетъ въ государственныхъ бѣдствіяхъ, свидѣтельствуя, что и прежде бывали подобныя, бывали еще ужаснѣйшія, и государство не разрушалось; она питаетъ нравственное чувство и праведнымъ судомъ своимъ располагаетъ душу къ справедливости, которая утверждаетъ наше благо и согласіе общества... Если всякая исторія, даже и неискусно писанная, бываетъ пріятна, какъ говоритъ Плиній: тѣмъ болѣе отечественная. Истинный восмополить есть существо метафизическое, или столь необыкновенное явленіе, что нѣтъ нужды говорить о немъ, ни хвалить,

ни охуждать его. Мы все граждане—въ Европѣ и въ Индіи, въ Мексикѣ и Абиссиніи; личность каждаго тѣсно связана съ отечествомъ: любимъ его, ибо любимъ себя. Пусть Греки, Римляне плѣняютъ воображеніе: они принадлежатъ къ семейству рода человѣческаго и намъ не чужіе по своимъ добродѣтелямъ и слабостямъ, славѣ и бѣдствіямъ; но имя русское имѣетъ для насъ особенную прелесть; сердце мое еще сильнѣе бьется за Пожарскаго, нежели за Фемистокла и Сципіона. Всемирная исторія великими воспоминаніями украшаетъ міръ для ума, а руссiйская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и чувствуемъ. Сколь привлекательны берега Волхова, Днѣпра, Дона, когда мы знаемъ, что въ глубокой древности на нихъ происходило! Не только Новгородъ, Кіевъ, Владиміръ, но и хижины Ельца, Козельска, Галича дѣлаются любопытными памятниками, и нѣмые предметы краснорѣчивыми. Тѣни минувшихъ столѣтій вездѣ рисуютъ картины предъ нами“. Представляя свою Исторію императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ въ 1816 г., онъ характеръ и направленіе ея выразилъ въ слѣдующихъ словахъ: „Я писалъ съ любовью къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности“. Дѣйствительно, нравственный идеалъ господствуетъ во всей исторіи. Съ точки зрѣнія этого идеала оцѣниваются все историческіе дѣятели. Описывая дѣянія древне-русскихъ князей и царей, Карамзинъ преимущественно изображаетъ добродѣтельные подвиги. Онъ одобряетъ ту политику, которая согласна съ естественною справедливостію. Это особенно выражено при оцѣнѣ дѣятельности Іоанна Калиты. Прославляя его за утвержденіе великокняжеской власти, Карамзинъ не прощаетъ ему убіенія Александра Тверскаго, потому что „правила нравственности выше всехъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики“. По поводу замысла Казимира убить Іоанна III, онъ говоритъ: „никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами“. Поэтому онъ особенно строгому суду подвергаетъ Іоанна Грознаго, Бориса Годунова, Лжедимитрія, Басманова, Шуйскаго. „Превосходя всехъ вельможъ дарованіями, Борисъ не имѣлъ только... добродѣтели; видѣлъ въ ней не цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодно,—и проклятіе вѣковъ заглушаетъ въ исторіи его добрую славу“. Карамзинъ назвалъ свою исторію „Исторіей Государства Россійскаго“. Онъ изображаетъ въ ней, какъ образовалось государство руссiйское, какъ устанавливался въ немъ государственный порядокъ. Государственный порядокъ невозможенъ безъ самодержавія, которое даетъ государству единство,

1816

могущество, независимость; поэтому исторія преимущественно слѣдить за возникновеніемъ, развитіемъ и утвержденіемъ самодержавія; поэтому тѣ эпохи, лица и событія, которыя способствовали торжеству этого начала, изображаются съ особенною подробностью. Эпоху Іоанна III онъ считаетъ эпохою высшаго развитія самодержавія, а въ лицѣ самого Іоанна III онъ видитъ идеаль самодержавнаго монарха.

Въ связи съ Исторіей Карамзина стоитъ его „Записка о древней и новой Россіи“, въ которой онъ высказалъ свой взглядъ на современное ему состояніе Россіи и представилъ свои сужденія о государственныхъ реформахъ въ царствованіе императора Александра. Записка эта служитъ дополненіемъ и поясненіемъ Исторіи Государства Россійскаго. — При всѣхъ реформахъ у Карамзина на первомъ планѣ стоитъ уваженіе къ прошедшему и настоящему Россіи; для него дороги историческія основы народнаго быта; поэтому онъ хочетъ примиренія стараго съ новымъ, а не разрушенія перваго вторымъ. Для государства полезно удовлетворять только исторически возникшимъ потребностямъ государственной жизни, но положительно вредно вводить реформы, несогласныя съ коренными ея основами. Карамзинъ является консерваторомъ въ полномъ значеніи этого слова. Консервативная точка зрѣнія заставила его измѣнить свой прежній космополитическій взглядъ на реформу Петра, высказанный имъ въ „Письмахъ Русскаго Путешественника“. Онъ порицаетъ Петра за неумѣренную страсть подражать европейскимъ народамъ въ ущербъ народному духу: „Духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время самозванцевъ. Онъ есть не что иное, какъ уваженіе къ своему народному достоинству. Любовь къ отечеству питается народными особенностями, безгрѣшными въ глазахъ космополита, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго. Государство можетъ заимствовать отъ другаго разныя полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сіи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе... Съ приобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ, мы утратили гражданскія. Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи.“ — Въ новой исторіи образцемъ государственной мудрости Карамзинъ признаетъ царствованіе Екатерины II. „Едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшимъ для гражданина Россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время“. Съ той же консервативной точки зрѣнія Карамзинъ смотрѣлъ и на современную ему законодательную дѣятельность Сперанскаго. Онъ осуждаетъ реформы Сперанскаго за ихъ по-

спѣшность, за излишнее уваженіе формъ государственной жизни, въ ущербъ ея содержанію. Эти реформы созидались не на исторической почвѣ, вызывались не дѣйствительными потребностями страны, а возникли изъ подражанія Европѣ. Онѣ не были прямыми, необходимыми результатами изученія Россіи, а возникли изъ теоретическихъ кабинетныхъ размышленій. Реформы Сперанскаго безцеремонно обращались съ тѣмъ, что выработалось цѣлыми вѣками народной жизни; исправляя старое дурное, онѣ не рѣдко захватывали и хорошее. Хорошее гражданское устройство, по мнѣнію Карамзина, зависитъ не отъ учреждений, не отъ формы правленія, но отъ хорошихъ правителей, умныхъ, честныхъ и самоотверженныхъ дѣятелей. Это совершенно справедливо, что самыя хорошія учрежденія не принесутъ пользы, если не будетъ хорошихъ дѣятелей, но такъ же справедливо и то, что хорошихъ дѣятелей могутъ создать только хорошія свободныя учрежденія и могутъ дать имъ возможность безпрепятственно исполнять законъ и достигать предустановленныхъ цѣлей.

Критика находила въ исторіи Карамзина разные недостатки: взглядъ на событія у Карамзина не всегда соответствуетъ тому времени, въ которое совершались событія; о прошедшихъ событіяхъ и лицахъ онъ судитъ иногда по понятіямъ своего времени; въ исторіи нѣтъ строгаго характеристическаго разграниченія между разными эпохами: древній бытъ и лица древнихъ временъ не отличены ясными, опредѣленными чертами отъ быта позднѣйшаго и лицъ, жившихъ во времена, болѣе близкія къ намъ; наконецъ Карамзинъ въ своей исторіи обращаетъ больше вниманія на внѣшнія событія (на сношенія Россіи съ другими государствами, на войны и договоры), чѣмъ на внутреннія (на состояніе просвѣщенія и литературы, на нравственный бытъ и семейную жизнь). Но тогда еще всѣ такъ писали исторію; государство и государственная жизнь стояли на первомъ планѣ; исторія народа съ его умственными и нравственными интересами явилась послѣ. Древнерусская жизнь вообще развивалась очень медленно, — была однообразна и дѣйствительно мало представляла различія въ разные эпохи историческія. Вообще, чтобы правильно оцѣнить Карамзина, надобно судить его, какъ и всякаго писателя, по тому времени, когда онъ писалъ, и по тѣмъ средствамъ, какія были у него подъ руками. Русская исторія до Карамзина находилась еще въ зачаточномъ состояніи: древнія лѣтописи не только не были объяснены, но даже не были изданы ученымъ образомъ; многіе важные документы историческіе лежали по монастырямъ и архивамъ; Карамзинъ критически разсмотрѣлъ всѣ извѣстные до него документы; самъ собралъ множество новыхъ историческихъ матеріаловъ, перечиталъ и сравнилъ ихъ съ другими. Каждая глава его Исто-

ри содержитъ въ себѣ множество обширныхъ ученыхъ примѣчаній, которыя долго будутъ составлять самый важный источникъ для всякаго рода историческихъ изслѣдованій. Кромѣ того, Карамзинъ умѣлъ живописно и занимательно изображать историческія лица и событія, и языкомъ, образцовымъ по тому времени. „Литература всѣхъ народовъ, говоритъ Гротъ, едва ли представляетъ много примѣровъ труда, который, въ данныхъ условіяхъ, былъ бы совершенъ съ такою настойчивостью и съ такимъ успѣхомъ. Пусть его исторія представляетъ свои слабыя стороны; пусть онъ въ пониманіи своей задачи не достигъ еще той высоты, на которую стала наука въ наше время; можетъ быть, не вполне обнималъ связь событій, не довольно глубоко проникалъ въ смыслъ явленій. Не забудемъ, что въ исторической наукѣ западной Европы тогда еще господствовали тѣ же взгляды, которыми онъ руководствовался. Обратимъ вниманіе на изумительную основательность и добросовѣстность его изслѣдованій, на безконечную массу имъ собранныхъ и имъ-же въ первый разъ разработанныхъ рукописныхъ матеріаловъ, на прекрасные приемы его во всѣхъ подробностяхъ труда, наконецъ на достоинство его исторической критики, хотя еще и не совершенной, однакожъ замѣчательно здоровой и многообъемлющей. Вѣрность и точность сообщаемыхъ имъ фактовъ, богатство, полнота и система его примѣчаній, художественное воплощеніе сухихъ лѣтописныхъ сказаній въ образы, по большей части вѣрные дѣйствительности, всегда яркіе и полные жизненной теплоты, наконецъ, наглядность его и во внутреннемъ порядкѣ,—все это ставитъ исторію Карамзина на такую высоту, съ которой не свести ея никакіе послѣдующіе труды, и дѣлаетъ ее навсегда необходимымъ пособіемъ всѣхъ русскихъ ученыхъ и писателей“<sup>1)</sup>).

**Реформа Карамзина въ области языка и слога.** Карамзинъ далъ въ своихъ сочиненіяхъ образцы новаго литературнаго языка. „Вознамѣрясь выйти на сцену, говорилъ онъ Каменеву, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ сочинителей, который бы былъ достоинъ подражанія, и отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ я замѣтить штиль его дикій, варварскій, вовсе не свойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ: сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ

---

<sup>1)</sup> Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина, составленный академикомъ Я. К. Гротомъ къ торжественному собранію Академіи Наукъ 1-го декабря 1866 г. Сборн. 2 отд. Акад. Наукъ, томъ I.



и карьеру сего положение выработанные обра-  
ботанные высочайше. 2) Простоты и ясности  
и совершенности все писанные и общи-  
полезные.

кого не заимствованнымъ слогомъ. И это совѣтую всѣмъ подра-  
жающимъ мнѣ сочинителямъ, чтобы не всегда и не вездѣ дер-  
жаться оборотовъ моихъ, но выражать свои мысли такъ, какъ имъ  
кажется живѣе. Это, впрочемъ, не значить того, чтобы Карамзинъ,  
какъ говорили прежде, „сблизилъ русскій языкъ съ тѣми европей-  
скими языками, которые въ своей конструкціи слѣдуютъ простому  
и естественному порядку“, чтобы онъ въ строеніи своей рѣчи при-  
мѣнялся къ французскому и англійскому синтаксису; замѣчая, что  
въ другихъ литературахъ мало разницы между языкомъ книжнымъ  
и разговорнымъ образованнаго общества, онъ попалъ на справед-  
ливую мысль сблизить русскій письменный языкъ съ русскимъ раз-  
говорнымъ, не столь удалившимся отъ народнаго, какъ первый.  
Воспитанный на произведеніяхъ французской и англійской литера-  
туры, онъ на первыхъ порахъ, разумѣется, подражалъ ея образцо-  
вымъ писателямъ; признавалъ необходимость прибѣгать или къ заим-  
ствованію готовыхъ иностранныхъ словъ, или къ образованію со-  
отвѣтствующихъ русскихъ, особенно когда русскій языкъ не пред-  
ставлялъ достаточныхъ средствъ для выраженія новыхъ идей. Это мы  
особенно замѣчаемъ въ его раннихъ произведеніяхъ. Въ первыхъ  
также произведеніяхъ мы встрѣчаемъ его нерасположеніе къ славян-  
скому языку, но когда онъ началъ заниматься русской исторіей, то  
чтеніе лѣтописей и другихъ памятниковъ древней славянской литера-  
туры помирило его съ славянскимъ языкомъ, и онъ въ приличныхъ  
мѣстахъ сталъ употреблять церковно-славянскія выраженія. Но  
Карамзинъ имѣлъ вліяніе не на одинъ только языкъ, какъ на сло-  
весное выраженіе мысли, но и на слогъ. Правда, во время Карам-  
зина у насъ еще не отличали слога отъ языка писателя; этихъ  
двухъ понятій не раздѣляли ни онъ самъ, ни его противники; но  
тѣмъ не менѣе это различіе существовало. Слогъ есть выраженіе  
личности, характера писателя; слогъ Карамзина есть выраженіе  
склада и направленія его духовныхъ способностей: онъ былъ но-  
вымъ по симпатичности, нѣжности, сердечности, исходившимъ изъ  
природы Карамзина. „Можно прибавить, говоритъ Гротъ, что въ  
его слогѣ выразилась также потребность въ гармоніи, музыкаль-  
ности языка, потребность придать своей рѣчи тѣ мягкіе и нѣж-  
ные тоны, которые бы соотвѣтствовали самому настроенію его  
души. Это былъ опять новый элементъ рѣчи, котораго, по крайней  
мѣрѣ въ прозѣ, не было еще ни у кого изъ русскихъ писателей,  
и который пришелся такъ по вкусу тогдашняго русскаго обще-  
ства. Ломоносовъ и его преемники обращались преимущественно  
къ уму и воображенію; Карамзинъ заговорилъ языкомъ сердца,  
и ему понадобилось новаго рода сладкозвучіе“. Этотъ новый

языкъ и слогъ Карамзина не понравился писателямъ старой школы Ломоносовской, когда въ языкѣ преобладала славянская стихія, а въ слогѣ латино-нѣмецкій строй рѣчи. Въ 1803 г. <sup>1803</sup> вышло извѣстное „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка“ Шишкова, поднявшее цѣлую бурю въ тогдашнемъ литературномъ мірѣ и вмѣстѣ съ языкомъ и слогомъ затронувшее много другихъ вопросовъ о характерѣ нашего образованія и литературы. Это тотъ самый Шишковъ, который въ эпоху отечественной войны 12-го года явился такимъ горячимъ патріотомъ и защитникомъ русской народности и историческія заслуги котораго поэтъ отмѣтилъ такимъ прекраснымъ стихомъ:

Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа  
Священной памятью двѣнадцатаго года.

### А. С. ШИШКОВЪ.

Александръ Семеновичъ Шишковъ <sup>1)</sup> род. въ 1754 г. Онъ получилъ религіозное и патріотическое воспитаніе и вѣроятно еще въ дѣтствѣ познакомился съ церковными книгами, откуда и приобрѣлъ такую страстную любовь къ славянскому языку. Научное образованіе онъ получилъ въ Морскомъ корпусѣ, гдѣ директоромъ былъ его родственникъ Кутузовъ, хорошо знавшій нѣмецкій и французскій языкъ и любившій въ тоже время и русскую литературу. Шишковъ и самъ, вмѣстѣ съ спеціальнымъ морскимъ образованіемъ, вынесъ изъ корпуса любовь къ литературѣ. Съ 1771 г. началась его тяжелая морская служба, въ которой выработался его трудолюбивый, честный и твердый характеръ. Онъ былъ въ разныхъ экспедиціяхъ, въ разныхъ мѣстахъ. Въ бытность въ Италіи онъ выучился итальянскому языку и впослѣдствіи перевелъ поэму Тасса. Путешествуя по Греціи, онъ видѣлъ, какъ французы въ портѣ Мандра (близъ Аѳинъ) не оставили ни одной часовни, чтобы не обезобразить лицъ святыхъ и не начертать вездѣ насмѣшливыхъ и ругательныхъ надписей. Этотъ фактъ и вообще ужасы французской революціи возбудили въ немъ ненависть къ французамъ и французскому образованію. При императорѣ Павлѣ онъ сдѣланъ былъ вице-адмираломъ. Шишковъ рано началъ заниматься литературой; онъ не былъ поэтомъ, но у него была живая фантазія; онъ любилъ особенно религіозную и героическую поэзію; образцами ея были для него сочиненія Ломоносова, Сумарокова и

---

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій и переводовъ Шишкова въ 17 томахъ, изд. въ 1818—1839. Характеристика Шишкова въ Воспоминаніяхъ Аксакова, т. 2. Его жизнь и дѣятельность въ сочиненіи Стоюнина: А. С. Шишковъ. Спб. 1880.

1746  
Державина. По совѣту директора Академіи Наукъ, Домашнева, онъ перевелъ съ нѣмецкаго „Дѣтскую бібліотеку“ Кампе, состоявшую изъ поучительныхъ разсказовъ въ стихахъ и прозѣ и пользовавшуюся долго большою популярностію въ педагогическомъ мірѣ. Въ 1796 г. онъ былъ выбранъ въ члены Академіи Россійской, обязанностію которой было блюсти чистоту русскаго языка. Естественно, что Шишковъ съ самымъ горячимъ усердіемъ принялся за это дѣло. Въ средѣ молодыхъ писателей, думавшихъ подражать легкой рѣчи Карамзина, было много такихъ, которые мыслили по французски и уродовали русскій языкъ разными нелѣпыми галлицизмами. Это вызвало сильный протестъ Шишкова противъ новаго языка въ его „Разсужденіи о старомъ и новомъ слоgѣ руссійскаго языка“. Протестъ получилъ особенную силу потому, что Шишковъ съ вопросомъ о языкѣ связывалъ тѣсно вопросъ объ иностранномъ воспитаніи и образованіи. „Какое знаніе, говоритъ онъ, мы можемъ имѣть въ природномъ языкѣ своемъ, когда дѣти знатнѣйшихъ бояръ и дворянъ нашихъ отъ самыхъ юныхъ лгтъ своихъ находятся на рукахъ у французовъ, прилѣпляются къ ихъ правамъ, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получаютъ весь образъ мыслей ихъ и понятій, говорятъ языкомъ ихъ свободнѣе, нежели своимъ, и даже до того заражаются къ нимъ пристрастіемъ, что не тогмо не стыдятся не знать онаго, но еще многіе изъ нихъ самымъ постыднѣйшимъ изъ всѣхъ невѣжествомъ, какъ бы нѣкоторымъ украшающимъ достоинствомъ, хвастаются и величаются“. Черезъ министра народнаго просвѣщенія Шишковъ представилъ свою книгу императору Александру и получилъ отъ него одобреніе. Академія присудила ему за нее золотую академическую медаль. Это одобреніе еще болѣе усилило его дѣятельность. Съ 1805 г. начали выходить сочиненія и переводы, издаваемые Россійскою Академіею; здѣсь Шишковъ печаталъ свои оригинальныя и переводныя статьи, изъ коихъ наиболѣе замѣчательнъ „Разборъ прамѣчаній къ Слову о полку Игоревѣ“, незадолго предъ тѣмъ найденному и напечатанному графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ, и переводъ этого Слова. Въ 1807 г. онъ предложилъ дѣлать частныя собранія руссійской словесности, которыя потомъ въ 1810 г. превратились въ опредѣленное общество— „Бесѣду любителей русскаго слова“. Бесѣда издавала свои „Чтенія“. Для этой Бесѣды въ концѣ 1811 года Шишковъ написалъ „Разсужденіе о любви къ отечеству“, въ которомъ выразилось его горячее чувство патріотизма. Это „Разсужденіе“ было какъ нельзя болѣе благовременно. Наступала отечественная война. Прочитавъ разсужденіе, импер. Александръ увидѣлъ, что въ настоящее время нуженъ именно такой человекъ, т. е. такой пламенный патріотъ, умѣющій выражать свои мысли и чувства литературнымъ и тор-

810

жественнымъ языкомъ. Призвавъ къ себѣ Шишкова, онъ сказалъ: „Я читалъ ваше Разсужденіе о любви къ отечеству; имѣя такія чувства, вы можете быть полезны. Кажется, у насъ не обойдется безъ войны съ французами; нужно сдѣлать рекрутскій наборъ; я желалъ бы, чтобы вы написали о томъ манифестъ“. Съ этого манифеста началась общественная дѣятельность Шишкова, въ которой вполне отразился его характеръ. Основными чертами его характера были религіозность и патріотизмъ. Онъ былъ глубоко религіозенъ и въ дѣлѣ вѣры не допускалъ никакихъ разсужденій, а тѣмъ болѣе измѣненій, и свято исполнялъ всѣ обязанности церкви, какъ вполне вѣрный и послушный сынъ ея. Отсюда у него ненависть ко всѣмъ новымъ ученіямъ; отсюда преслѣдованіе мистиковъ, масоновъ и Библейскаго общества. Несомнѣнно также, что онъ искренно любилъ отечество; но его любовь была односторонняя; она вся обращена къ прежнему, къ прежнимъ правамъ и обычаямъ. Онъ заботился только о сохраненіи того, что было, но не допускалъ ничего новаго, не допускалъ никакого развитія: это было какое-то старообрядство. На служебномъ поприщѣ онъ былъ образцовый чиновникъ; но онъ не могъ быть государственнымъ человекомъ, потому что его идеалы были въ прошедшемъ. Онъ былъ вѣрный слуга царя и всякой власти, но въ тоже время не способенъ къ уступчивости во всемъ; что касалось его убѣжденій и чувствъ, которыя онъ считалъ для себя священными. Сдѣлавъ его статсъ-секретаремъ, государь взялъ его съ собою въ Вильно. Здѣсь онъ писалъ всѣ самые важные указы арміямъ и рескрипты главнокомандующему въ Петербургѣ Салтыкову по поводу вступленія непріятеля въ наши предѣлы; воззваніе и манифестъ о всеобщемъ ополченіи, отъ котораго восторжествовала и пришла въ движеніе вся Россія; нѣсколько манифестовъ и рескриптовъ, въ которыхъ заключались распоряженія государя по ополченіямъ; извѣстіе объ оставленіи Москвы, которое было написано необыкновенно сильно и все было проникнуто непоколебимою вѣрою въ силы русскаго народа; вѣсти изъ Москвы, гдѣ описываются подвиги варваровъ-французовъ, рескриптъ Кутузову объ оставленіи Москвы—составляютъ ту незабвенную историческую заслугу предъ Россіей, за которую поэтъ память его называлъ дорогою. Своими пламенными рѣчами онъ безъ оружія совершалъ подвиги; въ бѣдственную годину онъ воодушевлялъ всѣхъ, поддерживалъ унывающихъ и падающихъ духомъ. Самъ Александръ находилъ въ нихъ бодрость и мужество.

Съ удаленіемъ непріятеля изъ Россіи окончилась патріотическая дѣятельность Шишкова. Предъ отъѣздомъ своимъ въ Вѣну, на Вѣнскій конгрессъ, имп. Александръ назначилъ его членомъ Государственнаго Совѣта. Все вниманіе теперь онъ обратилъ на Россійскую Академію. Сдѣлавшись, по смерти Нартова, ея прези-

дентомъ, онъ выпросилъ для нея новый окладъ, чтобы поднять ея значеніе. Ему первому пришло на мысль привлечь ученыхъ дру-гихъ славянскихъ земель къ своему дѣлу, завязать съ ними связь чрезъ науку, изученіемъ славянскаго языка напомнить имъ объ общемъ родствѣ. Еще въ 1813 г.—проживъ нѣсколько недѣль въ Прагѣ, онъ познакомился съ чешскимъ языкомъ и аббатомъ Добровскимъ, который составлялъ тогда грамматику славянскаго языка. Въ 1817 г. въ рескриптѣ на имя графа Остермана, получившаго отъ Чеховъ въ даръ кубокъ, Шишковъ назвалъ ихъ соплеменнымъ намъ храбрымъ народомъ, и когда импер. Александръ вычеркнулъ это выраженіе, Шишковъ замѣтилъ ему на это: „мнѣ кажется, мы можемъ назвать ихъ соплеменниками, потому что они нашимъ нарѣчіемъ говорятъ“; на это Александръ отвѣчалъ: „подозрительные нѣмцы подумаютъ, что мы, сближаясь съ Богемцами, симъ родствомъ имѣемъ на нихъ какіе-нибудь виды“. Такимъ образомъ, когда наша политика еще не рѣшалась признать нашего родства съ другими славянами, Шишковъ первый протянулъ имъ руку. По его предложенію Академія выбрала въ почетные члены польскаго ученаго Линде, чешскихъ Нзиедли, Добровскаго, Ганку: чрезъ нихъ онъ завелъ сношенія съ Раковецкимъ, Милетичемъ, Юнгманомъ, Караджичемъ, самъ со всѣми переписывался, посылалъ имъ и въ бібліотеки Вѣнскую и Пражскую изданія Россійской Академіи, въ особенности же указывалъ имъ Академическія Извѣстія, гдѣ печаталось его корнесловіе. Въ свою очередь и славянскіе ученые присылали чрезъ Шишкова въ Россійскую Академію свои труды. У Шишкова была даже мысль открыть славянскія каѳедры при русскихъ университетахъ; но въ то время трудно было привести еѣ въ исполненіе по недостатку русскихъ ученыхъ. Только въ 1820 г. Востоковъ обратилъ вниманіе всѣхъ на славянскій языкъ своимъ разсужденіемъ о славянскомъ языкѣ<sup>1)</sup>. Въ 1824 г. Шишковъ сдѣланъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія и занималъ эту должность до 1827 г. Въ эти годы его дѣятельность получила суровый и можно сказать фанатическій характеръ; она выразилась въ составленіи чрезвычайно строгихъ правилъ о цензурѣ; въ преслѣдованіи Библейскаго общества, доходившемъ до того, что подвергнуть былъ запрещенію Катихизисъ митрополита Филарета за то, что слова текста священнаго Писанія были приведены по русски, а не по славянски, и въ другихъ крутыхъ мѣрахъ, которыя и дали министерству просвѣщенія названіе министерства затемненія. Оставивъ постъ министра, Шишковъ жилъ частнымъ человекомъ, занимаясь своимъ корнесловіемъ. Прекрасную характери-

---

<sup>1)</sup> В. Стожнинъ: Ал. С. Шишковъ, стр. 257—260. Разс. Востокова напечатано въ 17-й части «Трудовъ Общ. Любителей Росс. Словесности при И. Московскомъ У-тѣ.

стику Шишкова, какъ частнаго человѣка въ домашнемъ его быту, сдѣлалъ С. Т. Аксаковъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“. Тутъ узналъ я, рассказываетъ онъ о своемъ первомъ знакомствѣ съ Шишковымъ, что этотъ разумный и многоученый мужъ, ревнитель цѣлости языка и русской самобытности, твердый и смѣлый обличитель торжествующей новизны и почитатель благочестивой старины, этотъ открытый врагъ слѣпаго подражанія иностранному—былъ совершенное дитя въ житейскомъ быту; жилъ самымъ невзыскательнымъ гостемъ въ собственномъ домѣ, предоставляя все управленію жены и не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что вокругъ него происходило; что онъ зналъ только ученый совѣтъ въ адмиралтействѣ да свой кабинетъ, въ которомъ коптѣлъ надъ словарями разныхъ славянскихъ нарѣчій, надъ старинными рукописями и церковными книгами, занимаясь корнесловіемъ и сравнительнымъ словопроизводствомъ; что, не имѣя дѣтей и взявъ на воспитаніе двухъ родныхъ племянниковъ, отдалъ ихъ въ полное распоряженіе Дарьи Алексѣевнѣ (его жена), которая, считая всѣ убѣжденія супруга патриотическими бреднями, наняла къ мальчишкамъ француза-гувернера и помѣстила его возлѣ самага кабинета своего мужа; что родные его жены (Хвостовы), часто у ней гостившіе, сама Дарья Алексѣевна и племянники говорили при дядѣ всегда по французски. Я разинулъ ротъ отъ удивленія! Такое несходство слова съ дѣломъ!.. Признаюсь, смущало меня и то, что у православнаго Шишкова—жена лютеранка“. „Вообще Александръ Семеновичъ и его достопочтенная супруга, говорятъ онъ въ другомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній, служили предметомъ насмѣшекъ для всѣхъ зубоскаловъ, которые потѣшали публику нелѣпными о нихъ разсказами. Исключительный образъ мыслей Шишкова, его рѣзкія и грубыя выходки противъ настоящей жизни общества, а главное противъ французскаго направленія, очень не нравились большинству высшей публики, и всякій, кто осмѣивалъ этого старовѣра и славянофила, имѣлъ вѣрный успѣхъ въ модномъ свѣтѣ. Впрочемъ, надобно признаться, что Шишковъ былъ находка, кладъ для насмѣшниковъ: его крайняя разсѣянность, невѣроятная забывчивость и неузнаваніе людей самыхъ короткихъ, несмотря на хорошее зрѣніе, его постоянное устремленіе мысли на любимые свои предметы служили неизсякаемымъ источникомъ для разныхъ анекдотовъ истинныхъ и выдуманныхъ. Разсказывали, будто онъ на серьезный вопросъ одного государственнаго сановника отвѣчалъ текстомъ изъ Свящ. Писанія и цитатами изъ старинной рукописи, которая тогда его исключительно занимала; будто онъ не узнавалъ своей жены и говорилъ съ ней иногда, какъ съ посторонней женщиной, а чужихъ женъ принималъ за свою Дарью Алексѣевну. Я не считаю, впрочемъ, этого невозможнымъ“. Въ 1829 г. онъ женился во вто-

рой разъ. Новая жена его была полька. „Заклятый врагъ католиковъ и поляковъ, онъ былъ окруженъ ими. Новая супруга наводила его домъ людьми совсѣмъ другаго рода, чѣмъ прежде, и я не могъ равнодушно видѣть достопочтеннаго Шишкова посреди разныхъ усачей самонадѣянныхъ и заносчивыхъ, болтавшихъ всякій вздоръ и обращававшихся съ нимъ слишкомъ запросто“. „Много несправедливаго, невѣрнаго, смѣшнаго и нелѣпаго говорило объ этомъ человѣкѣ злоязычіе человѣческое. Но откинувъ въ сторону всѣ разсужденія о недостаткахъ и слабостяхъ почившаго собрата, нельзя не сознаться, что проходя обширное многозначительное поприще службы въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ государства, начавъ съ морскаго кадетскаго корпуса, дойдя до высокаго мѣста государственнаго секретаря, съ котораго онъ двигалъ духомъ Россіи писанными имъ манифестами въ 1812 г., Шишковъ имѣлъ одну цѣль: общую пользу. Убѣжденія Шишкова были часто ошибочны, но всегда честны. Онъ не выходилъ изъ круга умственныхъ понятій своего времени, круга перѣдко тѣснаго и ограничennaго, но не измѣнялъ своимъ правиламъ никогда.... На литературномъ поприщѣ, которое предшествовало государственному, Шишковъ дѣйствовалъ точно также. Онъ возсталъ противъ побѣдоноснаго могущества новизны и таланта, всѣхъ плѣниваго, всѣхъ увлекшаго за собою, возсталъ потому, что считалъ это увлеченіе вреднымъ.... но онъ сдѣлалъ свое дѣло.... Онъ открылъ глаза Карамзину на вредныя послѣдствія его нововведеній въ русское слово. Самъ благородный и добрый Карамзинъ говорилъ мнѣ (въ 1816 г.), что „у Александра Семеновича много гнѣва, много желчи, много личной къ нему враждебности, а потому много и несправедливости, но есть много и правды“. Въ дѣлѣ суда и осужденія общественной нравственности, связанномъ неразрывно у Шишкова съ дѣломъ литературы, онъ былъ еще справедливѣе и заслуживаетъ еще болѣе уваженія, хотя мало имѣлъ вліянія и оказалъ, можетъ быть, менѣе пользы. Собственно же за русское направленіе, за славянофильство, какъ бы Шишковъ ни понималъ его криво, которое онъ исповѣдывалъ и проповѣдывалъ, съ юныхъ лѣтъ до гробовой доски, котораго былъ мученикомъ, онъ имѣетъ полное право на безусловную, сердечную нашу благодарность“.

**Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка.**  
Подъ старымъ слогомъ Шишковъ разумѣлъ слогъ Ломоносова, Сумарокова, Державина и другихъ современныхъ писателей. Первымъ и самымъ важнымъ недостаткомъ новаго слога онъ считалъ исключеніе изъ него церковно-славянскихъ словъ и оборотовъ. Въ самомъ началѣ разсужденія онъ жалуется, что въ большей части нынѣшнихъ книгъ господствуетъ странный слогъ и главную при-

чину этого видитъ въ пренебреженіи къ церковно - славянскому языку, который онъ считалъ корнемъ и началомъ русскаго языка. „Всякъ, кто любитъ російскую словесность, и хотя нѣсколько упражняется въ ней, не будучи зараженъ неизлѣпимою и лишающею всякаго разсудка страстію къ французскому языку, тотъ, развернувъ большую часть нынѣшнихъ нашихъ книгъ, съ сожалѣніемъ увидитъ, какой странный и чуждый понятію и слуху нашему слогъ господствуетъ въ оныхъ. Древній славенскій языкъ, повелитель многихъ народовъ, есть корень и начало російскаго языка, который самъ собою всегда изобилентъ былъ и богатъ, но еще болѣе процвѣлъ и обогатился красотами, заимствованными отъ сроднаго ему еллинскаго языка, на коемъ витѣствовали гремшіе Гомеры, Пиндары, Демосеены, а потомъ Златоусты, Дамаскины и многіе другіе христіанскіе проповѣдники. Кто бы подумалъ, что мы, оставя сіе многими вѣками утвержденное основаніе языка своего, начали вновь созидать оный на скудномъ основаніи французскаго языка“. „Ломоносовъ, разсуждая о пользѣ книгъ церковныхъ, говоритъ: „такимъ старательнымъ и осторожнымъ употребленіемъ сроднаго намъ кореннаго славенскаго языка, купно съ Російскимъ, отвратятся дикія и странныя слова нелѣпости, входящія къ намъ изъ чужихъ языковъ, заимствующихъ себѣ красоту отъ греческаго и то еще чрезъ латинскій“. Отыскивая причину этого, Шишковъ находитъ ее въ нашемъ воспитаніи и образованіи: „ибо какое знаніе можемъ мы имѣть въ природномъ языкѣ своемъ, когда дѣти знатнѣйшихъ бояръ и дворянъ нашихъ отъ самыхъ юныхъ ногтей своихъ находятся на рукахъ у французовъ, прилѣпляются къ ихъ нравамъ, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получаютъ весь образъ мыслей ихъ и понятій, говорятъ языкомъ ихъ свободнѣе, нежели своимъ и даже до того заражаются къ нимъ пристрастіемъ, что не токмо въ языкѣ своемъ никогда не упражняются, не токмо не стыдятся незнать оного, но еще многіе изъ нихъ симъ постыднѣйшимъ изъ всѣхъ невѣжествомъ, какъ бы нѣкоторымъ украшающимъ ихъ достоинствомъ, хвастаютъ и величаются. Будучи таковымъ образомъ воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тѣмъ всенароднымъ языкомъ, которой въ общихъ разговорахъ употребителенъ; но какимъ образомъ могутъ они почерпнуть искусство и свѣдѣніе въ книжномъ или ученомъ языкѣ, толь далеко отстоящемъ отъ сего простаго мыслей своихъ сообщенія? Для познанія богатства, изобилія, силы и красоты языка своего, нужно читать изданныя на ономъ книги, а наипаче превосходными писателями сочиненныя“ <sup>(1)</sup>. „Волтеры, Жанъ-

<sup>1)</sup> Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ російскаго языка. Спб. 1803. стр. 11—2; 5—6.



Жаки, Корнелии, Расины, Молиеры не научат насъ писать по Русски. Выуча всѣхъ ихъ наизусть, и не прочитавъ ни одной своей книги, мы въ краснорѣчіи на русскомъ языкѣ должны будемъ уступить сочинителю Бовы Королевича. Весьма хорошо слѣдовать по стопамъ великихъ писателей, но надлежитъ силу и духъ ихъ выражать своимъ языкомъ, а не гоняться за ихъ словами, кои у насъ совсѣмъ не имѣютъ той силы“ (стр. 8—9). „Французы прилежаніемъ и трудолюбіемъ своимъ умѣли бѣдный языкъ свой обработать, вычистить, обогатить и писаніями своими прославиться на ономъ; а мы богатый языкъ свой, не рача и не помышляя о немъ, начинаемъ превращать въ скудный. Надлежало бы взять ихъ за образецъ въ томъ, чтобъ подобно имъ трудиться въ созиданіи собственнаго своего краснорѣчія и словесности, а не въ томъ, чтобъ найденныя ими въ ихъ языкѣ, ни мало намъ не сродныя, красоты перетаскивать въ свой языкъ..... Сумароковъ весьма справедливо разсуждаетъ о семъ:

Имѣть въ слогѣ всякъ различіе народѣ:  
 Что очень хорошо на языкѣ французскомъ,  
 То можетъ въ точности быть скaredно на Русскомъ.  
 Не мнѣ, перевода, что складъ въ творцѣ готовъ;  
 Творецъ даруетъ мысль, но не даруетъ словъ.  
 Въ сопряженіе его рѣчей ты не вдавайся,  
 И свойственно себѣ словами украшайся. (стр. 11—12).

Вторымъ недостаткомъ новаго слога Шишковъ считаетъ употребленіе французскихъ словъ и оборотовъ, какъ то: моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, меланхолія, миеологія, рецензія, героизмъ, выходить на сцену. При этомъ онъ не одобряетъ знакомства Карамзина съ Боннетомъ, Вольтеромъ, Юнгомъ, Томсономъ, Оссіаномъ, Стерномъ, Лафатеромъ, Кантомъ и другими писателями, о которыхъ онъ будто бы твердитъ на каждой страницѣ. вмѣсто нихъ критикъ ставитъ въ образецъ, между прочимъ, труды Ломоносова, Сумарокова, Крашенинникова, Полѣтки, Павла Кутузова и Ивана Захарова. Далѣе новые писатели обвиняются въ составленіи словъ и рѣченій по иностранному образцу, какъ то: трогательный, занимательный, сосредоточить, представитель, начитанность, обдуманность, отгѣнокъ, страдательная рѣчь, гармоническое цѣлое и мн. др. Наконецъ Шишковъ указываетъ, какъ на неправильность новаго языка и слога, на то что многимъ словамъ, уже прежде существовавшимъ, придается новое, болѣе духовное значеніе, напр. на то, что слова развитіе, развитіе, утонченный, утонченность, переворотъ—стали употребляться въ смыслѣ не собственномъ, подобно французскимъ *développer*, *raffiné*, *révolution*. Почему не сказать, вмѣсто: развитіе характера, прозрѣніе

характера? Говорятъ — ночныя бесѣды, въ которыхъ развивались первыя мои метафизическія понятія (Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона); для чего не сказать: въ которыхъ первыя мои понятія прозябали. Французское *influence* переводятъ: вліяніе, и не смотря на то, что глаголь вливать требуетъ предлога *en*, вливать вино въ бочку, вливать въ сердце любовь, располагаютъ нововыдуманное слово *сіе* по французской грамматикѣ, ставя его, по свойству ихъ языка, съ предлогомъ *на*: *faire l'influence sur les esprits*, дѣлать вліяніе на разумы. Подобнымъ сему образомъ переведены слова: перевероть, развитіе, утонченный, трогательно, занимательно и множество другихъ. По мнѣнію нынѣшнихъ писателей, великое было бы невѣжество, нашедъ въ сочиняемыхъ ими книгахъ слово перевероть, не догадаться, что оное значить *révolution* или по крайней мѣрѣ *révolte*. Такимъ же образомъ и до другихъ всѣхъ добратся можно: развитіе *développement*, утонченный *raffiné*, сосредоточить *concentrer*; трогательно *touchant*; занимательно *interessant* и т. д. Вотъ бѣда для нихъ, когда кто въ писаніяхъ своихъ употребляетъ слова: брашно, требище, рясна, зодчество, доблестъ, прозябать и наитствовать и тому подобныя, которыхъ они сроду не слыхивали“ (стр. 23—28). Главная причина подражанія нынѣшнихъ писателей французамъ „состоитъ въ томъ, что они, читая французскія книги, находятъ иногда въ нихъ такія слова, которыми, по ихъ мнѣнію, на нашемъ языкѣ нѣтъ равносильныхъ, или точно соотвѣствующихъ. Чтожъ до того? Неужь ли безъ знанія французскаго языка не позволено быть краснорѣчивымъ? Мало ли въ нашемъ языкѣ такихъ названій, которыхъ Французы точно выразить не могутъ. Милая, гнусный, погода, пожалуй, благоутробіе, чадолюбіе.... но меньше ли чрезъ то писатели ихъ знамениты. Гоняются ли они за нашими словами и говорятъ-ли: *mon petit pigeon*, для того, что мы говоримъ: голубчикъ мой. Стараются ли они глаголь приголубить выражать на своемъ языкѣ глаголомъ, происходящимъ отъ имени *pigeon*, ради того, что онъ у насъ происходитъ отъ имени *голубь*?..... Не находимъ ли мы въ нынѣшнихъ нашихъ книгахъ: подпирать мнѣніе свое, двигать духами, черта злословія и проч. Не есть ли это рабственный переводъ съ французскихъ рѣчей: *soutenir son opinion, mouvoir les esprits, un trait de satire*? Я думаю, скоро, *boire à longs traits*, станутъ переводить: пить долгими чертами; *il a épousé sa colère*, онъ женился на моемъ гнѣвѣ“ (стр. 44—46). Между тѣмъ, какъ мы занимаемся симъ юродливымъ переводомъ и выдумкою словъ и рѣчей, ни мало намъ несвойственныхъ, многія коренныя и весьма знаменательныя Россійскія слова иныя пришли совсѣмъ въ забвеніе; другія, не взирая на богатство смысла своего, сдѣлались для непривыкшихъ къ нимъ ушей странны и дикі; третьи перемѣнили совсѣмъ знаменованіе

свое и употребляются не въ тѣхъ смыслахъ, въ какихъ съ начала употреблялись. Итакъ съ одной стороны въ языкъ нашъ вводится нелѣпныя новости, а съ другой истребаются и забываются издревле принятые и многими вѣками утвержденныя понятія: таимъ-то образомъ процвѣтаетъ словесность наша и образуется пріятность слога, называемая французами *elegance*! Далѣе Шишковъ подробно разбираетъ статью Карамзина: Отъ чего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ. Для доказательства всѣхъ своихъ положеній о языкѣ и слоgѣ онъ представляетъ изъ Четы-Миней цѣлое житіе трехъ святыхъ дѣвъ Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; „слова и рѣчи, выписанныя изъ нынѣшнихъ сочиненій и переводовъ съ примѣчаніями на оныя; опытъ словаря, или слова и рѣчи, выписанныя изъ священнаго Писанія для показанія знаменованія оныхъ; выписки изъ переводныхъ и оригинальныхъ книгъ въ тогдашней литературѣ“.

Въ 1804 г. Шишковъ издалъ „Прибавленіе къ разсужденію о старомъ и новомъ слоgѣ російскаго языка“. Оно заключаетъ въ себѣ отвѣтъ на критику тогдашнихъ журналовъ, напавшихъ на разсужденіе о слоgѣ, Московскаго Меркурія, издававшагося Макаровымъ, и Сѣвернаго Вѣстника, издававшагося Мартыновымъ. Въ 1810 г. онъ написалъ „Разсужденіе о краснорѣчіи свѣщ. Писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила російскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно“, читанное въ собраніи Россійской Академіи <sup>1)</sup>. Въ этомъ разсужденіи онъ старается доказать тождество языковъ славянскаго и русскаго. „Отколѣ родилась, спрашиваетъ онъ, неосновательная мысль сія, что Славенскій и Русскій языкъ различны между собою? Ежели мы слово „языкъ“ возьмемъ въ смыслѣ нарѣчія или слога, то, конечно, можемъ утверждать сію разность; но таковыхъ разностей мы найдемъ не одну, многія: во всякомъ вѣкѣ или полувѣкѣ примѣчаются нѣкоторыя переменны въ нарѣчіяхъ..... Собственно подъ именемъ языка разумѣются корни словъ и вѣтви отъ нихъ произшедшія. Когда оныя въ двухъ языкахъ различны, тогда и языки различны между собою; но когда знаменованія словъ и вѣтвей оныхъ находятся въ самомъ языкѣ, тогда оныя всякому нарѣчію общи, выключая развѣ такое, которое совсѣмъ отъ корней языка своего удалилось: тогда уже оное не есть болѣе нарѣчіе, но совсѣмъ иной языкъ. Гдѣжъ примѣчаемъ мы то въ нашемъ нарѣчіи?.... Возьмемъ Библію, лѣтописи, народныя сказки или пѣсни: въ каждомъ изъ сихъ трехъ родовъ сочиненій найдемъ мы разные слоги, разные нарѣчія и множество словъ особливыхъ, въ другомъ родѣ не существующихъ, но которыхъ корни однакожъ находятся въ общемъ языкѣ, всѣ сіи роды объемлющемъ..... Чтожъ такое русскій языкъ отдѣльно отъ Славен-

<sup>1)</sup> Изд. 1811 г. Спб.

окаго? Мечта, загадка. Не странно ли утверждать существованіе языка, въ которомъ нѣтъ ни одного слова? Между тѣмъ, однакожъ, не взирая на сію несообразную странность, многіе новѣйшіе писатели на семъ точно мнимомъ раздѣленіи основываютъ словесность нашу<sup>1)</sup>. „Что значить раздѣленіе языка нашего на славенскій и русскій? Раздѣленія сего (разсуждая о языкѣ въ прямомъ смыслѣ онаго) никакимъ образомъ доказать не можно, поелику оно не существуетъ. И такъ выходитъ, что разумѣется подъ симъ языкъ духовныхъ и свѣтскихъ книгъ. На чтожъ чуждаться намъ перваго изъ оныхъ и стараться приводить его въ забвеніе и презрѣніе? Для того ли, чтобъ умъ и сердце каждаго отвлечь отъ нравоучительныхъ духовныхъ книгъ, отвратить отъ словъ, отъ языка, отъ разума оныхъ и привязать къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ помраченію ума и уловленію невинности, что, совлеченная единожды съ прямого пути, она непремѣнно должна попасть въ оныя. Какое намѣреніе полагать можно въ стараніе удалить нынѣшній языкъ нашъ отъ языка древняго, какъ не то, чтобы языкъ вѣры, ставъ невразумительнымъ, не могъ никогда обуздывать языка страстей? Отсюду можетъ быть происходить, что всякое благонамѣренное и полезное сочиненіе, кажется, досажаетъ у насъ многимъ и вооружаетъ противъ себя писателей, старающихся всачески помрачить оное“<sup>2)</sup>.

Отвращеніе къ славянскому языку и къ духовнымъ книгамъ Шишковъ ставитъ въ зависимость отъ иностраннаго воспитанія, какое получаютъ дѣти высшаго общества въ Россіи. Воспитываемые у иностранныхъ учителей на иностранныхъ книгахъ, они отвыкаютъ отъ русскаго языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ всего русскаго, отъ вѣры и церкви, нравовъ и обычаевъ, отъ всего, что составляетъ русскую народность, и дѣлаются нерусскими. Эта мысль съ особенною силою раскрывается имъ въ его „Разсужденіи о любви къ отечеству“. Воспитаніе, говоритъ онъ здѣсь, должно быть отечественное, а не чужеземное. Ученый чужестранецъ можетъ преподавать намъ, когда нужно, нѣкоторыя знанія свои въ наукахъ; но не можетъ вложить въ душу нашу огня народной гордости, огня любви къ отечеству, точно также, какъ я не могу вложить въ него чувствованій моихъ къ моей матери. Онъ научитъ меня математикѣ, механикѣ, физикѣ, но и самый честный изъ нихъ и благонамѣренный не научитъ меня знать землю мою и любить народъ мой; ибо онъ самъ сего не знаетъ, не имѣетъ нужныхъ для меня чувствованій, и не можетъ ихъ имѣть: у него своя мать, свое гнѣздо, свое отечество. Любовь къ оному почерпается не изъ

<sup>1)</sup> Разсужд. о краснорѣчїи Св. П. стр. 44 и слѣд.

<sup>2)</sup> Ibid. стр. 93—94.

хладныхъ разсужденій, не изъ принужденной благовидности, нѣтъ! Она должна пламенною рѣкою литься изъ души моего учителя въ мою, пылать въ его лицѣ, сверкать изъ его очей. Откуда иностранецъ возметъ сіи чувствованія? Онъ научить меня своему языку, своимъ правамъ, своимъ обычаямъ, своимъ обрядамъ, воспалитъ во мнѣ любовь къ нимъ; а мнѣ надобно любить свои. Двѣ любви не бывають совмѣстны между собою. Онъ покажетъ мнѣ славу своихъ единоземцевъ, а мои погребены будутъ во мракѣ забвенія. Онъ возбудитъ во мнѣ желаніе читать его писателей; пристраститъ меня къ ихъ слогу, выраженіямъ, словамъ; а чрезъ то отвратитъ меня отъ чтенія собственныхъ моихъ книгъ, отъ познанія красотъ языка моего: каждое слово его будетъ мнѣ казаться прелестнымъ, каждое слово мое грубымъ; ибо кто можетъ устоять противъ возбужденной съ малыхъ лѣтъ склонности и привычки? Онъ поведетъ меня по своимъ городамъ, полямъ, путямъ, вертограмамъ; натвердитъ мнѣ о своихъ забавахъ, играхъ, зрѣлищахъ, нарядахъ; распишетъ ихъ въ воображеніи моемъ своими красками; обольститъ, очаруетъ понятіе мое; родитъ во мнѣ благоговѣніе ко всѣмъ мелкимъ прелестямъ и къ самымъ порокамъ земли своей. Такимъ образомъ, даже нехотя, вложить въ меня все свое, истребить во мнѣ все мое, и, сближа меня съ своими обычаями и нравами, удалить отъ моихъ. Я пойду за нимъ шагъ за шагомъ, и тогда, когда бы надлежало мнѣ съ молокомъ матери моей сосать любовь къ моему отечеству, пріобрѣтатъ съ каждымъ днемъ возраста новую къ нему привязанность, новую силу любви, новую степень удовольствія принадлежать ему, новый предлогъ гордиться и восхищаться славой его, новую причину веселиться и радоваться, что я рожденъ въ немъ; тогда сдѣлаетъ онъ, что всѣ сіи священные чувствованія умрутъ, или охладѣють во мнѣ, и я только тѣломъ буду жить у себя, въ родной странѣ моей, а сердцемъ и умомъ не чувствительно и по неволѣ переселюся въ чужую землю. Таковое превращеніе, больше или меньше сильное, произведетъ во мнѣ чужестранное воспитаніе безъ всякой вины воспитателя; ибо онъ не виноватъ, что любитъ землю свою больше моей. Чтожъ, если положимъ еще въ немъ худые нравы, наклонность къ безвѣрію, къ своевольству, къ повсемѣстному гражданству, къ новой и пагубной философіи, къ симъ обманчивымъ именамъ начальствующаго безначалія, вѣрной измѣны, человеколюбиваго терзанія людей, скованной свободы?... Народное воспитаніе есть весьма важное дѣло, требующее великой прозорливости и предусмотрѣнія. Оно не дѣйствуетъ въ настоящее время, но приготовляетъ счастье или несчастіе предбудущихъ временъ, и призываетъ на главу нашу или благословеніе или клятву погжовъ. Оно медленно приноситъ плоды, но когда уже созрѣють

онѣ, тогда нѣтъ возможности удержать ихъ отъ размноженія: должно будетъ вкусить сладость ихъ или горькость<sup>1)</sup>.

Капитальная ошибка Шишкова состояла въ томъ, что онъ думалъ, будто русскій языкъ происходитъ отъ того славянскаго, на который переведены наши богослужебныя книги, что русскій языкъ и церковно-славянскій составляютъ одинъ и тотъ же, что различіе ихъ только въ моментахъ развитія и слѣд. раздѣлять ихъ на два отдѣльные языка невозможно. Если бы кто-нибудь указалъ эту ошибку Шишкова и доказалъ, что русскій языкъ на самомъ дѣлѣ не происходитъ отъ славянскаго, а оба они вмѣстѣ съ другими славянскими нарѣчіями происходятъ отъ того старѣйшаго доисторическаго языка, который развѣтвился на разныя нарѣчія, что при переводѣ богослужебныхъ книгъ уже существовалъ и русскій языкъ самъ по себѣ, и слѣд. оба они находятся въ отношеніяхъ братскихъ, то не могло быть и рѣчи о томъ, что каждое церковно-славянское слово есть и русское слово, какъ утверждалъ Шишковъ, или что въ русскомъ языкѣ почти ничего не остается, если отнять отъ него всѣ славянскія слова. Но въ то время славянская филологія была еще такъ слаба, что не могла разрушить этой ошибки Шишкова. Противники его, повидимому соглашаясь съ основнымъ его положеніемъ о тождествѣ церковно-славянскаго и русскаго языка, не хотѣли только признать выведенныхъ слѣдствій и доказывали, что русскій языкъ такъ далеко и давно отдалился отъ церковно-славянскаго, что долженъ считаться особымъ языкомъ. Не опровергнутый въ своемъ основномъ положеніи Шишковъ могъ защищаться даже съ успѣхомъ. Самъ Карамзинъ лично не принималъ участія въ спорѣ; да и большая часть недостатковъ въ языкѣ и слогѣ, на которые нападалъ Шишковъ, принадлежали не ему, а его неразумнымъ послѣдователямъ, которые, подражая ему, вдавались слишкомъ въ разныя крайности. Карамзинъ даже не считалъ Шишкова своимъ врагомъ. Когда Державинъ, приглашая его читать въ собраніи Академіи, упомянулъ о Шишковѣ, то онъ сказалъ, что ему будетъ весьма пріятно видѣть Шишкова, что онъ не только не сердитъ на него, забываетъ нападки, но напротивъ очень ему благодаренъ, потому что воспользовался многими его замѣчаніями. Въ свою очередь и Шишковъ оцѣнилъ Карамзина и относился къ нему съ уваженіемъ; онъ выбралъ Карамзина въ члены Россійской Академіи и присудилъ ему медаль отъ Академіи за его Исторію Государства Россійскаго. Споръ съ Шишковымъ вели и защищали новый языкъ и слогъ отъ его нападеній послѣдователи Карамзина, между которыми особенно замѣчательны были Макаровъ и Дашковъ.

<sup>1)</sup> Собр. соч. и пер. адмирала Шишкова. Ч. IV, стр. 180—188.

**Петръ Ивановичъ Манаровъ** (1765—1804) былъ родомъ изъ дворянъ Казанской губерніи. Въ 1795 г. онъ путешествовалъ по Англіи и по возвращеніи оттуда занялся литературой. Онъ написалъ: Россіянинъ въ Лондонѣ, или письма къ друзьямъ моимъ (въ 1795 г.); перевелъ съ французскаго: „Графъ де Сенъ-Меронъ, или новыя заблужденія сердца и ума“ (1799—1800) и Антеноровы путешествія по Греціи и Азіи, Лантье (1801—1802). Когда Шишковъ напечаталъ свое „Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ русскаго языка“, Макаровъ написалъ на него критику въ журналѣ „Московскій Меркурій“, который онъ издавалъ въ 1803 г. Защищая нововведенія Карамзина и его послѣдователей, онъ въ своей критикѣ возстаетъ противъ неподвижности въ языкѣ и доказываетъ необходимость внесенія новыхъ словъ и выраженій, съ развитіемъ новыхъ понятій. „Нѣтъ вещи, говоритъ онъ, нѣтъ и слова; нѣтъ понятія, нѣтъ и выраженія, посредствомъ котораго можно бы то понятіе сообщить другому человѣку. Послѣ Ломоносова мы узнали тысячи новыхъ вещей; чужестранные обычаи родили въ умѣ нашемъ тысячи новыхъ понятій; вкусъ очистился; читатели не хотятъ, не терпятъ выраженій, противныхъ слуху; болѣе двухъ третей русскаго словаря остается безъ употребленія. Что дѣлать? Искать новыхъ средствъ изъясняться. Удержать языкъ въ одномъ состояніи невозможно: такого чуда не бывало съ начала свѣта.... Должно ли намъ винить Теофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились отъ своихъ предшественниковъ, которыхъ сочинитель Разсужденія о слоgѣ предлагаетъ намъ теперь въ образецъ? Языкъ слѣдуетъ всегда за науками, за художествами, за просвѣщеніемъ, за правами, за обычаями. Придетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога явуютъ, подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ. Въ утѣшеніе писателю остается, что умъ и чувствованія не теряютъ своихъ пріятностей и достигаютъ до самаго отдаленнаго потомства. Красавицы двадцать третьяго вѣка не станутъ, можетъ быть, искать могилы Бѣдной Лизы; но и въ двадцать третьемъ вѣкѣ другъ словесности, любопытный знать того, кто за 400 лѣтъ прежде очистилъ, украсилъ нашъ языкъ и оставилъ послѣ себя имя любезное отечественнымъ благодарнымъ музамъ, другъ словесности, читая сочиненія Карамзина, всегда скажетъ: „онъ имѣлъ душу, онъ имѣлъ сердце“!.... Всѣ языки составились одинъ изъ другаго обмѣномъ взаимнымъ. Римляне приняли много словъ отъ грековъ и передали много своихъ другимъ народамъ. Французы приняли слова греческія, латинскія и даже итальянскія, для того что итальянцы прежде ихъ упражнялись въ наукахъ и художествахъ. Англичане образовали свой языкъ изъ разныхъ языковъ, древнихъ и новыхъ. Почему намъ однимъ не занимать?... Впрочемъ, мы не хотимъ оправдывать дурныхъ писа-

телей, которые, ссылаясь на хорошихъ, употребляющихъ иностранныя слова, забываютъ границы, опредѣляемыя разсудкомъ и вкусомъ; такихъ людей очень много; по счастью никто не подражаетъ имъ. Сочинитель Разсужденія о слогахъ не любитъ даже и настоящихъ русскихъ словъ, если нѣтъ ихъ въ книгахъ старинныхъ.... Въмѣсто „вліяніе“ онъ велитъ писать „наитствованіе“, въмѣсто „развитіе“ „проявленіе понятій“. Сочинитель Разсужденія о слогахъ, утверждая, что каждый народъ въ составленіи языка своего умствовалъ по собственнымъ своимъ понятіямъ, весьма различнымъ отъ другаго народа, подаетъ оружіе на себя, ибо въ отношеніи къ обычаямъ и понятіямъ, мы теперь совсѣмъ не тотъ народъ, который составляли наши предки, слѣд. хотимъ сочинять фразы и производить слова по своимъ понятіямъ, нынѣшнимъ, умствуя какъ французы, какъ нѣмцы, какъ всѣ нынѣшніе просвѣщенные народы. Неужели сочинитель, для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ и къ обычаямъ и къ понятіямъ стариннымъ?...“<sup>1)</sup>).

Димитрій Васильевичъ Дашновъ (1788—1839), изъ дворянъ Рязанской губерніи, воспитанникъ Университетскаго пансіона и Московскаго Университета, былъ нѣсколько времени министромъ юстиціи. Во время пребыванія въ Турціи при посольствѣ, онъ путешествовалъ по Греціи и собиралъ греческія автологическія стихотворенія, которыя потомъ напечаталъ (Цвѣты изъ греческой автологіи). Когда Шишковъ напечаталъ переводъ двухъ статей изъ Лагарпа со своими примѣчаніями, Дашковъ, будучи членомъ Арзамасскаго общества, написалъ разсмотрѣніе этихъ статей и примѣчаній Шишкова; а когда Шишковъ написалъ критику на разсмотрѣніе, Дашковъ написалъ антикритику: „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“<sup>2)</sup>. Въ первой статьѣ онъ возстаетъ противъ смѣшенія русскаго языка съ церковно-славянскимъ. „Я не отвергаю, говоритъ онъ, чтобы языкъ нашъ не былъ весьма близокъ къ славенскому и чтобы сей послѣдній не былъ главнымъ основаніемъ его; но не слишкомъ ли много смѣшивать сіи два языка и почитать ихъ за одинъ и тотъ же? Россійскій языкъ происходитъ отъ славенскаго точно также, какъ французскій отъ латинскаго, смѣшаннаго съ кельтскимъ или вельхскимъ, съ тѣмъ только различіемъ, что французскій еще въ X вѣкѣ началъ отдѣляться отъ корня своего, а мы на нашемъ нивакихъ сочиненій не имѣли до временъ Петра Великаго; но языкъ, которымъ говорили мы, давно уже отдѣлился отъ славенскаго, введеніемъ множества татарскихъ словъ и выраженій, совсѣмъ прежде неизвѣстныхъ....

<sup>1)</sup> Сочиненія и переводы Петра Макарова. Томъ 1-й. Часть 2-я. Изд. 2-е. 1817 г. стр. 15—56. 21.

<sup>2)</sup> О легчайшемъ способѣ возражать на критики. Спб. 1811 г. стр. 1—75.



Можно ли называть однимъ и тѣмъ же языкомъ два нарѣчія, изъ коихъ одно хотя непосредственно происходитъ отъ другаго, но смѣшано съ третьимъ, чуждымъ и притомъ испорчено 500-лѣтнимъ употребленіемъ?—Для чего не пишемъ мы такимъ же точно языкомъ, какимъ писана Библія? Для чего большая часть нашихъ теперешнихъ выраженій не принадлежать къ славенскому языку, но даже и не отъ него происходятъ.... Правда, что возвышенный слогъ не можетъ у насъ существовать безъ помощи славенскаго; но сія необходимость пользоваться мертвымъ для насъ языкомъ для подкрѣпленія живаго не есть доказательство и притомъ требуетъ большой осторожности. Хорошіе писатели наши весьма наблюдаютъ это, и дѣйствительно въ ихъ сочиненіяхъ языкъ нашъ, хотя наполненный великолѣпіемъ славенскаго, не престааетъ однакоже быть русскимъ... Раздѣленіе господиномъ переводчикомъ мнимаго славенороссійскаго языка на три слога: высой, средній и низкій, изъ коихъ къ первому относитъ онъ чистый славенскій языкъ, а къ послѣднему простонародный, противно имъ самимъ предполагаемому совокупленію сихъ двухъ языковъ, и тогда названіе „славенороссійскій“ само собою уничтожается. При Петрѣ Великомъ или въ началѣ просвѣщенія нашего, высокимъ слогомъ, т. е. по просту на славенскомъ языкѣ, писали всякія книги безъ разбора, а простымъ слогомъ, или, лучше сказать, нарѣчіемъ, испорченнымъ изъ славенскаго и смѣшаннымъ со множествомъ татарскихъ словъ, тогда говорили. Нынѣ же, когда русскій языкъ образовался, сіе различіе въ слогъ съ точностію наблюдается по различію рода сочиненій, но исключительное назначеніе получаемыхъ нами отъ славенскаго пособій одному высокому слогу, а языка общенароднаго простому слогу не существуетъ, да и существовать не можетъ.... Сравненіе, дѣлаемое господиномъ переводчикомъ между красотами славенскаго языка, переносимыми въ словесность нашу; и введеніемъ въ оную французскихъ выраженій, съ дубовою рощею, которую хотятъ вырубить, дабы вмѣсто оной насадить молодыхъ ольхъ и осинъ, было бы очень кстати, если бы онъ подъ французскими выраженіями разумѣлъ токъ тѣ, которыя противны свойству языка нашего. Я согласенъ съ нимъ, что лучше, когда бы всѣ даже учебныя выраженія, безъ которыхъ мы теперь обойтись не можемъ, были переведены настоящими русскими словами; довольно видно изъ всѣхъ трудовъ его, что онъ, поступая согласно съ правилами своими, переводить почти каждое иностранное учебное слово, по необходимости нами употребляемое. Но можно ли все вдругъ обдумать? Не лучше ли тамъ, гдѣ дубовъ совсѣмъ нѣтъ, насадить хотя ольхъ, дабы сколько-нибудь имѣть тѣни. Я не защищаю тѣхъ, кои съ большимъ напряженіемъ силъ вырываютъ дубы, чтобы намѣсто ихъ

насадить осинъ: самое дѣйствіе ихъ показываетъ ихъ безразсудность, и въ семъ смыслѣ сравненіе господина переводчика совершенно справедливо. Но тамъ, гдѣ нѣтъ дубовъ, пельзя никому поставить въ порокъ, что онъ сажаетъ осины, только бы сажалъ ихъ къ сторонѣ, и онѣ бы не дѣлали никакой пестроты съ главною частію рощи“.

Вся литература тогдашняго времени раздѣлилась на двѣ стороны—защитниковъ Шишкова и послѣдователей Карамзина. Шишкова защищали нѣкоторые журналы, какъ „Сѣверный Вѣстникъ“ и „Журналъ російской словесности“ Брусилова (1805). Но главнымъ центромъ борьбы была Россійская Академія, гдѣ Шишковъ былъ президентомъ, и „Бесѣда общества любителей російской словесности“. Бесѣда издавала свои „Чтенія“, въ которыхъ печатались постоянно статьи, направленные противъ новаго языка и слога. Въ засѣданіяхъ Академіи представлялись переводы иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ безъ перевода. Переводы эти не отличались искусствомъ и подавали противной сторонѣ только поводъ къ насмѣшкамъ, таковы напр.: авторитетъ—превосходство; адрессъ—надпись; адъюнктъ—пріобщникъ; актеръ—лицедѣй; аллея—прохожъ, просадь; анаграмма—буквопредложеніе; антипатія—противустрастіе; аудитория—слушалище; аудіенція—пріемъ. Школу Карамзина составляли всѣ молодые писатели. Органами этихъ карамзинистовъ были Драматическій Журналъ и Санкт-Петербургскій Вѣстникъ (1812 г.). Въ Драматическомъ Журналѣ была помѣщена комедія „Обращенный Славянофилъ“; въ этой комедіи Педантовъ, пріятель Славянофила, представленъ глупцемъ и негодяемъ; въ Петербургскомъ Вѣстникѣ постоянно осмѣивались литературныя дикости членовъ Бесѣды. А. Измаиловъ въ баснѣ: „Шутъ въ париѣ“ смѣялся надъ нетерпимостію Шишкова, который въ защитѣ новаго слога видѣлъ не любовь къ Россіи и посягательство на вѣру; Воейковъ помѣстилъ Шишкова въ своей сатирѣ: „Домъ сумасшедшихъ“. Точно также Батюшковъ въ сатирическомъ стихотвореніи „Видѣніе на берегахъ Леты“ вывелъ все общество Бесѣды и во главѣ самого Шишкова. С. Т. Аксаковъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ борьба между карамзинистами и шишковьятами проникала даже въ школы и раздѣляла на партіи воспитанниковъ. Но главнымъ боевымъ лагеремъ карамзинистовъ былъ „Арзамасъ или Арзамасское литературное общество“. Это общество и основалось для противодѣйствія „Бесѣдѣ російскаго слова“ и „Академіи Россійской“.

Шишковъ не могъ защитить своего ученія о языкѣ и слогѣ. У него не было самыхъ необходимыхъ для этого свѣдѣній историческихъ, безъ которыхъ онъ не могъ понять своей основной ошибки, именно, что славянскій и русскій языки составляютъ одинъ.

языкъ; у него не было знанія древнихъ языковъ и вообще филологической подготовки, при которой онъ могъ бы разобратъся при сравненіи языковъ между собою. Гораздо справедливѣе были его нападенія на иностранное образованіе; онъ совершенно справедливо обвинялъ русское общество въ рабской подражательности, стоялъ за сохраненіе русской національности въ нравахъ, обычаяхъ, въ языкѣ, вообще во всемъ складѣ жизни. Въ этомъ отношеніи съ нимъ согласенъ былъ и Карамзинъ; онъ также защищалъ русскую народность и, какъ Шишковъ, написалъ Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости. Но защищая русскую народность, Шишковъ защищалъ старую русскую жизнь въ томъ видѣ, какъ она сложилась въ древній до-Петровскій періодъ и не допускалъ никакого развитія, возставалъ противъ всѣхъ нововведеній; Карамзину не нравились только современные реформы; идеаломъ для него было царствованіе Екатерины II.

### ШКОЛА КАРАМЗИНА.

Вліяніе Карамзина на современную литературу было такъ сильно, что изъ его послѣдователей образовалась цѣлая школа, носившая имя Карамзинистовъ. Болѣе крупными писателями, подражавшими Карамзину, были Дмитріевъ и Озеровъ. Они писали въ томъ же сентиментальномъ направленіи и продолжали его реформу въ языкѣ и слогѣ; то, что Карамзинъ сдѣлалъ въ области повѣствовательной, въ области повѣсти и романа, тоже самое произвели Дмитріевъ въ области лирической поэзіи, Озеровъ — въ области драмы.

### ДМИТРИЕВЪ.

Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ <sup>1)</sup> былъ воспитанникъ Волги, какъ Державинъ и Карамзинъ. Въ запискахъ о своей жизни <sup>2)</sup> у него остались самыя теплыя воспоминанія о жизни на Волгѣ и о путешествіяхъ по ней до Сызрани и Астрахани. Онъ родился въ селѣ Богородскомъ Сызранскаго уѣзда, Симбирской губерніи въ 1760 г. Сначала Дмитріевъ учился въ Казани у французскаго мѣщанина Манжена, въ то время, когда жилъ тамъ у дяди своего Бекетова; потомъ въ Симбирскѣ отданъ былъ въ пансіонъ Кадрита, отставнаго поручика, воспитанника Кадетскаго корпуса. Здѣсь онъ учился вмѣстѣ съ старшимъ братомъ своимъ языкамъ, французскому и нѣмецкому, русскому правописанію и слогу,

<sup>1)</sup> О жизни и стихотвореніяхъ Дмитріева въ сочиненіяхъ кн. Вяземскаго томъ I; у Галахова: Историческая хрестоматія, т. II, 66—72. Стихотворенія Дмитріева имѣли нѣсколько изданій; мы пользовались 4-мъ изданіемъ 1814 г. Москва.

<sup>2)</sup> Взглядъ на мою жизнь. 3 части. Москва. 1866.

исторіи и географіи. На 11-мъ году это ученіе прекратилось, и образованіе продолжалось самоучкой—путемъ чтенія ходячихъ тогда романовъ и повѣстей Сваррона, походовъ Робинзона Крузо, Тысячи и одной ночи, приключеній Жиль-Блаза де-Сантильяна, приключеній маркиза Г. „Чтеніе этихъ книгъ, говоритъ Дмитріевъ, не имѣло вреднаго вліянія на мою нравственность. Смѣю даже сказать, что онѣ были для меня антидотомъ противу всего низкаго и порочнаго. Приключенія Клевеланда и Маркиза Г. возвышали мою душу. Я всегда плѣнялся добрыми примѣрами и желалъ имъ слѣдовать“. Мать познакомила Дмитріева съ сочиненіями Сумарокова, котораго лично знала, а отецъ съ Ломоносовымъ. Но настала страшная пугачевщина, и отцу его некогда было заниматься образованіемъ дѣтей. вмѣстѣ съ братомъ они продолжали читать русскія книги всякаго рода. Еще въ 1772 г. онъ вмѣстѣ съ братомъ былъ записанъ въ семеновскій полкъ; въ 1779 г. онъ пріѣхалъ въ Петербургъ на службу въ этомъ полку, но пробылъ здѣсь не долго. Стихотворство Дмитріева началось по вызову Новикова съ надписи къ портрету Кантемира. Подобно Державину, учившемуся писать стихи въ казармѣ, Дмитріевъ также писалъ первые свои стихи въ караульнѣ солдатскаго пикета, во время ротнаго и батальоннаго ученія въ Семеновскомъ полку. Во время службы въ этомъ полку онъ познакомился съ Козлятевымъ, который, сдѣлавшись его другомъ, имѣлъ большое вліяніе на образованіе его нравственнаго характера. „Онъ не могъ, говоритъ Дмитріевъ, передать мнѣ прекрасной души своей, но по крайней мѣрѣ примѣромъ своимъ отвращалъ меня отъ всего низкаго“. Въ его сужденіяхъ о русской словесности, всегда основанныхъ на чувствѣ изящнаго, Дмитріевъ почерпалъ ту вѣрность и утонченность вкуса, которая послѣ руководствовала его дарованіемъ. Въ его библіотекѣ онъ пользовался старыми и новѣйшими произведеніями французской литературы, чаще же всего классическими. Козлятевъ познакомилъ его съ сочиненіями Дидро, Даламбера, Рейналя, Мармонта, Лагарпа. По его совѣту онъ сталъ читать Квинтиліана объ ораторскомъ искусствѣ и курсъ словесности Батте и Мармонта. Около этого времени онъ познакомился и съ Карамзинымъ, съ которымъ въ первый разъ встрѣтился десятилѣтнимъ мальчикомъ въ Симбирскѣ. „Стоило намъ сойтись, говоритъ онъ, какъ мы уже стали короткими знакомцами. Едва-ли не съ годъ мы были неразлучными; склонность наша къ словесности, можетъ быть, что-то сходное въ нравственныхъ качествахъ укрѣпляли связь нашу день отъ дня болѣе и болѣе. Мы давали отчетъ въ нашемъ чтеніи. Между тѣмъ я показывалъ ему и мои мелкіе переводы, которые были печатаны особо и въ тогдашнихъ журналахъ“. Съ сочиненіями Державина Дмитріевъ познакомился еще въ 1776 г., но самого

Дер. Ис-Тарх и др. Клав. мнѣ  
иде: Св. Звѣрие Кави. Ермачъ П.В.  
мнѣ. Градъ. провѣдѣ. тѣмъ одишати.

его не видалъ, съ нимъ познакомилъ его П. Ю. Львовъ. Онъ по-  
казалъ Державину стихи Дмитріева, въ которыхъ было упомянуто  
Державинъ, какъ о единственномъ у насъ живописцѣ природы.  
Державинъ пригласилъ его къ себѣ. „Съ перваго посѣщенія я  
просидѣлъ у нихъ весь день, а чрезъ двѣ недѣли уже сдѣлался  
короткимъ знакомцемъ.— Со входомъ въ домъ его какъ будто мнѣ  
открылся путь и къ парнасу. Дотошъ бывъ знакомъ только съ  
двумя стихотворцами Е. И. Комаровымъ и Д. И. Хвостовымъ, я  
увидѣлъ въ обществѣ Державина нѣсколько поэтовъ и прозаистовъ...  
Богдановича, Львова, Оленина, Фонъ-Визина, Петрова, Капниста“.  
Вообще о Державинѣ и его обществѣ въ запискахъ Дмитріева со-  
хранилось самое подробное воспоминаніе; Державину и его кружку  
онъ приписываетъ весьма важное для него образовательное значе-  
ніе (52—69). Въ это время Карамзинъ возвратился изъ-за границы  
и началъ печатать Письма Русскаго Путешественника. Какъ ни  
велико было уваженіе его къ Державину и его сочиненіямъ, кото-  
рыя были для него образцами, новое направленіе поразило Дми-  
тріева, онъ перешелъ на сторону Карамзина и сдѣлался его по-  
дражателемъ и сотрудникомъ. „Съ начала 1791 г., говоритъ онъ,  
появился журналъ Карамзина подъ именемъ Московскаго и обра-  
тилъ на себя вниманіе первостепенныхъ нашихъ авторовъ. Всѣ  
отдали справедливость новому, легкому, пріятному и живописному  
слогу Писемъ Русскаго Путешественника, Натальи боярской до-  
шны и другихъ повѣстей; въ первыхъ трехъ частяхъ его были  
напечатаны и мои стихотворенія, выбранныя издателемъ безъ моего  
назначенія, а по собственному его произволу изъ взятаго имъ моего  
бумажника. Всѣ они были едва-ли не ниже посредственныхъ; но  
съ четвертой части начался уже новый періодъ въ моей поэзіи:  
пѣсня моя „Голубокъ“ и „Модная жена“ приобрѣли мнѣ нѣкто-  
рую извѣстность въ обѣихъ столицахъ. Любители музыки сдѣлали  
на пѣсню мою нѣсколько голосовъ... Съ той поры и въ обществѣ  
Державина я пересталъ быть авскульптантомъ и вступилъ, такъ  
сказать, въ собратство съ его членами; но ничье одобреніе не-  
лѣстило моему самолюбію, какъ одинъ привѣтливый взглядъ Ка-  
рамзина или Козлятева. Въ то же время я началъ изучать басен-  
никовъ и выдалъ, подражая болѣе Лафонтену и Флоріану, нѣсколь-  
ко басенъ. Мнѣ посчастливилось также и этими опытами угодить  
обществу и многимъ изъ литераторовъ“ (1). Самымъ счастливымъ  
и плодотворнымъ годомъ въ литературномъ отношеніи Дмитріевъ  
считалъ 1794 годъ, когда онъ жилъ въ Сызрани, въ кругу сво-  
его семейства и путешествовалъ по Волгѣ; въ этомъ году имъ  
написаны были: Гласъ Патриота, Чужой Толкъ, Ермачъ, Воз-

(1) Стр. 69—70.

Дмитр. проработавъ стихи. Ксеноф. не-  
малъ раздумъ. Дмитр. создавъ книга-  
пейвиль стиховъ<sup>97-98</sup>

душныя башни, Причудница и посланіе къ Державину, по случаю кончины его супруги. По подражанію Карамзину, издававшему свои повѣсти, стихи и мелкія сочиненія подъ заглавіемъ: „Мои бездѣлки“, Дмитріевъ также издалъ собраніе своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „И мои бездѣлки“. Въ 1795 г. Дмитріевъ оставилъ военную службу и перешелъ на гражданскую. Занятый новой службой, онъ ничего не писалъ до 1802 г., когда появился „Вѣстникъ Европы“ Карамзина; здѣсь онъ печаталъ свои басни. Въ 1802 г. онъ переселился въ Москву, купилъ себѣ домъ съ маленькимъ садомъ, украсилъ его сколько возможно лучше небольшоимъ числомъ эстамповъ, достаточною библіотекою и жилъ въ обществѣ своихъ друзей. „Не проходилъ ни одинъ день, чтобы я не видался съ Карамзинымъ, а по зимамъ и съ Козлятевымъ. Кромѣ нихъ я также съ удовольствіемъ проводилъ вечера у Натальи Ивановны Плещеевой. Въ ея сельскомъ уединеніи развивались авторскія способности юнаго Карамзина. Она питала къ нему чувства нѣжнѣйшей матери. Не рѣдко посѣщалъ я и почтеннаго моего земляка, Ивана Петровича Тургенева, тогдашняго директора Московскаго университета, равно и патріарха современныхъ поэтовъ, М. М. Хераскова“. — Литературная дѣятельность Дмитріева была необыкновенно счастлива. Его имя повсюду поминалось наряду съ именемъ Карамзина, какъ первостепеннаго писателя. Академія Россійская поднесла ему большую золотую медаль съ надписью: „Россійскому языку пользу принесшему“. Въ 1807 г. онъ, будучи уже сенаторомъ, получилъ предложеніе отъ графа Завадовскаго занять мѣсто попечителя Московскаго университета, отъ котораго онъ однакожъ отказался; а чрезъ три года послѣ того онъ сдѣланъ былъ министромъ юстиціи. Такимъ образомъ и на литературномъ поприщѣ и въ служебномъ мірѣ Дмитріевъ достигъ высокой славы и первыхъ почестей. Такое счастливое положеніе Дмитріева Карамзинъ очень хорошо выразилъ въ подписи къ его портрету въ слѣдующихъ стихахъ:

Министръ, поэтъ и другъ: я все тремя словами  
Объ немъ для похвалы и зависти сказалъ.  
Прибавлю, что сновъ и рнеъ онъ не искалъ,  
Но рнеи и чины къ нему летѣли сами<sup>1)</sup>.

Мнѣ замѣтила перевод.  
Мнѣ.

Сочиненія Дмитріева. Первые сочиненія Дмитріева до того времени, пока онъ не познакомился съ Письмами Русскаго Путешественника, написаны въ классическомъ стилѣ. Къ нимъ относятся лирическія произведенія: религіозныя и патріотическія оды и посланія, сатиры и разныя мелкія стихотворенія.

<sup>1)</sup> Соч. Карамзина, т. I, 223.

Дмитр. трудъ надѣвшись къ Пофреск.  
Вамъ смѣлка.

### Религіозныя стихотворенія. Въ гимнѣ Богу:

Парю душой къ Тебѣ, Всечтимый,  
Превѣчно Слово, Трисвятій....

изображается величіе и всемогущество Божіе; въ „Размышленіи по случаю грома“

Гремитъ!.. Благоговѣй, снѣжь перети!  
Се Ветхій деньми съ небеси  
Изъ кроткой, благотворной длани  
Перуны сѣтъ по землѣ....

изображается чувство смиренія передъ Богомъ, возбужденное въ душѣ человѣка такимъ грознымъ и величественнымъ явленіемъ природы, какъ гроза. Оба эти стихотворенія совершенно справедливо помѣщаются въ разныхъ учебникахъ, какъ образцы духовной поэзіи на ряду съ „Утреннимъ и Вечернимъ размышленіемъ о Божіемъ величествѣ“ Ломоносова и одою „Богъ“ Державина. Они написаны, несомнѣнно, подъ вліяніемъ этихъ образцовъ, хотя въ „Размышленіи по случаю грома“ нѣкоторые находятъ подражаніе стихотворенію Гёте: „Границы человѣчества“. Особенное достоинство этихъ стихотвореній заключается въ краткости и простотѣ сравнительно съ многословными и витиеватыми гимнами другихъ поэтовъ, писавшихъ въ религіозномъ стилѣ.

**Патріотическія стихотворенія.** Къ патріотическимъ стихотвореніямъ относятся: Ермакъ, Освобожденіе Москвы отъ Поляковъ въ 1612 г., къ Волгѣ, Смерть князя Потемкина, Гласъ патріота на взятіе Варшавы, Стихи на высокомонаршую милость, оказанную императоромъ Павломъ I потомству Ломоносова. Но патріотическое чувство выражается въ нихъ въ разныхъ преувеличеніяхъ и довольно холодно, по крайней мѣрѣ безъ истиннаго одушевленія, исходящаго изъ сердца и возбуждающаго сердце читателя. Вотъ напр. какими стихами оканчивается описаніе подвига Ермака въ первой піесѣ:

Великій! Гдѣ бѣ ты ни родился,  
Хотя бы въ варварскихъ вѣкахъ,  
Твой подвигъ жизни совершился;  
Хотя бѣ исчезъ твой самый прахъ,  
Хотя бѣ сныи твои, потомки,  
Забывъ дѣянъя предка громки,  
Считались въ дебряхъ и лѣсахъ,  
И жили съ алчными волками;  
Но ты, великій человѣкъ,  
Пойдешь въ ряду съ полубогами

Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;  
И славы лучъ твоей затмится,  
Когда померкнетъ солнца свѣтъ,  
Со трескомъ небо развалится  
И время на косу падетъ.

Въ такомъ же родѣ было описаніе поединка Ермака съ Мегметъ-Куломъ, которое прежде приводили въ христоматіяхъ, какъ образецъ художественныхъ описаній, но которое нынѣ можетъ служить образцемъ преувеличенныхъ изображеній Дмитріева. Въ піесѣ „Освобожденіе Москвы“ интересно описаніе Москвы, которое такъ же прежде приводилось въ христоматіяхъ, какъ образцовое.

Въ какомъ ти блескѣ нынѣ зрима,  
Княженій, царствъ великихъ мать!  
Москва, Россіи дочь любима!  
Гдѣ равную тебѣ сыскать?  
Вѣнецъ твой перлами украшенъ;  
Алмазный скиптръ въ твоихъ рукахъ;  
Верхи твоихъ огромныхъ башенъ  
Сіяютъ въ златѣ, какъ въ лучахъ;  
Отъ Норда, Юга и Востока,  
Отвсюду быстротой потока  
Къ тебѣ сокроища текутъ;  
Сыны твои, любимцы славы,  
Красивы, храбры, величавы,  
А дѣвы—розами цвѣтутъ! <sup>1)</sup>

Стихи на милость, оказанную императоромъ Павломъ I потомству Ломоносова, написаны въ классическомъ стилѣ самого Ломоносова и совершенно напоминаютъ его оды имп. Елизаветѣ и меценату Шувалову.

Въ Пісни на коронованіе императора Александра I, авторъ обращается къ Александру со слѣдующими словами:

Монархъ! подъ сими небесами,  
На семъ же мѣстѣ Іоаннъ  
Пріялъ геройскими руками  
Вѣнецъ, которымъ ты вѣнчанъ.  
Благоговѣй къ своей порфирѣ:  
Ее носилъ Великій въ мірѣ,  
Самъ Петръ на мощныхъ раменахъ!  
Благоговѣй предъ сей державой:  
Она горитъ, блистаетъ славою  
Премудрѣя одной въ женахъ! <sup>2)</sup>

Дмитріевъ написалъ еще нѣсколько одъ въ подражаніе Горацию.

<sup>1)</sup> Сочин. ч. I, 9—10. <sup>2)</sup> Часть I, 30.



**Сатиры Дмитріева.** Дмитріевъ перевелъ сатиру Ювенала „О благородствѣ“ и посланіе англійскаго поэта Попа къ доктору Арбутноту. Эта сатира, написанная на бездарныхъ стихотворцевъ, вѣроятно, и подала мысль Дмитріеву написать „Чужой толкъ“, въ которомъ также осмѣиваются бездарные слагатели торжественныхъ одъ.

Что за диковина? Лѣтъ двадцать ужъ прошло,  
Какъ мы, напруги умъ, наморщивши чело,  
Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ,  
А ни себѣ, ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ!  
Ужели выдалъ Фебъ свой именной указъ,  
Чтобъ не дерзвалъ никто надѣяться изъ насъ  
Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратья равнымъ,  
И столькожъ, какъ они, во пѣснопѣи славнымъ?  
Какъ думаешь!... Вчера случилось мнѣ слычать  
И ихъ и нашу пѣснь: въ ихъ... нечего читать!  
Листочикъ, много три, а любю какъ читаешь—  
Не знаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь!  
Судя по краткости, увѣренъ, что они  
Писали ихъ рѣзвась, а не четыре дни;  
То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счастливымъ?  
Когда мы во сто разъ прилежнѣй, терпѣливѣй?  
Вѣдь, нашъ начнетъ писать, то всѣ забавы прочь!  
Надъ парой стиховъ просиживаетъ ночь,  
Потѣетъ, думаетъ, чертитъ и жжетъ бумагу;  
А иногда беретъ такую онъ отвагу,  
Что цѣлый годъ сидитъ надъ одою одной!

„Чужимъ толкомъ“ эта сатира названа потому, что авторъ ея свои разсужденія въ ней представляетъ отъ лица какого-то Аристарха. Объясняя причины неудачи такихъ одописцевъ, онъ между прочимъ указываетъ на то, что эти одописцы люди дѣловые, а совсѣмъ не призванные поэты:

Большая часть изъ нихъ—лейбгвардіи капралъ,  
Ассессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,  
Иль изъ кунсткамеры антикъ въ пыли ходячій,  
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной.—  
Ихъ цѣль—награда перстенькомъ,  
Нерѣдко сто рублей иль дружество съ князькомъ,  
Который отъ роду не читывалъ другаго,  
Кромѣ придворнаго подъ часъ мѣсяцеслова;  
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ  
Печатный всякой листъ быть кажется святымъ.

Дмитріевъ осмѣиваетъ всю ихъ бездарность, изображаетъ подробно процессъ составленія оды однимъ знакомымъ ему одописцемъ...

101

И оду ужъ его тисненію предають,  
И въ одѣ ужъ его намъ ваксу продають.  
Вотъ какъ пиндарилъ онъ и всѣ ему подобны,  
Едва ли вѣзѣски надписывать способны.

Сатира эта, лучшее изъ стихотвореній Дмитріева, получила историческое значеніе. Осмѣявъ бездарныхъ слагателей одъ, она вообще уничтожила страсть писать оды и вмѣстѣ съ сочиненіями Карамзина содѣйствовала упадку ложно-классическаго направленія въ лирической поэзіи. Она всегда пользовалась особенною популярностью, помѣщалась въ хрестоматіяхъ, заучивали ея наизусть, и большая часть выраженій изъ нея употреблялись какъ пословицы.

**Пѣсни.** Пѣсни написаны Дмитріевымъ тогда, когда онъ познакомился съ Карамзинымъ. Онѣ выражаютъ уже новое, сентиментальное направленіе; по содержанію онѣ ничѣмъ не отличаются; главное достоинство ихъ заключается въ гладкихъ и легкихъ стихахъ. Лучшія изъ нихъ: „Ахъ, когда бъ я прежде знала, что любовь родитъ бѣды“; „Куда мнѣ, сердце страстно, куда съ тобой бѣжать“? „Что съ тобою, ангелъ, стало“? „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ“. „Стонетъ сизый голубочекъ, стонетъ онъ и день и ночь“. Последнія двѣ пользовались особенною популярностью и часто пѣлись современниками.

**Сказки.** О сказкахъ Дмитріева Вяземскій говоритъ: „Нигдѣ не оказалъ онъ болѣе ума, замысловатости, вкуса, остроумія, болѣе стихотворнаго искусства, какъ въ своихъ сказкахъ. Сумароковъ (Панкратій) писалъ сказки; но онѣ въ сравненіи со сказками нашего поэта то, что святошныя игрища въ сравненіи съ истинною комедіею“. Въ сказкѣ „Модная жена“ изображается, какъ молодая жена обманываетъ стараго мужа. Пролазъ, который невиннымъ ремесломъ (все ползъ, да ползъ да билъ челомъ) допелъ до права ѣздить шестеркою въ каретѣ—„человѣкъ, съ какимъ встрѣчаемся на всѣхъ перекресткахъ, на всѣхъ обѣлахъ именинныхъ и карточныхъ вечеринкахъ. Миловзоръ — образецъ всѣхъ угодниковъ дамскихъ, только съ тою разницею, что они у него не перениали искусства изъясняться правильно и красиво на языкѣ отечественномъ“<sup>1)</sup>).

Сказка „Воздушныя башни“ написана подъ вліяніемъ Шехеразады, сказки которой авторъ читалъ съ увлеченіемъ еще въ дѣтствѣ:

Какъ сказки я ея любилъ:  
Читая ихъ... прощай учитель,

<sup>1)</sup> Вяземскій, I, 144—146.

Симбирскъ и Волга!... все забылъ!  
Уже я всей вселенной зритель...

Сказка очень забавна и игрива, написана легкими стихами на тему, какъ мечтатель Альнаскаръ разметался до того, что въ одинъ мигъ уничтожилъ свой коробъ съ хрустальной посудой, а съ нимъ и свои воздушныя башни, которыя онъ строилъ на немъ въ своемъ воображеніи. Здѣсь между прочимъ о своихъ сказкахъ Дмитріевъ замѣчаетъ:

Я знаю, что онъ не важенъ, бесполезенъ;  
Но все ли одного полезнаго искать?  
Для сказки и того довольно,  
Что слушаютъ её безъ скуки, добровольно,  
И можетъ иногда улыбку съ насъ сорвать.

Сказка „Причудница“, по замѣчанію Л. Н. Майкова, переведена изъ сказки Вольтера *La bégueule* <sup>1)</sup>. Она написана на тему,

Что мы всегда чужой завидуя судьбѣ  
И новыхъ благъ желая,  
Изъ доброй воли въ адъ влечемъ себя изъ рая.

Вѣтра, съ малыхъ лѣтъ избалованная всякимъ довольствомъ, ничѣмъ не была довольна и желала, сама не зная чего. Чтобы излечить её отъ этой болѣзни, крестная мать ея, волшебница Все-вѣда, усыпила её на три дня, представивши ей во снѣ дворецъ феи, который ей страшно надоѣлъ. Въ описаніи дворца слишкомъ замѣтно подражаніе „Душенькѣ“ Богдановича, котораго и вспоминаетъ авторъ. Сказка написана въ игриво-шутливомъ тонѣ, который мѣстами сбивается на балагурство. Фантастическій элементъ сказки показываетъ, что авторъ читалъ Шехеразadu. Сказки Дмитріева были первыми попытками повѣсти въ стихахъ, какъ повѣсти Карамзина, Бѣдная Лиза и Наталья боярская дочь, стали первыми повѣстями въ прозѣ. Характеровъ въ этихъ повѣстяхъ нѣтъ; дѣйствующія лица обозначаются иносказательно, часто очень фигурными и изысканными именами (ярлыки, влички): Пролазъ, Милловзоръ, князь Вѣтровъ, Вѣтра, Все-вѣда, Сердечкинъ. Направленіе въ повѣстяхъ дидактическое; тогда была мода подѣ шутливой, комической или сатирической маской проводить какое-нибудь поученіе на ту или другую тему. При этомъ авторъ при описаніяхъ порока иногда слишкомъ вдавался въ соблазнительныя подробности, такъ что онѣ совершенно закрывали поученіе, захватывая все вни-

---

<sup>1)</sup> Батюшковъ, II, 398.

маніе читателя, и, разумѣется, приводили къ цѣлямъ совершенно противоположнымъ благочестивому намѣренію писателя. Это сказалось, хотя далеко не такъ рѣзко, какъ у другихъ, и у Дмитріева, особенно въ его Модной женѣ.

Дмитріевъ написалъ много посланій, надписей, эпиграфій и другихъ мелкихъ стихотвореній. Вяземскій придаетъ имъ большое значеніе. „Въ сихъ игрушкахъ ума не замѣчается трудъ авторскій; кажется, что стихи написаны не перомъ рачительнымъ, а набросаны рукою легкою и своевольною. Въ надписяхъ и эпиграммахъ и другихъ мелкихъ стихотвореніяхъ поэтъ нашъ открылъ дорогу своимъ преемникамъ. До него не умѣли ни хвалить такъ тонко, ни насмѣхаться остроумно“ <sup>1)</sup>. Изъ надписей Дмитріева лучшая и болѣе характерная—уже приведенная нами выше надпись къ портрету Хераскова, а изъ эпиграфій лучшія—двѣ эпиграфи Богдановичу.

**Басни Дмитріева.** Но больше всего удалась Дмитріеву басня; эта форма болѣе другихъ формъ и подходила къ его дидактическому характеру. „Басни И. И. Дмитріева, если бы онъ и не оставилъ другихъ памятниковъ поэтическихъ, служили бы доказательствомъ, что его гибкое дарованіе способно къ разнообразнымъ измѣненіямъ. Кажется, неоспоримо, что онъ первый началъ писать у насъ басни съ правильностію, красотію и поэзіей въ слогѣ“ <sup>2)</sup>. Лучшими баснями Вяземскій признаетъ: „Дубъ и трость“; „Пѣтухъ, Котъ и Мышенокъ“; „Мышь, удалившаяся отъ свѣта“; „Чижикъ и заяблицъ“; „Лиса проповѣдница“; „Два голубя“; „Человѣкъ и конь“; „Исторія“; „Прохожій“; „Два друга“; „Котъ, Ласточка и Кроликъ“; „Воспитаніе Льва“; „Старикъ и трое молодыхъ“; „Искатели Фортуны“; „Царь и два пастуха“ <sup>3)</sup>. Говоря объ отношеніи Дмитріева къ Крылову, Вяземскій замѣчаетъ: „Крыловъ нашелъ языкъ выработанный, многія формы его готовыя, стихосложеніе—хотя и нынѣ еще у насъ довольно упорное, но уже сколько-нибудь смягченное опытами силы и мастерства“ <sup>4)</sup>.

О свойствахъ повзні Дмитріева Вяземскій говоритъ: „Вотъ они: правильность языка, красивость слога, свобода стихосложенія, вѣрный вкусъ, умъ острый и замысловатый, воображеніе не стремительное, но живое, насмѣшливость не язвительная, но колкая, совершенство отдѣлки и вообще тотъ глянецъ искусства, который преимущественно замѣтенъ въ твореніяхъ французовъ, и придаетъ послѣдній блескъ красотѣ, какъ художественная оправка удваиваетъ достоинство драгоценнаго камня“ <sup>5)</sup>. Если эта похвала вообще можетъ считаться преувеличенною, то все, что сказано о

---

<sup>1)</sup> Сочин. Вяземскаго, ч. I, 134. <sup>2)</sup> Тамъ же, 135. <sup>3)</sup> Тамъ же, 139.

<sup>4)</sup> Тамъ же, 144. <sup>5)</sup> Тамъ же, 149.

достоинствахъ языка и слога, совершенно справедливо: Дмитріевъ дѣйствительно весьма много усовершенствовалъ языкъ и слогъ стихотвореній, сообщивъ имъ правильность и разнообразіе, легкость и свободу; въ этомъ отношеніи его имя стоитъ на ряду съ именемъ Карамзина, который усовершенствовалъ языкъ и слогъ прозаическій. Но что касается его поэзіи вообще, то, „въ стихахъ его замѣчается, какъ онъ самъ сознается въ своихъ Запискахъ, скудость въ идеяхъ, и болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того, говоритъ онъ, послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы“ <sup>1)</sup>. Дмитріевъ былъ весьма умный и литературно-образованный писатель. Онъ любилъ и умѣлъ излагать свои мысли и чувства въ хорошихъ изящныхъ стихахъ. Его стихотворныя изложенія въ сравненіи съ плодовитыми и черезчуръ широкովѣщательными современныхъ ему писателей отличаются сдержанностью, умѣренностью и краткостью, которыя часто доходятъ до сухости. Въ этомъ отношеніи стихи его напоминаютъ стихи Хемницера, и при чтеніи ихъ представляется, что какъ будто ихъ писалъ не русскій человѣкъ, не любящій и не знающій мѣры, но аккуратный нѣмецъ, все заключающій въ границы, даже увлеченія чувства и страсти. То, что Вяземскій сказалъ о біографическихъ Запискахъ Дмитріева, что онъ писалъ ихъ во фракѣ, какъ Державинъ писалъ свои Записки въ халатѣ, можетъ быть приложено и къ другимъ сочиненіямъ Дмитріева; въ характерѣ писателя выражается весь человѣкъ.

### В. А. ОЗЕРОВЪ.

Вяземскій называетъ Озерова преобразователемъ русской трагедіи и сравниваетъ его заслуги съ заслугами Карамзина, преобразователя русскаго прозаическаго языка. Этотъ отзывъ, конечно, страдаетъ преувеличеніемъ; но въ немъ есть своя часть правды: Озеровъ далъ лучшіе образцы русской трагедіи въ новомъ, хотя также одностороннемъ направленіи; слѣдуя формамъ ложно-классической французской драмы, онъ внесъ въ свои трагедіи элементъ сантиментальный.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ <sup>2)</sup> (1770—1816) родился въ Тверской губерніи, получилъ свое образованіе въ Кадетскомъ

<sup>1)</sup> Взглядъ на мою жизнь. Записки И. Н. Дмитріева. 1866, стр. 92.

<sup>2)</sup> Сочиненія Озерова были издаваемы нѣсколько разъ. Всѣ изданія перечислены въ Истор. хрестоматіи Галахова II, 208. Мы пользовались изданіемъ Смирдина 1846 г. Объ Озеровѣ см. въ Исторіи основанія русскаго театра Карабанова 1849 г.; у князя Вяземскаго: Сочиненія т. I; у Л. Н. Майкова: Сочиненія Батюшкова, томъ I.

Пресы Озерова: онъ зараженъ иррат. вми.  
рут. и икерб. д. Гор. члов.  
Онъ заимствъ вѣтхихъ вырвд. ку вѣдъ

105  
корпусъ и преимущественно на французской литературѣ, и самое первое стихотвореніе его было написано по французски. Изъ русскихъ же писателей первыми учителями его въ языкъ и словесности были Княжнинъ и Болтинъ, позднѣе онъ познакомился съ Державиннымъ, Дмитриевымъ и Карамзиннымъ. Самое чтеніе французскихъ романовъ и сильная платоническая любовь къ одной женщинѣ, на которой онъ не могъ жениться, потому что она была замужняя, имѣли вліяніе на складъ его сентиментальнаго характера и сообщили романическій цвѣтъ всей его поэзіи. Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ военной службѣ, онъ перешелъ въ гражданскую, въ которой также оставался недолго. По выходѣ въ отставку, онъ долго страдалъ разстройствомъ умственныхъ способностей; глубокая чувствительность, бывшая источникомъ его дарованій, была вмѣстѣ съ тѣмъ источникомъ его мученій. Жуковский смерть Озерова приписываетъ чувствительности и печали, испытанной имъ отъ завистниковъ:

Чувствительность его сразила,—  
Чувствительность, которой сила  
Моими душу создала,  
Пѣвцу погибелью была....

Между врагами его современники называютъ Шаховскаго, который былъ упорнымъ ревнителемъ классической школы и самымъ яркимъ ненавистникомъ и гонителемъ школы сентиментальной и непріязненно относился къ Карамзину и Жуковскому<sup>1)</sup>. Интриги партій особенно обнаружались послѣ перваго представленія „Поликсены“, которую Озеровъ считалъ лучшимъ своимъ произведеніемъ, но которая принята была на сценѣ довольно холодно. Въ 1808 г. Озеровъ уѣхалъ въ Красный Яръ, въ имѣніе своего отца, находившееся въ Чистопольскомъ уѣздѣ Казанской губерніи; здѣсь онъ и скончался въ 1816 г.—Первою трагедіею Озерова была „Смерть Олега Древлянскаго“, представленная на Петербургскомъ театрѣ въ 1798 г. Она написана въ стилѣ Княжнина и отличается больше его недостатками, чѣмъ его достоинствами. Первою трагедіею, доставившею славу Озерову, была трагедія „Эдипъ въ Афинахъ“; за нимъ слѣдовали: „Фингалъ“, „Дмитрій Донской“ и „Поликсена“. Въ собраніи сочиненій Озерова (изданіе Смирдина 1846 г.), кромѣ трагедій, помѣщены еще: переводъ героиды Коллардо „Эдонза къ Абляру“, четыре оды и четыре басни.

Основа трагедіи „Эдипъ въ Афинахъ“ взята изъ классической Оивской легенды о царѣ Лайѣ и сынѣ его, Эдипѣ. Вотъ эта ле-

<sup>1)</sup> Извѣстна также пародія на „Димитрія Донскаго“. — „Митюха Валдайской“, написанная П. Семеновымъ. Перевѣдана Ефремовымъ въ 1878 г.

генда, какъ она изложена въ трагедіяхъ Софокла. ~~Оивскій~~ царь Эдипъ, по случаю моровой язвы, свирѣпствующей въ Оивахъ, представляется принимающимъ искреннее отеческое участіе въ бѣдствіяхъ своего народа. Но оракулъ Дельфійскій возвѣщаетъ, что язва въ Оивахъ не прежде прекратится, — какъ будетъ наказанъ убійца царя Лайя, предшествовавшаго Эдипу на Оивскомъ престолѣ. Эдипъ предъ всѣмъ народомъ даетъ торжественную клятву непременно отыскать виновнаго и предать его заслуженной казни. И вотъ мало по малу начинается раскрываться несчастная судьба Эдипа. Предвѣщатель Тирезій, призванный для обличенія преступника, объявилъ, что этотъ преступникъ самъ Эдипъ; но слова его, въ жару гнѣва сказанныя и съ гнѣвомъ принятыя, сочтены клеветою и злымъ умысломъ враговъ. Вскорѣ потомъ Эдипъ, разговаривая съ своей женой Іокастой, которая прежде была женой Лайя, начинаетъ уже дѣйствительно опасаться за себя, когда узнаетъ отъ нея обстоятельства Лайевой смерти, вспоминаетъ объ убійствѣ, учиненномъ имъ точъ въ точъ при такихъ же обстоятельствахъ. Судьба Эдипа проясняется; однако жъ отъ совершенной увѣренности въ преступленіи удерживаетъ его одно обстоятельство. Эдипъ сынъ Коринескаго царя, Полиба; такъ думаетъ о себѣ онъ самъ; такъ думаютъ всѣ окружающіе его; между тѣмъ, по предсказанію оракула, Лай долженъ былъ умереть отъ руки сына своего. Слѣдовательно убійцей Лайя не можетъ быть Эдипъ. Правда, Іокаста рассказываетъ, что у нея отъ Лайя былъ сынъ; но сынъ этотъ, по ея словамъ, погибъ еще въ младенчествѣ, брошенный, по приказанію отца, на непроходимую гору. Нужно было доказать, что этотъ сынъ Лайя, котораго считаютъ погибшимъ въ младенчествѣ, есть самъ Эдипъ. Къ этому роковому открытію приводитъ Эдипа посолъ, прибывшій изъ Коринеа съ вѣстью о смерти тамошняго царя, Полиба, и съ предложеніемъ ему престола отъ лица Коринейянъ. Между прочимъ посолъ открываетъ, что Полибъ и Меропа, его супруга, которыхъ Эдипъ считаетъ за своихъ родителей, не суть истинные его родители, но что онъ обязанъ имъ только воспитаніемъ, что онъ еще въ младенчествѣ взятъ ими изъ рукъ одного пастуха, пасшаго стада подлѣ горы Кибиронской. Для повѣрки этого извѣстія Эдипъ приказываетъ привести того самаго пастуха, который отдалъ сына Лайева одному коринейнину. Тотъ подтверждаетъ все сказанное посломъ касательно передачи младенца. Открывается, что этотъ младенецъ былъ сынъ Лайя и Іокасты, котораго родители, испуганные ужаснымъ на счетъ его предсказаніемъ, именно, что онъ убьетъ своего отца и женится на своей матери, поручили было ему для умерщвленія, но что онъ изъ жалости спасъ ему жизнь, сдавши на руки коринейнину. Эдипъ узнаетъ, что онъ убійца отца, мужъ своей матери и братъ своимъ дѣтямъ. Неслы-

ханный неумышленный злодѣй выкалываетъ себѣ глаза, оставляетъ престолъ и въ одеждѣ нищаго странствуетъ изъ одного мѣста въ другое, руководимый дочерью своими Антигоной и Исменой. вмѣсто Эдипа Фивскій престолъ занялъ сынъ его Полиникъ, который выгналъ Эдипа изъ Фивъ; но братъ Полиника Этеоклъ, соединившись съ Креономъ, составилъ заговоръ противъ Полиника и самого его выгналъ изъ Фивъ. Началась борьба между братьями изъ за обладанія Фивами и привела къ войнѣ. Семь предводителей предъ началомъ войны спрашивали оракула, который отвѣтилъ, что побѣдителемъ будетъ тотъ, на чью сторону перейдетъ Эдипъ. Судьба сжалилась надъ Эдипомъ, позволила ему умереть тихо и спокойно, и опредѣлила, что смерть его послужитъ условіемъ побѣды для того народа, земля котораго будетъ ему могилой. Эдипъ, изнуренный годами и страданіями, приходитъ въ Аттику, въ окрестности небольшого селенія Колона и останавливается въ рощѣ, посвященной Эвменидамъ. Въ этой сторонѣ ему суждено найти пристанище и конецъ жизни. Креонъ убѣждаетъ Эдипа перейти въ Фивы и принять въ борьбѣ сторону Этеокла; но Эдипъ отказывается. Возмущенный этимъ отказомъ, Креонъ отнимаетъ у Эдипа дочерей; но Тезей, царь Аѣнскій, возвращаетъ ихъ Эдипу и проситъ у него позволенія представить человѣка, который умоляетъ съ сокрушеннымъ сердцемъ боговъ дать ему возможность увидѣть Эдипа. Эдипъ догадывается, что это долженъ быть Полиникъ; онъ не хочетъ и видѣть Полиника, и если соглашается допустить его къ себѣ, по просьбѣ любимой дочери своей Антигоны, то только для того, чтобы произнести надъ нимъ проклятіе. „Не ты ли, злодѣй, выгналъ своего отца? Не ты ли довелъ меня до нищенства?... И не будь у меня этихъ двухъ дочерей, — я умеръ бы съ голода и все отъ твоей вины... Нѣтъ, не видать тебѣ никогда Фивскихъ стѣнъ, которыя ты идешь осаждать! Оба вы съ братомъ вашимъ погибнете подъ этими стѣнами, плавая одинъ въ крови другаго. Вотъ проклятіе, которое я произношу надъ вами, чтобы научить васъ, какъ уважать тѣхъ, кому вы обязаны жизнію, и не презирать вашего отца, потому что онъ слѣпъ и немощенъ“. За этимъ проклятіемъ послѣдовалъ громъ, и Эдипа не стало. Этеоклъ и Полиникъ, по предсказанію Эдипа, дѣйствительно погибли въ междоусобной войнѣ подъ стѣнами Фивъ. Креонъ издалъ повелѣніе, чтобы никто не смѣлъ хоронить трупъ Полиника, какъ врага отечества, но Антигона, не смотря на всѣ убѣжденія Исмены покориться этому повелѣнію, похоронила Полиника, по любви къ брату, слѣдуя не царскому закону, а закону, начертанному самою природою въ сердцѣ человѣческомъ, и какъ преступница предана смерти. Такъ погибъ, по волѣ судьбы, весь родъ Эдипа. Изъ этой легенды Софоклъ составилъ свою трилогію, состоящую изъ трехъ



трагедій: Эдипъ царь, Эдипъ Колонскій и Антигона. Трагедія Озерова представляетъ передѣлку второй трагедіи Софокла: „Эдипъ Колонскій“. Но Озеровъ не самъ непосредственно передѣлалъ греческаго Эдипа; онъ самъ даже не зналъ греческаго языка; онъ взялъ своего Эдипа изъ французскаго трагика Дюси. Изъ Дюси же взяты и тѣ новыя черты и весь колоритъ, съ какимъ являются у него всѣ дѣйствующія лица трагедіи. Дюси принадлежалъ къ тогдашней сантиментальной школѣ поэзій; подъ вліяніемъ сантиментальной поэзій измѣнилось все міросозерцаніе античной легенды; строгія и величавыя личности царя Эдипа и др., какъ орудія неумолимой судьбы, утратили свой характеръ и явились нѣжными и чувствительными. Такими же онѣ являются и въ трагедіи Озерова. Эдипъ изображается какъ величайшій преступникъ: онъ убилъ своего отца и женился на своей матери; но по основному смыслу греческой легенды этотъ величайшій преступникъ совершенно не виновенъ; его преступленія—дѣло судьбы, проклятіе которой тяготѣло надъ всѣмъ домомъ Лайя. Не признавая себя виновнымъ, Эдипъ спокойно говоритъ о своихъ преступленіяхъ и сурово относится къ своимъ дѣтямъ, которые возстали противъ него, и также спокойно изрекаетъ имъ свое провѣщаніе. Но у Дюси и Озерова Эдипъ является глубоко сознающимъ всю тяжесть своихъ преступленій и совершенно отвѣтственнымъ предъ своею совѣстію. Въмѣсто суроваго и строгаго старца - отца у Дюси является слабый, страдающій, чувствительный старецъ; у него нѣтъ того ожесточенія противъ дѣтей, какъ у Софоклова Эдипа; онъ невольно уступаетъ Антигонѣ, умоляющей его простить ея брата, Полиника. Смерть Эдипа у Софокла облечена покровомъ тайны; могила его должна остаться ни для кого неизвѣстною; у Дюси нѣтъ этой таинственности; Эдипъ умираетъ подъ ударами грома. Измѣненъ у Дюси также и характеръ Антигоны. Въ Антигонѣ Софокла представленъ типическій образецъ дочери, любящей своего отца; кротость и добродушіе и въ тоже время строгость составляютъ ея отличительныя черты. Она говоритъ мало; въ ея любви и преданности нѣтъ ничего восторженнаго, потому что любовь и преданность составляютъ у нея долгъ. Когда Эдипъ умеръ, зритель видитъ Антигону на колѣняхъ; склонивъ голову на грудь, она оплакиваетъ того, кто взятъ изъ міра богами. Теперь она должна была примирить враждующихъ между собою братьевъ, и она отправляется въ Оивы, гдѣ еѣ ожидаютъ новыя бѣдствія. Креонъ обвиняетъ еѣ въ нарушеніи его постановленія, запрещающаго хоронить Полиника, но это повелѣніе противно закону природы, начертанному въ сердцѣ человѣка. Изъ такого величаваго образа у Дюси вышла слабая сантиментальная дѣвушка, многорѣчивая и плаксивая. Она говоритъ длинныя рѣчи о своихъ обязанностяхъ по отношенію къ своему старому и слѣпому отцу.

Трагедія Озерова открывается на полѣ предъ Аѳинами хомъ народа къ Аѳинскому царю Тезею:

Какъ ясно солнце на восходѣ  
Весной природу всю живить,  
Такъ добрый царь въ своемъ народѣ  
Сердца приходомъ веселить.  
Тезей, Аѳинянь избавитель,  
Надменность Критскую поправъ;  
Онъ счастья нашего ожидатель:  
Законы мудре намъ далъ <sup>1)</sup>.

Является Оивскій посланникъ Креонъ и предлагаетъ Тезею вступить въ союзъ съ Этеокломъ противъ Полиника, который осадилъ Оивы съ семью вождями. Но Тезей отказывается отъ этого предложенія, не желая жертвовать жизнію своихъ подданныхъ для защиты чужихъ царствъ; а за цѣлость своего царства онъ не боится.

Мой мечъ союзникъ мнѣ  
И подданныхъ любовь къ отеческой странѣ.  
Гдѣ на законахъ власть царей установлена,  
Сразить то общество не можетъ и вселенна <sup>2)</sup>.

Это составляетъ содержаніе перваго дѣйствія. Второе дѣйствіе происходитъ на томъ же полѣ около храма Эвменидъ. Здѣсь Эдипу богами было суждено найти успокоеніе отъ своихъ продолжительныхъ физическихъ и нравственныхъ страданій. Между Эдипомъ и Антигоной происходитъ слѣдующій разговоръ, въ которомъ обрисовывается характеръ душевнаго состоянія и взаимныхъ отношеній слѣпца-отца и его дочери. Утомленный долгимъ путемъ Эдипъ говоритъ Антигонѣ:

Постой, дочь нѣжная преступнаго отца,  
Опора слабая несчастнаго слѣпца!  
Печаль и бѣдствія всѣхъ силъ меня лишили.  
.....

Печальну жизнь влечить недостаетъ мнѣ силъ.  
Слѣпецъ, чтобъ слезы лить, остались мнѣ очи;  
Дни ясны для меня подобны мрачной ночи.  
Нѣтъ, никогда уже мой не увидитъ взоръ  
Ни красоты долинъ, ни возвышенныхъ горъ,  
Ни въ вешній день лѣсовъ зеленыя одежды,  
Ни съ жатвою полей оратаевъ надежды,  
Ни мужа кроткаго пріятнаго чела,

---

<sup>1)</sup> Сочин. Озерова. 1846 г., стр. 5. <sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 15.

Котораго боговъ рука прозавела;  
Сокрылись отъ меня всѣ прелести природы.  
При имени моемъ всѣ возстаютъ народы:  
Какъ язва лютаѣ отъсюду я гонимъ!  
.....

Ты утѣшеніе мнѣ, любезна Антигона,  
Противъ гоненія одна мнѣ оборона,  
Одна сопутница моеѣ ты нищеты.  
Для странника-отца забыла счастье ты,  
Санъ свѣтлый, царскій дворъ и юности забавы:  
Одно намъ рубище отъ всей осталось славы.

Антигона.

Ахъ, не жалѣю я о пышной славѣ той!  
Горжусь симъ рубищемъ, моею нищетою;  
Предпочитаю ихъ сіянію короны.  
Опорою быть твоеѣ—вотъ счастье Антигоны,  
Вотъ титло славное превыше титловъ всѣхъ!  
Спокойствіе твое дороже мнѣ утѣхъ.  
Увы, родитель мой, гонимъ людьми, судьбою,  
Безъ помощи моеѣ, чтобъ сдѣлалось съ тобою!  
Ты древнюю главу къ кому бы преклонилъ?  
На чью, на чью бы грудь ты слезы уронилъ?  
Прохлады въ жаркій день въ моеѣ ты ищешь тѣни;  
Я сяду, ты главу мнѣ склонишь на колѣни;  
Среди густынъ лѣсовъ, въ жестокость бурныхъ зимъ,  
Ты согрѣваемъ мной, дыханіемъ моимъ.  
Ахъ, свѣтъ, забывшій насъ, взаимно мы забудемъ  
И утѣшеніемъ одинъ другому будемъ!  
Ко мнѣ ты проливай свою сердечну боль,  
Но мнѣ защитою твоею быть дозволю!  
Не позавидую въ моеѣ тогда я долѣ  
И братьевъ участи, сѣдящихъ на престолахъ.

Эдипъ.

.....  
Приди, о дочь моя, приди, мое рожденіе,  
Да будетъ надъ тобой боговъ благословеніе!  
Живой отрадою наполнила мнѣ грудь.  
Любви къ родителю въ примѣръ потомству будь!  
О имени твоемъ повѣдаютъ народы,  
И похвала твоя пройдетъ изъ рода въ роды<sup>1)</sup>.

Граждане Аѣинскіе, узнавъ, что въ ихъ страну пришелъ гонимый судьбою и проклятый всѣми Эдипъ, просятъ его немедленно удалиться. Въ горести Антигона обращается къ Аѣинскому царю Тезею и проситъ его принять ея несчастнаго отца подъ свою за-

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 16—19.

щиту. Тезей соглашается на ее просьбу и принимает Эдипа. Между тѣмъ Креонъ, узнавъ, что судьбою опредѣлено, чтобы могла Эдипа сдѣлаться залогомъ счастья и благоденствія для той страны, гдѣ онъ будетъ похороненъ, хочетъ похитить Эдипа и увести его въ Фивы, а Антигону принести въ жертву, требуемую Эвменидами, сыновей же Эдипа погубить во взаимной враждѣ и послѣ нихъ занять Фивскій престолъ. Но Эдипъ давно уже знаетъ коварный нравъ Креона и, предвидя его злобныя интриги, отказывается отъ предложенія отправиться съ нимъ въ Фивы. Онъ приходитъ въ негодованіе, когда Креонъ сказалъ, что онъ долженъ разстаться съ Антигоной.

Чтобы разстался днесъ я съ дочерью моею,  
Съ единымъ благомъ, чѣмъ я на землѣ владѣю,  
Съ моею опорой, съ отрадой мнѣ одной,  
Противъ отчаянья оставленной судьбой?  
Тѣснѣ связанъ съ ней, чѣмъ узами рожденья:  
Я узломъ соединенъ ея благотворенья.  
Въ ней зрю не только дочь, она мнѣ мать, отецъ,  
Сестра, и другъ, и все, что мило для сердецъ,  
И все, чего меня злодѣйства, рокъ, безсмертны,  
Неблагодарный градъ, сыны жестокосерды  
Лишили наконецъ изгнаніемъ изъ Фивъ.  
Я ею лишь дышу, я ею только живъ.  
И ты разстаться съ ней мнѣ, варваръ, предлагаешь?  
Терзать меня, увн, какъ ты искусство знаешь!  
Нѣтъ, лучше бы, злодѣй, извлеки острый мечъ,  
Не дрогнувъ, жизнь мою стремился ты пресѣчь,  
Чѣмъ смѣть мнѣ предлагать толь горестну разлуку.  
Приди, о дочь моя, приди, подай мнѣ руку,  
Дай мнѣ увѣриться, что я еще съ тобой!  
Склони главу ко мнѣ и сердце успокой!  
Нѣтъ, смертію одной мы будемъ разлучены<sup>1)</sup>.

Не видя возможности убѣдить Эдипа словами, Креонъ хочетъ увести его силою и приказываетъ войнамъ взять его. Въ это время къ нимъ бросается Антигона:

Постойте, варвары, пронзите грудь мою:  
Любовь къ отечеству довольствуйте своею!  
Не внемлютъ и бѣгутъ поспѣшно по должнѣ;  
Не внемлютъ, и мой вопль теряется въ пустынѣ.  
Есть громы... но въ сей часъ на небѣ тишина;  
Есть боги... и земля злодѣямъ предана,  
И стонутъ слабыя у сильныхъ подъ рукою!

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 41—42.

Уви, что я, гдѣ я! Что станется со мною?  
Забыта братьями, оставлена роднѣй,  
Извержена изъ Оивъ, въ странѣ, въ странѣ чужой  
Жизнь горестну вести и умирать мнѣ должно.  
Съ родителемъ моимъ сносить бы все возможно.  
Жестокій гнѣвъ боговъ, гоненіе людей  
Лишь твердость новую несли душѣ моей:  
Несчастье было мнѣ наставникомъ въ терпѣннѣ.  
Но безъ родителя, въ моемъ теперь мученьи,  
Лишенная надеждъ... мой духъ во мнѣ унылъ,  
Ударъ жестокой сей молніи превыше силъ,  
И всѣми чувствами отчаянье влады.... (Увидя Тезея)  
Иль небо шлетъ ко мнѣ для помощи Тезея? <sup>1)</sup>

Является Тезей и, узнавъ о похищеніи Эдипа, отправляется въ погоню за Креономъ и возвращаетъ Эдипа.

Во время отсутствія Эдипа къ Антигонѣ, находившейся во дворцѣ Тезея, явился Полиникъ и упросилъ Антигону обратиться къ отцу и вымолить у него прощеніе ему. Судьбою определено было, что при осадѣ Оивъ побѣда останется за тѣмъ изъ братьевъ, на сторону котораго перейдетъ Эдипъ. Но Эдипъ, уступивъ просьбѣ Антигоны допустить Полиника къ себѣ, не могъ простить его и перейти на его сторону въ борьбѣ съ Этеокломъ:

Меня склонить къ себѣ ты тщетно уповаешь.  
Сей скиитръ, который мнѣ толь щедро предлагаешь,  
Не я ль оставилъ самъ, не я ли вамъ вручилъ?  
Не я ли дней моихъ покой вамъ поручилъ,  
Быть съ вами навсегда одной считавъ отрадой?  
Неблагодарные, что было мнѣ наградой?  
Презрѣнье, ненависть, изгнанье и позоръ!  
Коль смѣешь, ты на мнѣ останови свой взоръ!  
Зри ноги ты мои, скитавшіеся изъязвленные;  
Зри руки, милостивъ прошенъ утомленные;  
Ты зри главу мою, лишенную волосъ:  
Ихъ несущила грусть и вѣтеръ ихъ разнесъ!  
Тѣмъ временемъ, тебя какъ услаждала нѣга,  
Твой изгнанный отецъ, безъ пищи, безъ ночлега,  
Не зная, куда главу несчастну преклонить:  
Повсюду долженъ былъ вашъ стыдъ съ собой влечь;  
И дебри темныя, и глубины пещеринъ,  
Природа зрѣла вся злодѣйства безпримѣрны.  
Иди, жестокой сынъ! усугубляй вини,  
Будь истребителемъ отеческой страны,  
Союзниковъ своихъ веди противу брата,

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 44.

Яви еще примѣръ неслыханна разврата!  
Но тамъ, у Ѡивскихъ стѣнъ, не тронъ тебѣ готовъ:  
Десница мстящая тамъ ждетъ тебя боговъ <sup>1)</sup>.

Между тѣмъ народъ аѣинскій, считая причиною всѣхъ бѣдъ-  
ствій страны то, что въ ней поселился проклятый богами и людь-  
ми Эдипъ, потребовалъ, чтобы для умиловленія боговъ была  
принесена въ жертву дочь его, Антигона. Невыразимо поразило  
Эдипа это жестокое требованіе, но Антигона покорно соглашается  
на него, если аѣиняне успокоятъ ее отца. Она говоритъ:

Граждане, вами бывъ на смерть осуждена,  
Какъ ни ужасна смерть, какъ участь ни сурова,  
Безъ ропота и слезъ принять ее готова.  
Мнѣ жизнь казалась тѣмъ отрадна и мила,  
Что утѣшеніемъ быть родителю могла,  
Что онъ на грудь мою слагалъ свои печали.  
Сію пронзая грудь, вы право днесъ мнѣ дали  
Аѣинцамъ поручить отца несчастны дни.  
Залогомъ вѣрнымъ пусть пребудутъ вамъ они  
Союза страшнаго, союза смерти лютой,  
Который съ вами я сей совершу минутой.  
Такъ, жители Аѣинъ, я заклинаю васъ  
Предъ жертвенникомъ симъ, въ торжественный сей часъ,  
Передъ лицомъ богинь, теперь во храмѣ сущихъ,  
Предъ сонмомъ всѣхъ боговъ, меня у гроба ждущихъ,  
Чтобы хранили вы родителя покой,  
Блюли его главу, гнетомую тоской!  
Тогда лишь смерть моя вамъ можетъ быть полезна:  
Не то для васъ она на вѣки будетъ слезна <sup>2)</sup>.

Но въ то время, какъ жрецы готовятся совершить обрядъ  
жертвоприношенія, прибѣгаетъ въ храмъ Полиникъ и хочетъ за-  
колоть себя, вмѣсто Антигоны, но его останавливаетъ Эдипъ и,  
выслушавъ его глубокое раскаяніе во всѣхъ злодѣяніяхъ, проща-  
етъ его и требуетъ, чтобы его самого принесли въ жертву Эвме-  
нидамъ, такъ какъ онъ самъ служить виною всѣхъ бѣдъствій стра-  
ны. Но когда Эдипа уже повели къ алтарю, приходитъ въ храмъ  
Тезей вмѣстѣ со взятымъ въ плѣнъ Креономъ и говоритъ, что  
такъ какъ виною всѣхъ бѣдъствій служить Креонъ, который воз-  
двигъ междоусобіе въ странѣ, разсоривъ братьевъ и внушивъ имъ  
изгнать отца, то онъ и долженъ быть принесенъ въ жертву Эвме-  
нидамъ. Небесный громъ поражаетъ Креона и утверждаетъ спра-  
ведливый приговоръ Тезея.

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 58—59. <sup>2)</sup> Стр. 66.

Такимъ образомъ окончаніе трагедіи Озерова отличается отъ Эдипа Колонскаго Софокла, у котораго Эдипъ умираетъ таинственною смертію и его могила остается никому неизвѣстною, и отъ Эдипа Дюси, у котораго Эдипъ умираетъ подъ ударами грома. Въ трагедіи Озерова вмѣсто Эдипа умираетъ Креонъ, о которомъ извѣстно, что онъ царствовалъ въ Фивахъ послѣ Этеокла и Полиника. Кромѣ Дюси на трагедіи Озерова видно вліяніе оперы Саккини „Эдипъ въ Колонѣ“. Все первое явленіе перваго дѣйствія, въ которомъ изображается разговоръ Эдипа съ Антигоною, почти буквально заимствованъ оттуда. — Не смотря на указанные недостатки, „Эдипъ въ Фивахъ“ Озерова у современниковъ пользовался великимъ уваженіемъ. Причина этого заключалась, конечно, прежде всего въ самомъ сюжетѣ трагедіи—въ величавомъ и чрезвычайно интересномъ мифѣ объ Эдипѣ, въ которомъ чрезвычайно много обще-интересныхъ общечеловѣческихъ чертъ, а потомъ—въ необыкновенно симпатичномъ изображеніи характеровъ Эдипа и Антигоны и вообще въ изложеніи всего сюжета. Правда, это изложеніе сдѣлано подъ вліяніемъ тогдашняго сентиментальнаго направленія, вслѣдствіе котораго самые характеры и духъ трагедіи потеряли свой строгій классическій характеръ и приблизились къ современнымъ литературнымъ типамъ; но, можетъ быть, потому они особенно и нравились современникамъ, которые находили въ нихъ глубоко чувствительныя и нѣжныя свойства.

Вяземскій объ „Эдипѣ въ Фивахъ“ говоритъ, что „трагедія эта въ первый разъ была представлена на Петербургскомъ театрѣ въ 1804 году и вскорѣ послѣ этого напечатана при посвященіи Державину. Публика приняла ее съ живымъ удовольствіемъ... Въ одномъ изъ современныхъ періодическихъ изданій сказано было, что нѣкоторыми любителями отечественной словесности было положено собрать подписку для выбитія золотой медали въ честь автора Эдипа“<sup>1)</sup>.

Содержаніе трагедіи „Фингалъ“ взято изъ пѣсень Оссіана, которыя, какъ мы указали выше, еще въ Екатерининскую эпоху переведены были на русскій языкъ Костровымъ. Уже въ Державинѣ мы замѣтили сочувствіе къ героямъ этихъ пѣсень. Но между всѣми героями Оссіана особенно привлекаетъ къ себѣ симпатію Фингалъ, который во всей оссіановой поэзіи играетъ роль сѣвернаго Ахиллеса. Его-то Озеровъ и выбралъ героемъ своей трагедіи. Владыка Морвенны, Фингалъ побѣдилъ Ловлинскаго царя, Старна, убилъ сына его Тоскара и самого его взялъ въ плѣнъ. Послѣ окончанія войны Старнъ получилъ свободу, но затаилъ въ душѣ мысль при первомъ удобномъ случаѣ отомстить Фингалу за

<sup>1)</sup> Сочин. Вяземскаго, I, 40.

свой плѣнъ и за убіеніе сына. Между тѣмъ дочь Старна Моина страстно влюбилась въ Фингала, который также увлекся ея красотою и предложилъ ей свою руку. Старнъ и вздумалъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ соглашается на предложеніе Фингала, имѣя въ виду убить его въ то время, какъ онъ пріѣдетъ къ нему для совершенія брака.—Трагедія начинается хоромъ бардовъ и локлинскихъ дѣвъ, прославляющихъ силу и могущество красоты, которая побуждаетъ всѣхъ непобѣдимыхъ на войнѣ героевъ, и въ частности обаятельное могущество Моины, которая побѣдила сердце непобѣдимѣйшаго героя, Фингала. Является Фингалъ и, обращаясь къ Старну, говорить:

О, мужественный Старнъ, ты зришь, опять Фингала,  
Котораго предъ симъ лишь слава занимала,  
Котораго на брань кипѣла въ сердцѣ кровь,  
Котораго сюда ведетъ теперь любовь,  
Любовь, души моей единственное чувство!  
Краснорѣчивымъ быть мнѣ чуждое искусство.  
Во станѣ возвращень, воспитанъ на щитахъ...  
Мое искусство все безстрашнымъ быть въ бояхъ.  
Итакъ не жди, о Старнъ, чтобъ изъяснилъ я нинѣ  
Признательность къ тебѣ, любовь мою къ Моинѣ...

Старнъ говоритъ, что онъ вѣритъ его чувству, но желаетъ, чтобы, по обычаю страны, бракъ былъ совершенъ въ храмѣ боговъ:

Въ Морвенѣ божество Фингаловыхъ отцовъ  
Оставлено доднесь безъ храмовъ, безъ жрецовъ;  
Друидовъ истребивъ, ихъ властью недовольны,  
Низвергли храмы вы на ихъ главѣхъ крамольны.  
Но здѣсь покоится во храмахъ божество,  
И клятвы мы предъ нимъ свершаемъ торжество.  
Итакъ я буду ждать отъ храбраго Фингала,  
Чтобъ въ храмѣ дочь мою его рука пріяла.

Фингалъ готовъ исполнить это:

Не разсуждаю я, приличенъ ли кумиръ  
И храмъ и жертвенникъ тому, кто создалъ міръ;  
Кому, какъ вѣчный храмъ, вселенная чудесна,  
Кому возстать тѣсна и высота небесна;  
Чтобъ мыслью вознестись къ сему міровъ Творцу,  
Не прибѣгаемъ мы къ друиду или жрецу;  
Безъ нихъ несемъ ему съ зарей, на холмѣ красномъ,  
Сердца толь чистыя, какъ день при небѣ ясномъ.



Но храма твоего хочу я святость чтить,  
Коль должно въ оный мнѣ съ Мошною вступить <sup>1)</sup>.

Когда пришла Моина, онъ обращается къ ней съ такими словами:

«Дотошъ мыслью дикъ, любовь я ненавиждѣлъ,  
Считалъ ее мечтой и слабостью умовъ;  
Какъ стужа нашихъ зимъ, былъ духъ во мнѣ суровъ.  
Твой взоръ перемѣнилъ нравъ дикій и суровый:  
Онъ далъ мнѣ нову жизнь, далъ сердцу чувства новы  
И, огонь, палящій огонь проливъ въ моей крови,  
Мнѣ далъ почувствовать страданія любви,  
Уныніе, тоску, отчаянье разлуки,  
И страхъ немилымъ быть, и ревности всѣ муки.

Моина отвѣчаетъ ему:

Въ пустынной тишинѣ, въ лѣсахъ, среди свободы,  
Мы возрастаемъ здѣсь, какъ дочери природы,  
И столько-жъ искренны, сколь искренна она.  
И такъ, о государь, открыть тебѣ должна,  
Что съ перваго тебя я возлюбила взгляда.  
Къ герою страсть души высокія отрада:  
Гордясь чувствомъ симъ и радуясь ему,  
Призналась въ томъ отцу, народу и всему,  
Что въ отческой странѣ чувствительность имѣетъ,  
И праху матери, который въ гробѣ глѣдетъ,  
Природѣ, словомъ, всей извѣстна страсть моя,  
О коей небесамъ сказать готова я.  
Повѣрь, Моина здѣсь не менѣ Фингала  
Терзалась мыслию, разлукою страдала.  
Какъ часто съ береговъ, или съ высокихъ горъ,  
Я въ море синее мой простирала взоръ!  
Тамъ каждый валъ вдали мнѣ пѣною своею  
Казался парусомъ, надеждою моею,  
Но, тяжко опустясь къ глубокому песку,  
По сердцу разливалъ мнѣ мрачную тоску.  
Какъ часто въ темну ночь, печальна и уныла,  
Обманывать себя я къ морю приходила!  
Внимая шуму волнъ, біющихся о брегъ,  
Мечтала слышать въ немъ твой быстрый въ морѣ бѣгъ <sup>2)</sup>.

Но когда Фингалъ и Моина явились въ храмъ Одина, верховный жрецъ, по наученію Старпа, сказалъ, что Моина не мо-

---

<sup>1)</sup> Сочин. Озерова, стр. 87—89. <sup>2)</sup> Сочин., стр. 91—92.

жетъ быть супругою убившаго ея брата Фингала, пока Фингалъ не совершитъ торжественной тризны по Тоскарѣ и на его могилѣ не примирится съ его тѣнью. Фингалъ не хотѣлъ это дѣлать и вступилъ со жрецомъ въ жаркій споръ; но сторону жреца принялъ Старнъ, и Фингалъ долженъ былъ согласиться совершить тризну по Тоскарѣ. Во время тризны Старнъ предложилъ Фингалу отдать свой мечъ въ награду побѣдителю; Фингалъ отдалъ не только мечъ, но и боевой свой рогъ. Когда Фингалъ остался безоруженъ, по знаку Старна на него бросились воины, чтобы убить его; но онъ увидѣлъ мечъ, висѣвшій надъ могилой Тоскара, — схвативъ его, началъ защищаться. Старнъ, видя, что воины испугались, самъ съ мечемъ бросился на Фингала; но въ это время Моина явилась спасти Фингала съ отрядомъ его воиновъ. Старнъ въ бѣшенствѣ поражаетъ своимъ мечемъ Моину и самъ закалывается. Фингалъ, увидя Моину умирающею, хочетъ также умертвить себя, но бардъ Фингаловъ, Уллинъ останавливаетъ его:

Ты царь, съ народами священнымъ узломъ связанъ,  
Для подданныхъ твоихъ ты жизнь хранить обязанъ.  
Разсудка, должности днесъ гласу ты внимай!

Фингалъ.

Увы, жестокий долгъ! Мой другъ, изъ сей земли  
Ты извлеки меня, изъ сей земли плачевной;  
Но, въ облегченіе моей тоски душевной,

(указывая на тѣло Моины)

Возьми ты сей предметъ, чтобы я каждый день  
Изъ гроба возымалъ Моины легку тѣнь <sup>1)</sup>.

Непобѣдимая храбрость и мужество, честный и благородный характеръ Фингала, по своей прямотѣ не подозрѣвающаго злобныхъ и хитрыхъ козней Старна и потому довѣряющаго его обманчивымъ рѣчамъ, нѣжное чувствительное сердце Моины чрезвычайно трогали зрителей трагедіи, особенно когда роль Моины играла даровитая актриса Семенова.

Трагедія Фингалъ — въ 3-хъ дѣйствіяхъ вмѣсто 5-ти, какъ предписывалось классической теоріей драмы, представляетъ первый примѣръ нарушенія этой теоріи. За это и досталось Озерову потерпѣть много упрековъ и нападеній отъ современной критики.

О трагедіи „Фингалъ“ Вяземскій говоритъ: „Въ трагедіи

---

<sup>1)</sup> Сочин. стр. 127.

„Фингалъ“ одно только трагическое лице—Старнъ. Сынъ его Тоскаръ убитъ былъ Фингаломъ, и всѣ чувства родительскія, нѣжная любовь къ сыну, сѣтованіе о немъ соединились въ одно: въ желаніе мести. Фингалъ, побѣдитель и убійца Тоскара, влюбленъ въ его сестру, Моину, которая отвѣчаетъ его страсти. Старнъ скрываетъ свое негодованіе отъ дочери, не раздѣляющей ненависти его къ побѣдителю сына, и, вмѣсто обѣщаннаго брачнаго торжества, хочетъ принести Фингала въ жертву мести своей на холмѣ надгробномъ Тоскара. Вотъ одна трагическая сторона поэмы Озерова. Онъ съ искусствомъ умѣлъ противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему во глубинѣ печальной души преступные замыслы, взаимную и простосердечную любовь двухъ чадъ природы, искренность Моины, благородство и довѣрчивость Фингала. Онъ сочеталъ въ одной картинѣ свѣжія краски добродѣтельной страсти, владычествующей прелестью очарованія своего въ сердцахъ невинныхъ, съ мрачными красками угрюмой и кровожаднѣйшей мести, и хитрость злобной старости съ довѣрчивою смѣлостію добродѣтельной молодости<sup>1)</sup>).

Въ 1807 г., когда уже приближалась война Россіи съ Наполеономъ, Озеровъ въ трагедіи „Димитрій Донской“ воскресилъ борьбу Россіи съ Мамаемъ и знаменитую Куликовскую битву. Вотъ содержаніе этой трагедіи. Въ шатрѣ великаго князя Московскаго происходитъ совѣщаніе всѣхъ князей, собравшихся на битву съ Мамаемъ. Всѣ князья совѣтуютъ Димитрію не принимать посла Мамаю, приславшаго съ требованіемъ дани; только старый князь Бѣлозерскій, боясь пораженія, совѣтуетъ заплатить дань Мамаю, чтобы сохранить миръ и спокойствіе въ Россіи. На такой совѣтъ Димитрій отвѣчаетъ:

Ахъ! лучше смерть въ бою, чѣмъ миръ принять безчестной!  
 Такъ предки мыслили, такъ мыслить будемъ мы.  
 Прошли тѣ времена, какъ робкіе умы  
 Въ Татарѣхъ видѣли орудіе небесно,  
 Чему противиться безумно и невѣстно.  
 Но въ наши дни и честь и самой вѣры гласъ  
 Противъ мучителей вооружаютъ насъ.  
 Сей гласъ вѣщаетъ намъ, сей вѣры гласъ заветный,  
 Что павшему въ бою вѣнецъ готовъ безсмертный,  
 Что въ радость райскую чрезъ гробъ вступаетъ онъ.  
 О Сергій, пастырь душъ, кого согражданъ стонъ  
 Только разъ смущалъ среди молитвъ пустынныхъ,  
 Только слезъ извлекъ на участь неповинныхъ,

<sup>1)</sup> Сочин. Вяземскаго, I, стр. 41—42.

О ты, который намъ, священной рукою  
Явивъ, благословилъ сей предлагащій бой!  
Изъ той обители, гдѣ дни ведешь смиренны,  
Внуши мои слова: тобою вдохновенны,  
Они воспламенятъ Россійскія сердца  
Искать свободы здѣсь, или райскаго вѣнца!  
Такъ лучше жить престать, или вовсе не родиться,  
Чѣмъ племенамъ чужимъ подъ иго покориться,  
Чѣмъ званьемъ данниковъ корыстолюбымъ лститься.  
Сямъ рабствомъ ли бѣды мы можемъ отвратить?  
Кто платитъ дань, тотъ слабъ; кто слабый духъ являетъ,  
Тотъ алчность наглую къ обидѣ призываетъ<sup>1)</sup>.

Однакожь онъ приказалъ привести посла Мамаю и на его гордую рѣчь, исполненную угрозы, сказалъ:

. . . . Чудный крѣпостью и справедливый Богъ  
Поможетъ намъ сотреть гордыни вашей роги;  
Поможетъ намъ отмстить убійства, расхищенья,  
Пожары, грабежи, все роды истребленья,  
Которые отъ васъ Россія пренесла.  
Вотъ ваши подвиги, вотъ славныя дѣла,  
На что ссылаяся, вы требуете дани!  
Но брань конецъ правамъ, добытымъ черезъ брани.  
Осталось мужество единымъ намъ добромъ:  
И хану дань несемъ не златомъ, не серебромъ;  
Нѣтъ, дани для него мы собрали инныя:  
Мечи булатныя и стрѣлы каленыя.  
. . . . .  
Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:  
Кто чести, правды врагъ, тотъ врагъ конечно мой<sup>2)</sup>.

Въ совѣщаніи положено было на другой день рано утромъ напасть на татаръ и самъ Димитрій рѣшился идти во главѣ своего войска, и когда князь Бѣлозерскій сталъ останавливать его, совѣтуя поберечь себя, онъ сказалъ:

Мой долгъ: въ день мира судъ, и мужество въ день брани.  
Могу ли ратнику сказать: иди впередъ,  
Коль духу мой примѣръ ему не придаетъ?  
И если Богъ судилъ, въ своемъ благомъ совѣтѣ,  
Для счастья Россіянъ мнѣ дни продлить во цвѣтѣ,  
Чего страшитесь? Средь вражескихъ полковъ,  
Пріосланивъ меня, какъ щитъ, его покровъ.  
Идите же, друзья, и войскамъ объявите,  
Что къ утру бой рѣшенъ!<sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Сочин. Озерова, стр. 140—141.

<sup>2)</sup> Сочин., стр. 143—145. <sup>3)</sup> Стр. 147—148.

Но являясь такимъ твердымъ и мужественнымъ предъ князьями на совѣтѣ, онъ въ душѣ своей глубоко унываетъ и груститъ: онъ, какъ нѣжный и чувствительный рыцарь, влюбленъ въ Нижегородскую княжну, Ксенію, невѣсту князя Тверскаго. Эта любовь такъ въ немъ сильна, что ей онъ приписываетъ свою твердость, вызвавшую его на битву съ Мамаемъ:

Она произвела сей доблестный жартъ,  
Съ которыми я стремлюсь отечество избавить,  
Свободу возвратить и мой народъ прославить<sup>1)</sup>.

Напрасно другъ его и наперсникъ всѣхъ его тайнъ Бренскій совѣтуетъ ему заглушить эту любовь не во время да и безъ надежды, потому что Ксенія уже обѣщана отцемъ ея князю Тверскому и скоро прибудетъ въ станъ для вѣнчанія; Димитрій остается непреклоненъ и хочетъ воспрепятствовать браку. Но такое насиліе оказывается ненужнымъ, Ксенія сама любитъ Димитрія и, прибывши въ станъ, объявляетъ, что она не можетъ выйти за Тверскаго князя, которому отецъ ея обѣщалъ безъ ея согласія:

Родитель слово далъ; то слово непреложно.  
Спросился ли меня, нѣль съ сердцемъ онъ моимъ,  
Когда предположилъ мой грустный бракъ съ Тверскимъ?  
Подъ игомъ у Татаръ мы заняли ихъ нравы,  
И пола нашего межъ насъ ничтожны нравы;  
Родимся, чтобы несть въ терпѣніи яремъ  
Въ дому родительскомъ, въ супружествѣ своемъ,  
Которое всегда отцовъ рѣшится властью  
И рѣдко счастливо четы взаимной страстью<sup>2)</sup>.

Она объявляетъ объ этомъ и Димитрію и князю Тверскому и, чтобы уничтожить ихъ ревность и раздоръ, который можетъ повести къ самымъ вреднымъ послѣдствіямъ во время войны съ татарами, хочетъ идти въ монастырь. Узнавъ объ этомъ, князь Тверскій приходитъ въ неистовство и требуетъ, чтобы Димитрій своею властію заставилъ Ксенію выйти за него; въ противномъ случаѣ онъ грозитъ удалиться изъ стана со своими полками. Когда Димитрій на это замѣтилъ, что онъ не позволитъ ни Ксеніи сдѣлать насиліе, ни ему принудить еѣ къ насильному браку, то онъ возбуждаетъ противъ Димитрія всѣхъ князей, указывая имъ въ словахъ и поступкахъ его такое самовластіе, которое хуже татарскаго. Всѣ князья встаютъ противъ Димитрія и особенно князь Смоленскій:

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 150. <sup>2)</sup> Стр. 157.

Ординецъ въ алчности, горя любостыжаньемъ,  
На злато Россіянъ свой взоръ стремить съ вниманьемъ;  
Но самовластному не злато лишь предметъ:  
На всѣ дѣянія цѣль тяжкую кладетъ;  
Пути скрытными находитъ онъ искусство  
Поработить и мысль, поработить и чувство,  
И мы бѣ увидѣли въ однихъ его рукахъ  
И собственность, и жизнь, и милость намъ, и страхъ.  
Ахъ, нѣтъ: не для того сражаться мы готовы,  
Чтобъ намъ перемѣнить несомнѣя оковы,  
Чтобы владѣчества перемѣнить кумирь!  
И лучше отъ Татаръ принять хочу я миръ,  
Чѣмъ родомъ равнаго себѣ владыкой видѣть<sup>1)</sup>.

Князь Бѣлозерскій старается примирить всѣхъ князей съ Димитріемъ, онъ не видитъ другаго средства свергнуть съ себя поносное татарское иго, какъ въ соединеніи всѣхъ князей подѣ властію одного, а Димитрія проситъ принудить Ксенію выйти за Тверскаго князя, указывая на то, что такъ назначилъ отецъ Ксеніи. Но Димитрій говоритъ:

Обидными чту правы,  
Которы дѣлаютъ тирановъ изъ отцовъ  
И вводятъ ихъ дѣтей въ рептаніе рабовъ.

Кн. Бѣлозерскій:

Тѣ правы, государь, суть первыя въ природѣ,  
Священны тамъ еще, гдѣ нравственность въ народѣ.  
Чтобы о нихъ судить, ты прежде будь отцомъ,  
И святость оныхъ правъ познаешь ты потомъ  
Не разсужденіемъ, холодныхъ душъ искусствомъ,  
Но вѣрнымъ, истиннымъ, горячимъ сердца чувствомъ<sup>2)</sup>.

Всѣ хотятъ уйти изъ стана. Князь Смоленскій говоритъ:

Но премѣнять почто печальну нашу долю,  
Когда готовишь ты намъ пущую неволю?  
.....  
..... Что пользы или нужды,  
Что ты съ отечества сорвешь оковы чужды  
И цѣпи новы дашь? Раздоръ съ Тверскимъ примѣръ,  
Что власти ты своей не полагаешь мѣръ<sup>3)</sup>.

Наконецъ Ксенія, чтобы, сдѣлавшись причиной раздора между князьями, не стать виною гибели отечества, соглашается

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 173. <sup>2)</sup> Стр. 178. <sup>3)</sup> Стр. 180.

выйти за князя Тверскаго. Но князь Дмитрій, услышавъ ея слова, приходитъ въ бѣшенство, обнажаетъ мечъ и бросается на Тверскаго; въ это время Ксенія становится между ними и останавливаетъ Дмитрія. Тверскій зоветъ его на поле брани, чтобы тамъ своими подвигами доказать, „кто будетъ Ксеніи достойнѣ болѣ“<sup>1)</sup>. Отъ борьбы душевной Дмитрій чувствуетъ себя слабымъ для того, чтобы руководить битвой и проситъ Бренскаго замѣнить его и стать на его мѣсто подъ большимъ знаменемъ:

Ты замѣни меня въ рѣшительный сей день,  
И знаки княжески и племъ ты мой надѣнь!

Въ сей день приличенъ видъ мнѣ воина простаго:  
Сіяніе смѣхъ бармъ всѣхъ Русскихъ соберетъ  
И отъ главы моей погибель отженетъ,  
А я опасностей и смерти лишь желаю<sup>2)</sup>.

Онъ снимаетъ съ себя цѣпь и проситъ передать еѣ Ксеніи. Въ послѣднемъ 5-мъ дѣйствіи описывается побѣда надъ Мамаемъ. Является бояринъ и говорить:

Рука Всевышняго отечество спасла.  
Ето сильный устоитъ противу сей десницы?  
Она съ торжественной срываетъ колесницы  
Кичливаго душой среди самихъ побѣдъ,  
И гордый, какъ скала кремнистая, падетъ!  
Подобно замысли обрушились Мамаи<sup>3)</sup>.

Слѣдуетъ подробный рассказъ о битвѣ. Князя Дмитрія долго не могли найти и думали, что онъ убитъ, но оказалось, что онъ былъ сильно раненъ, но остался живъ. Князья поздравляютъ его съ побѣдой и даютъ ему имя Донскаго. Князь Тверскій, узнавъ о подвигахъ Дмитрія, примиряется съ нимъ и самъ передаетъ ему Ксенію.

Въ трагедіи, изображающей знаменитую Куликовскую битву, много историческихъ несообразностей. Герой ея изображенъ совершенно невѣрно; это не тотъ безстрашный герой, какимъ изображаютъ его лѣтописи, и не тотъ смиренный князь, какимъ онъ представляется въ Сказаніи о Мамаевомъ побоищѣ. Это рыцарь западныхъ рыцарскихъ поэмъ и романовъ, въ которыхъ герои во время самой войны представляются занятыми непременно любовными приключеніями. Герой Куликовской битвы влюбленъ въ Нижегородскую княжну Ксенію; между тѣмъ въ это время онъ

---

<sup>1)</sup> Сочин. стр. 203. <sup>2)</sup> Стр. 205. <sup>3)</sup> Стр. 210.

былъ женатымъ, а Ксенія была невѣстою Тверскаго. Любовь его такъ овладѣла имъ, что ей приписывается то мужество и одушевление, съ какимъ онъ ополчился на Мамая, совершенно такъ, какъ въ рыцарскихъ романахъ, гдѣ герой избиралъ для себя даму сердца, во имя которой совершалъ свои подвиги. Онъ не можетъ ни о чемъ думать, кромѣ Ксеніи. Въмѣсто того, чтобы готовиться къ страшной битвѣ съ Мамаемъ, онъ вступаетъ въ борьбу съ княземъ Тверскимъ изъ-за обладанія Ксеніей, ссорится со всѣми князьями до того, что всѣ хотятъ оставить его одного сражаться съ Мамаемъ. Пріѣздъ Ксеніи въ военный лагерь вѣнчаться съ Тверскимъ наканунѣ битвы также противорѣчитъ исторіи и древнимъ нравамъ. Но Ксенія оказывается умнѣе Дмитрія; чтобы уничтожить раздоръ князей, столь гибельный для дѣла, она соглашается выйти за нелюбимаго князя Тверскаго. Всѣхъ выше является въ трагедіи другъ и совѣтникъ князя Дмитрія, Бренскій, котораго Дмитрій во время битвы послалъ вмѣсто себя на явную смерть. Бренскій и умный князь Бѣлозерскій своими совѣтами сдерживаютъ во все время раздоръ князей, произведенный въ станѣ ссорю Дмитрія съ княземъ Тверскимъ.

Не смотря, однакоже, на такія несообразности, трагедія принята была съ восторгомъ, весьма часто давалась на сценѣ и вызывала громкія рукоплесканія. Причиною этого было то, что она написана была въ 1807 г. предъ войной съ Наполеономъ и удовлетворяла вполне тогдашнему патріотическому настроенію общества. Указанныя выше мѣста, какъ напр. монологъ Дмитрія въ отвѣтъ Бѣлозерскому князю, предложившему усмирить гнѣвъ Мамая данью:

«Ахъ, лучше смерть въ бою, чѣмъ миръ принять безчестной»...

отвѣтъ Дмитрія послу Мамая на требованіе дани:

... «И твердо уповаю,  
Что чудный крѣпостью и справедливый Богъ»...

отвѣтъ его князю Бѣлозерскому, не соглашавшемуся на то, чтобы онъ шелъ во время войны впереди войска:

«Мой долгъ: въ день мира судъ»...

монологъ его предъ сраженіемъ:

«Умремъ, коль смерть въ бою назначена судьбою»... <sup>1)</sup>

разсказъ боярина объ окончаніи битвы и о побѣдѣ надъ Мамаемъ:

«Рука Всевышняго отечество спасла»...

---

<sup>1)</sup> Сочин., стр. 192.



буквально потрясали стѣны театра, особенно когда ихъ произносили знаменитый актеръ Шуперинъ.

Весьма много также увлекали въ этой трагедіи и современныя либеральныя разсужденія: о несвободномъ положеніи женщины въ семействѣ и особенно при выходѣ замужъ:

«Подъ игромъ у Татаръ мы заняли ихъ нравы,  
И пола нашего межъ насъ ничтожны нравы»...

О тяжелыхъ правахъ отцевъ надъ дѣтьми:

..... «Обидными чту нравы,  
Которы дѣлають тирановъ изъ отцовъ»...

О княжескомъ самовластіи:

«Ордынецъ въ алчности, гора любостязаньемъ,  
На злато Россіянъ свой взоръ стремится съ вниманьемъ;  
Но самовластному не злато лишь предметъ:  
На всѣ дѣянія цѣль тяжкую владеть»...

Оцѣнивая „Димитрія Донскаго“, Вяземскій говоритъ: „Озеровъ, представившій Димитрія любовникомъ Ксеніи въ день битвы Донской, когда онъ въ исторіи является уже супругомъ великой княгини, Евдокіи, пользовался свободою, законною принадлежностію искусства. Счастливъ былъ бы Озеровъ, еслибы довольствовался сею трагическою вольностію; но увлеченный романическимъ воображеніемъ, онъ занесъ преступную руку на самый историческій характеръ Димитрія и унизилъ героя, чтобы возвысить любовника... Его Димитрій и въ самыхъ благородныхъ движеніяхъ своей души и въ самомъ подвигѣ славы напоминаетъ намъ не великаго князя Московскаго, но болѣе полуденнаго рыцаря среднихъ вѣковъ. Позволю себѣ и болѣе обвинить Озерова: невѣрный блюститель истины въ изображеніи историческаго Димитрія, не избѣгаетъ онъ справедливой укоризны и за Димитрія, созданнаго его воображеніемъ. Предупреждая, такъ сказать, обвиненіе критики, трагикъ влагаетъ въ уста Бренскаго, Бѣлозерскаго, Смоленскаго и самой Ксеніи рѣшительный приговоръ осужденія поступкамъ Димитрія, законнымъ во всякое другое время, но преступнымъ въ день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженнаго самолюбія, ожидаетъ отъ него своего освобожденія. Не унижается ли достоинство Димитрія, когда Ксенія, не менѣе его страстная, находитъ довольно мужества въ душѣ, чтобы заглушить голосъ любви, и произвольною жертвою не укоряетъ ли она его въ постыдномъ малодушіи? Кончина Бренскаго, на смерть посланнаго Димитріемъ, не есть ли ужаснѣйшая и неоспоримая укоризна ему? Самый сопер-

никъ Дмитрія не исторгаетъ ли невольную дань уваженія, отказываясь отъ руки Ксеніи, и не долженъ ли признаться каждый зритель вмѣстѣ съ Дмитріемъ, что онъ превзошелъ его?"<sup>1)</sup>. „Въ стихахъ Озерова, говоритъ Вяземскій, нѣтъ той свободы, той мягкости, которыя заставляютъ забывать читателя о трудѣ стихотворства... Почеркъ дѣтства измѣняется съ лѣтами, но не можетъ совершенно преобразоваться, и суровость языка временъ Княжнина еще отзывается въ поэмахъ Озерова. Но за то, гдѣ говоритъ сердце, какая сила краснорѣчивая! Какая истина и вѣрность въ звукахъ чувствительной души! Какая увлекательная прелесть въ порывахъ мечтательнаго воображенія! Какое глубокое уныніе, измѣняющее сердцу, не приученному къ жизни счастьемъ!"<sup>2)</sup>. Особенно Озеровъ умѣлъ изображать женскіе характеры.

„Пушкинъ, говоритъ Вяземскій, Озерова не любилъ... Онъ не признавалъ въ Озеровѣ никакого дарованія. Я, можетъ быть, его дарованіе преувеличивалъ. Современемъ, вѣроятно, мы сошлись бы на полудорогѣ"<sup>3)</sup>.

Кромѣ Карамзина, Дмитріева и Озерова, сантиментальное направленіе не выставило другихъ замѣчательныхъ талантовъ, но писателей въ этомъ направленіи было весьма много. Къ нимъ, между прочимъ, относятся: Подшиваловъ, В. В. Измайловъ, В. Л. Пушкинъ, князь Шаликовъ, Нелединскій-Мелецкій и П. Ю. Львовъ.

Василій Сергѣевичъ Подшиваловъ (1765—1813) по происхожденію—сынъ отставнаго солдата въ Москвѣ, по образованію—воспитанникъ московской университетской гимназіи, въ которой онъ потомъ былъ учителемъ логики и стилистики; на службѣ онъ дослужился до предсѣдателя Гражданской Палаты во Владимірѣ, гдѣ и скончался. Онъ принадлежалъ къ кружку Новикова и, какъ членъ „Собранія университетскихъ питомцевъ“, участвовалъ въ журналахъ Новикова „Вечерней зарѣ“ и „Покоющемуся Трудолюбцу“. Затѣмъ, вмѣстѣ съ профессоромъ Университета Сохацкимъ, былъ издателемъ журналовъ: „Чтеніе для вкуса, разума и чувствованія“ (1791—1793), „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ (1794—1798) и „Иппокрена, или Утѣхи любословія“ (1799—1801). Подшиваловъ былъ послѣдователемъ сантиментальнаго направленія и горячимъ поклонникомъ Карамзина. Въ его журналѣ „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ Карамзинъ названъ „чувствительнымъ, нѣжнымъ, любезнымъ и привлекательнымъ нашимъ Стерномъ“. Къ Стерну, которому въ своихъ Письмахъ подражалъ Карамзинъ, Подшиваловъ обращается съ такими словами:

---

<sup>1)</sup> Сочин. Вяземскаго, I, 44—45. <sup>2)</sup> I, 50. <sup>3)</sup> I, 55.

„Безподобный Стернь! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что тебѣ подражали“, а самого Карамзина онъ восхвалялъ въ слѣдующей надписи:

Кто въ прозѣ и стихахъ пріятностью блистаетъ?  
Какъ Мармонтель, какъ Стернь, сердца и умъ плѣняетъ?  
Кто ихъ чувствительность вѣстилъ въ себѣ одинъ?  
Нашъ путешественникъ россійскій Карамзинъ.

Въ журналахъ своихъ онъ любилъ помѣщать лирическія статьи въ прозѣ сентиментальнаго направленія. Статья „Къ сердцу“, напечатанная въ „Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени“, считается самою характерною для опредѣленія этого направленія. Здѣсь, между прочимъ, мы читаемъ такое обращеніе къ сердцу: „Тихія колебанія сердца! электризуйте перо мое, да прославить оно чистый неизсякаемый источникъ вашъ, источникъ драгоцѣнныхъ чувствъ и добродѣтелей!... Чувствительное сердце! благословляю тебя. Благословляю твою волшебную силу, утѣшающую родъ человѣческій, возвышающую наши радости, улаждающую наши прискорбія. Гдѣ только дѣйствуешь ты, тамъ не слышенъ ропотъ на всецѣдраго Бога, тамъ цвѣтетъ величественная натура и упоеваетъ чувства нектаромъ простоты, непринужденности, легкой и сладостной жизни; тамъ и самыя горести превращаются въ источникъ утѣхъ. Несчастливъ братъ мой, сердце мое рвется: но стремись помочь ему, утѣшить его, ощущаетъ неизъяснимое веселіе. Несчастливъ я самъ, сердце мое вздымается противъ утѣснителей: но я невиненъ, я отношу ихъ притѣсненія на счетъ властолюбія или зависти, что они не могутъ наслаждаться тѣми жъ удовольствіями, которыми я наслаждаюсь, и сія мысль извлекаетъ болѣзненный вздохъ изъ груди моей; а на вздохъ мой нисходитъ любимая дочь небеснаго Отца, кроткая надежда и, усыпляя мои мученія, манитъ возвратиться къ внутреннимъ радостямъ, которыхъ никто у меня похитить не можетъ. Я люблю — чувствительнымъ сердцамъ любить сродно — и пламенная любовь моя переселяетъ меня въ край благодѣтельныхъ фей, учить таинствамъ грацій, готовитъ среди самыхъ терзаній пріятныя для предбудущихъ временъ воспоминанія. Чувствительное сердце, о, сколь драгоцѣнно ты! Въ самое то время, когда мы, кажется, отъ тебя злополучны, ты устрояешь наше счастье. Горе нечувствительнымъ! горе управляемымъ силою одного механизма!... Простосердечіе, чистосердечіе! надъ вами смѣются въ нынѣшнія времена; но ты, любезный К\*\* (Карамзинъ), иныхъ со мною о томъ мыслей. Сколько разъ желалъ ты ихъ возвращенія на землю, и чтобъ единодушная любовь одушевляла всѣхъ смертныхъ! Виновики дѣла великихъ, дѣла благородныхъ, сердце! для чего ученые,

ищущіе просвѣщенія, съ ущербомъ правъ твоихъ обогащаютъ свой разумъ? для чего образуютъ, воспитываютъ болѣе сей послѣдній, нежели тебя? Какой можетъ быть проповѣдникъ, какой писатель, когда нѣтъ сердца, нѣтъ чувства? Какой человѣкъ будетъ безъ нихъ счастливъ?“<sup>1)</sup> Подшиваловъ много писалъ и переводилъ, находясь на службѣ въ разныхъ мѣстахъ.

**Владиміръ Васильевичъ Измайловъ (1773—1830).** Познакомившись съ Дмитріевымъ и Карамзинымъ, Измайловъ участвовалъ въ „Аонидахъ“, гдѣ напечатаны были многія его стихотворенія. Подражая Карамзину, онъ отправился въ путешествіе по южной Россіи и описалъ его потомъ подъ названіемъ „Путешествіе въ полуденную Россію“. Эпиграфомъ къ нему онъ поставилъ слова Дюпати: „Нѣкоторые путешественники привозятъ изъ чужихъ странъ статуи, медали, произведенія природы; я же возвращаюсь съ идеями и чувствами“. Дѣйствительно: онъ описываетъ въ своемъ путешествіи не столько предметы, имъ видѣнные, сколько идеи и впечатлѣнія, ими возбужденныя. Онъ былъ страстный поклонникъ Руссо и называлъ его „своимъ любезнымъ женевцемъ“. Въ Путешествіи онъ весьма часто обращается къ нему съ восторженнымъ сочувствіемъ: „о Руссо, Руссо!“ Онъ переводилъ его „Новую Элоизу“ (перевелъ почти всю первую часть), „Атталу“ Шатобріана (1802) и „Историческую и политическую картину Европы въ XVIII в.“ Сегюра (1802—1803). Въ 1804 г. онъ издавалъ журналъ для воспитанія: „Патріотъ“. Въ этомъ журналѣ онъ также является горячимъ послѣдователемъ Руссо. Любя ботанику, онъ перевелъ „Руссовы письма“ объ этой наукѣ (1810). Съ 1814 г. Измайловъ дѣлается журналистомъ: сначала онъ издаетъ „Вѣстникъ Европы“, гдѣ были напечатаны первые опыты Пушкина и Дельвига, потомъ „Россійскій Музеумъ“ (1815 г.); въ томъ и другомъ журналѣ напечатано много собственныхъ его статей по разнымъ вопросамъ. Вообще Измайловъ, хотя не имѣлъ большихъ дарованій, но былъ писатель трудолюбивый и уважаемый всѣми за свой честный и благородный характеръ<sup>2)</sup>. До чего сильно было вліяніе Карамзина на Измайлова, видно изъ словъ самого Карамзина: „въ письмахъ Измайлова замѣтилъ я нѣсколько періодовъ, съ меня копированныхъ“<sup>3)</sup>.

**Василій Львовичъ Пушкинъ (1770—1830),** родной дядя А. С. Пушкина. Послѣ недолговременной военной службы, выйдя въ

<sup>1)</sup> Историческая христоматія Галахова, изд. 2-е, стр. 94—96.

<sup>2)</sup> Переводы въ прозѣ В. Измайлова изд. въ Москвѣ. Ч. 1—6. 1819—1820 г.

<sup>3)</sup> «Вчера и Сегодня», кн. I.

отставку, В. Пушкинъ поселился въ Москвѣ и посвятилъ себя литературѣ: писалъ посланія, элегін, басни, мадригалы, эпиграммы. Въ 1803 г. онъ отправился за границу и свое путешествіе описалъ въ двухъ письмахъ къ Карамзину изъ Берлина и изъ Парижа. Въ Парижѣ онъ познакомился съ тогдашними писателями: Дюси, Сень-Пьеромъ, Делилемъ. Чтобы познакомить ихъ съ нашей народной поэзіей, онъ перевелъ на французскій языкъ нѣсколько старинныхъ русскихъ пѣсенъ. Въ Лондонѣ онъ занялся изученіемъ англійскаго языка и для этого переводилъ отрывки изъ Томсоновой поэзіи: „Четыре времени года“. Возвратившись изъ-за границы, онъ былъ сотрудникомъ въ разныхъ журналахъ Петербургскихъ и Московскихъ и помѣстилъ въ нихъ множество сатирическихъ и шуточныхъ стихотвореній. Лучшимъ изъ нихъ онъ самъ признавалъ стихотвореніе „Опасный сосѣдъ“. Пушкинъ былъ страстнымъ почитателемъ Карамзина и принималъ дѣятельное участіе въ спорѣ писателей „о старомъ и новомъ слогѣ“. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны два его посланія—къ Жуковскому, напечатанное въ „Цвѣтникѣ“ 1810 г., и къ Дашкову, напечатанное въ отдѣльной брошюрѣ въ 1811 г. Въ посланіи къ Жуковскому, осмѣивая весь соборъ безграмотныхъ славянъ, онъ говоритъ:

Я, признаюсь, люблю Карамзина читать,  
И въ слогѣ Дмитреву стараюсь подражать.  
Кто мыслить правильно, кто мыслить благородно,  
Тотъ изъясняется пріятно и свободно.  
Славянскія слова таланта не даютъ  
И на Парнассѣ они поэта не ведутъ.  
Кто русской грамотѣ, какъ должно, не учился,  
Напрасно тотъ писать трагедіи пустился;  
Поэма громкая, въ которой плана нѣтъ  
Не пѣснопѣніе, но сущій только бредъ  
.....  
Талантъ намъ Фебъ даетъ, а вкусъ даетъ ученье;  
Что просвѣщаетъ умъ? питаетъ душу? чтеніе.  
Въ чемъ увѣряютъ насъ Наскаль и Боссюетъ,  
Въ Синописѣ того, въ Степенной книгѣ нѣтъ.  
Отечество люблю, языкъ я русскій знаю,  
Но Тредьяковскаго съ Расиномъ не равняю.  
И Пиндаръ нашихъ странъ тѣмъ слогомъ не писалъ,  
Какимъ Боянъ въ свой вѣкъ героевъ воспѣвалъ,  
Я правъ, и ты со мной, конечно, въ томъ согласишь;  
Но правду говорить безумцамъ—трудъ напрасенъ,  
Я вижу весь соборъ безграмотныхъ Славянъ,  
Которыми здѣсь вкусъ къ язычному пошпанъ,  
Противъ меня теперь рыкающій ужасно!

.....

Во вкусѣ часъ насталъ великихъ переи́нъ:  
Явились Карамзинъ и Дмитревъ-Лафонтенъ!  
Вотъ чѣмъ всѣ Русскіе должны гордиться нынѣ!  
Хвала Великому! Хвала Екатеринѣ!  
Пусть Клитъ рецензіи тисненію предастъ:  
Безумцу вопреки, повѣтъ всегда повѣтъ.  
И такъ, любезный другъ, я смѣло въ бой вступаю;  
Въ словесности расколъ, какъ должно, осуждаю.  
Аристъ душею добръ, но авторъ онъ дурной,  
И намъ отъ книгъ его нѣтъ пользы никакой;  
Въ страницѣ каждой онъ слогъ древній восхваляетъ  
И русскимъ вои́мъ словамъ прямой источникъ знаетъ:  
Что нужды? толстый томъ, гдѣ зависть лишь видна,  
Не есть Лагарповъ курсъ, а пагуба одна.  
Въ славянскомъ языкѣ и самъ я пользу вижу,  
Но вкусъ я варварскій гоню и ненавижу.  
Въ душѣ своей ношу къ князюному любовь;  
Твореніе безъ идей мою волнуетъ кровь.  
Словъ много затвердить не есть еще ученіе;  
Намъ нужны не слова, намъ нужно просвѣщеніе <sup>1)</sup>.

Еще сильнѣе возстаетъ Пушкинъ противъ Шишкова и его послѣдователей въ посланіи къ Дашкову, осмѣлившемуся критически разобрать сочиненія Шишкова.

Что слышу я, Дашковъ? какое ослѣпленіе!  
Какое лютое безумцевъ околѣненіе!  
Кто тѣшитъ жизнь свою наукамъ посвящать,  
Раскольниковъ-Славянъ дерзаетъ уличать,  
Кто пишетъ правильно и не варяжскимъ слогомъ—  
Не любить Русскихъ тотъ и виноватъ предъ Богомъ!  
Повѣрь: слова невѣждъ пустой кивала звукъ;  
Они безумствуютъ—сіяетъ свѣтъ наукъ!  
Неужель отъ того моя постраждетъ вѣра,  
Что я подѣ часъ прочту двѣ сценн изъ Вольтера?  
Я христіаниномъ, конечно, быть могу,  
Хотя французскихъ книгъ въ каминѣ и не жгу.  
Въ предубѣжденіяхъ нѣтъ святости ни мало:  
Они мертвятъ нашъ умъ и варварства начало.  
Ученымъ быть не грѣхъ, но грѣхъ во тьмѣ ходить.  
Невѣжда можетъ ли отечество любить?  
Не тотъ къ странѣ родной усердіе питаетъ,  
Кто хвалитъ все свое, чужое презираетъ,  
Кто слезы льетъ о томъ, что мы не въ бородахъ,  
И, бѣдный мыслями, печется о словахъ:  
Но тотъ, кто, слѣдуя похвальному внушенію,

---

<sup>1)</sup> Стихотворенія В. Пушкина. Сиб. 1822; стр. 7 и слѣд.

Чтить дарованія, стремится къ просвѣщенію.

.....  
Хвалу я воздаю счастливѣйшей судьбинѣ,  
О мой любезный другъ, что я родился нинѣ!  
Свободно я могу и мыслить и дышать,  
И даже абіе и аще не писать.  
Виргилій и Гомеръ бесѣдуютъ со мною;  
Я съ возвышенною иду вездѣ главою;  
Мой разумъ просвѣщенъ и Сены на брегахъ  
Я пѣлъ любовное отечество въ стихахъ.  
Не улицы однѣ, не площади и дома,  
Сенъ-Пьеръ, Делиль, Фонтанъ мнѣ были тамъ знакомы;  
Они свидѣтели, что я въ землѣ чужой  
Гордился Русскимъ быть и Русскій былъ прямой.  
Не грубымъ Остякомъ, достойнымъ сожалѣнія—  
Предсталъ предъ ними я любителемъ ученія.

.....  
За чтожъ мы на костеръ съ тобой осуждены?  
За то, что мы, любя словесность и науки,  
Не вѣкъ надъ букваремъ твердили азъ и буки;  
За то, что смѣемъ мы ученіе хвалить  
И въ слогъ варварскомъ ошибки находить;  
За то, что мы съ тобой Лагарпа понимаемъ,  
Въ расколѣ не живемъ; но по славянски знаемъ <sup>1)</sup>.

Князь Петръ Ивановичъ Шаликовъ (родомъ грузинъ, 1768—1852) былъ самымъ ревностнымъ поклонникомъ сентиментальнаго направленія. „Я служу граціямъ, писалъ онъ Глинкѣ, ибо надобно и имъ служить; посвящаю труды мои одной пріятности, ибо въ этомъ состоитъ вся моя способность“. Сочиненія свои въ стихахъ и прозѣ онъ печаталъ сначала въ разныхъ журналахъ. Первый сборникъ его стиховъ былъ изданъ 1798—1801 г. подъ заглавіемъ „Плодъ свободныхъ чувствованій“; въ 1802 г. вышли „Цвѣты грацій“. Въ подражаніе Карамзину и В. Измайлову, Шаликовъ написалъ два путешествія въ Малороссію: первое въ 1803 г.; второе—въ 1804 г., и „Путешествіе въ Кронштадтъ“ въ 1805 г. Во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ сентиментальное направленіе доведено было до такихъ уродливыхъ крайностей, что Шаликовъ подвергся осмѣянію всѣхъ писателей. Князь Вяземскій осмѣялъ его подъ именемъ Вздыхалова <sup>2)</sup>; А. Е. Измайловъ назвалъ его кондитеромъ литературы <sup>3)</sup>, а Воейковъ въ своемъ „Парнаасскомъ адресъ-кален-

<sup>1)</sup> Историч. Христом. Галахова II, 142—145. Біографическія свѣдѣнія о В. Л. Пушкинѣ помѣщены Авенаріусомъ въ Истор. Вѣсти. 1882, № 3.

<sup>2)</sup> Сочин. т. III, 275—279.

<sup>3)</sup> Благонамѣренный 1823 г., № 11-й.

даръ“ описалъ его такимъ смѣшнымъ образомъ: „Князь П. И. Шаликовъ, присяжный оберъ-волокиа, князь вралей; находился при составленіи изъ канарейшныхъ яицъ для Феба яишницы и при собраніи для него же жемчужной росы и любовныхъ вздоховъ“. Насмѣшки надъ Шаликовымъ въ печати доходили до невѣроятной дерзости: неизвѣстный писатель, за подписью „И. Кіовскаго“, въ „Дамскій журналъ“, который издавалъ Шаликовъ, прислалъ шараду, изъ начальныхъ буквъ которой выходилъ акростихъ: Шаликовъ глупъ, какъ колода. Ничего не подозрѣвая, Шаликовъ спокойно еѣ напечаталъ. Изъ всѣхъ сочиненій Шаликова нѣкоторое значеніе имѣеть только „Историческое извѣстіе о пребываніи въ Москвѣ французовъ въ 1812 г.“, въ немъ есть хотя краткія, но интересныя свѣдѣнія, какъ очевидца. Кромѣ того, Шаликовъ писалъ повѣсти и переводилъ сочиненія г-жи Жанлисъ и Шатобріана. Въ 1806 г. онъ издавалъ журналъ: „Московский Зритель“. Въ объявленіи объ его изданіи было заявлено, что „хорошій вкусъ, чистота слога, тонкая разборчивость литераторовъ и нѣжное чувство будутъ однимъ изъ главныхъ предметовъ его вниманія“. Въ томъ же направленіи издавались Шаликовымъ журналы „Аглая“ (1808—1812 г.) и „Дамскій Журналъ“ (1823—1833). Въ „Дамскомъ журналѣ“ помѣщались, между прочимъ, „Матеріалы для исторіи русскихъ женщинъ-авторовъ“ М. Н. Макарова. Въ этомъ журналѣ печатались первыя стихотворенія Т. Н. Грановскаго. Наконецъ, Шаликовъ былъ 25 лѣтъ редакторомъ Московскихъ Вѣдомостей, послѣ 1812 г.<sup>1)</sup>

Юрій Александровичъ Нелединскій-Мелецкій (1751—1828) извѣстенъ по пѣснямъ, которыми славился въ свое время на ряду съ Карамзинымъ и Дмитриевымъ. Онъ былъ очень даровитый поэтъ, но, къ сожалѣнію, растратилъ свои дарованія въ разсѣянной свѣтской жизни. Бантышъ-Каменскій, лично знавшій Мелецкаго съ молодыхъ лѣтъ, замѣтилъ о немъ: „вотъ человѣкъ съ достоинствами, но праздный“. Батюшковъ называетъ его „Анакреономъ и Шолье нашего времени“, а въ стихотвореніи: „Мои пенаты“ ставитъ его на ряду съ Богдановичемъ (т. I стр. 137). Особенно теплыя воспоминанія сохранились о немъ у Вяземскаго. „Воспоминанія мои о Ю. А. Нелединскомъ, говоритъ онъ въ своей „Записной книжкѣ“ 1848 г.“, сливаются во мнѣ съ многими первыми воспоминаніями жизни моей. Онъ былъ однимъ изъ ближайшихъ друзей моего отца. Къ тому же, какъ поэтъ и страстно любившій стихи, онъ всегда сочувствовалъ новичкамъ на поэтическомъ поприщѣ. Онъ изъ пер-

<sup>1)</sup> Примѣчанія В. Н. Саятова къ сочиненіямъ Батюшкова I, 434—437.



выхъ одобрилъ мои первые опыты и, разумѣется, тѣмъ приобрѣлъ довѣренность мою. Стихи мои, которые я первоначально тайлъ отъ Карамзина, какъ дѣтскія шалости... встрѣчали въ Нелединскомъ благосклоннаго слушателя. Позднѣе онъ отплачивалъ мнѣ такую же довѣренностію... Какъ поэтъ, онъ обратилъ на себя вниманіе современниковъ своихъ. Особенно пѣсни его приобрѣли общенародную извѣстность. Пѣсня его: „Выйду я на рѣченьку“ пѣта была и красавицами высшаго общества, и поселянками среди полевыхъ трудовъ. Нѣкоторыя изъ пѣсней его по вѣрности и страсти выраженнаго въ нихъ глубокаго, задушевнаго чувства остаются и понынѣ образцовыми въ своемъ родѣ, не смотря на прихотливыя измѣненія, послѣдовавшія въ нашемъ языкѣ. Онъ съ честію засѣдалъ въ Правительствующемъ Сенатѣ... Онъ любилъ науку и занимался ею, но болѣе про себя, для собственной отрады, особенно же къ наукѣ чиселъ имѣлъ природное влеченіе... Но ни одной изъ своихъ способностей онъ не преслѣдовалъ до конца, ни одной изъ нихъ не избралъ онъ исключительнымъ орудіемъ и цѣлю своей, нѣсколько распушенной дѣятельности. Дарованіе его не было упорнымъ трудомъ возвышено до самобытности творчества и художества. Умственные способности не были подчинены системѣ науки. Онъ не могъ, или не хотѣлъ приписаться, прикрѣпить себя исключительно къ опредѣленному званію. Природа была къ нему расточительна, и самъ расточалъ онъ дары ея <sup>1)</sup>“.

Павель Юрьевичъ Львовъ (1770—1825), воспитанникъ Московскаго Университетскаго пансіона, былъ сотрудникомъ Московскаго Журнала Карамзина, съ которымъ однакожь разошелся. Онъ написалъ три повѣсти: „Россійская Памела“ (1789), „Роза и Любимъ“ (1790) и „Александръ и Юлія“. Первая изъ этихъ повѣстей, представляющая подражаніе Ричардсону, дала поводъ издателю „Меркурія“ Клушину назвать его Антирихардсономъ. Въ 1801 году Львовъ былъ избранъ въ члены Россійской Академіи и съ открытія „Бесѣды любителей русскаго слова“ сдѣлался членомъ ея и ревностнымъ защитникомъ спорнаго слога. Онъ написалъ много переводныхъ и оригинальныхъ стихотвореній <sup>2)</sup>.

Мы указали на болѣе важныхъ подражателей Карамзина. Было много и другихъ. Подражали главнымъ образомъ Письмамъ Русскаго Путешественника и Бѣдной Лизѣ. Подражая Карамзину и Стерну, наши писатели увлекались еще французскимъ писателемъ.

---

<sup>1)</sup> Сочин. кн. П. А. Вяземскаго. Спб. 1879 г. томъ II, 380—394. Сочиненія Нелединскаго-Мелецкаго изданы А. Смирдинымъ. Спб. 1850 г.

<sup>2)</sup> Примѣчанія В. И. Сантова къ сочиненіямъ Батюшкова, I, 379.

Верномъ, который написалъ два путешествія и считался у французъ наравнѣ со Стерномъ. Бѣдной Лизѣ также было много подражаній, какова: „Бѣдная Маша“ А. Измайлова (1801), „Обольщенная Генріетта, или торжество обмана надъ слабостью и заблужденіемъ, истинная повѣсть“ Ивана Свѣчинскаго (1801), „Несчастливая Маргарита, истинная руссiйская повѣсть“ (1803), „Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевыхъ горъ“; „Исторія бѣдной Марьи“; „Инна“ Каменева; „Марьяна Роша“ Жуковскаго. Но повѣстями и путешествіями не ограничивалось сантиментальное направленіе; оно распространено было во всей литературѣ, во всѣхъ формахъ прозы и поэзіи: и въ пѣснѣ, и посланіи, эпитафіи и надписи, въ драмѣ и комедіи—повсюду лились обильныя слезы радости или печали, слышались воздыханія, умиленія, восхищенія.

Сантиментальное направленіе, доведенное послѣдователями Карамзина до смѣшныхъ крайностей, вызвало сатиру въ литературѣ. Князь Горчаковъ въ посланіи къ князю Долгорукову въ такомъ видѣ изображаетъ русскую словесность, находящуюся подъ влияніемъ этого направленія:

Къ словесности на часъ мы нашей обратимся!  
Произведеніями ея не восхитимся...  
Въ ней модныхъ авторовъ французско-русскій ликъ  
Стремится исказить отеческій языкъ.  
Одинъ въ ней слѣдуетъ жеманну Дюпати,  
Другой съ собакою вступаетъ въ симпатіи;  
Тамъ воздыхающій, плаксивый Мирлифлоръ  
Гордится, выпусти сантиментальный вздоръ;  
Тотъ безъ просодіи стихами пѣсни пишетъ;  
Иной наивностью въ развратной сказкѣ дышетъ;  
А сей, вообразя, что онъ руссiйскій Стернъ,  
Жемчужну льетъ слезу на шелковистый деръ,  
Привѣтствуетъ луну и входитъ въ восхищенье,  
Курсивомъ прописавъ змѣѣ свое прощенье.  
Всѣмъ хочется писать, великъ нѣтъ малъ нѣтъ даръ,  
Повсюду авторства въ сердцахъ затмился (затлился?) жаръ;  
Исполнить торопясь писательски желанья,  
Всѣ въ ежемѣсячны пустилися изданья,  
И наконецъ я зрю въ странѣ моей родной  
Журналовъ тысячи, а книги ни одной <sup>1)</sup>.

Князь Шаховской, какъ уже мы замѣтили, осмѣялъ сантиментальное направленіе въ комедіи „Новый Стернъ“.

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Горчакова, 1890, стр. 145.

## ШКОЛА КЛАССИЧЕСКАЯ.

Князь Сергѣй Александровичъ Ширинскій-Шихматовъ, въ монашествѣ Аникита (1783—1837), послѣдователь Шишкова и членъ Россійской Академіи, написалъ поэму въ трехъ пѣсняхъ: „Пожарскій, Мининъ и Гермогенъ, или спасенная Россія“ (Спб. 1807) и лирическое пѣснопѣіе въ 8 ми пѣсняхъ—„Петръ Великій“ (Спб. 1810),—въ подражаніе Юнгу: „Ночь на гробахъ“ (Спб. 1812), „Ночь на размышленія“ (Спб. 1814) и др. стихотворенія. Батюшковъ о поэмѣ „Петръ Великій“ сказалъ:

Какое хочешь имя дай  
Твоей повѣи полудикой:  
Петръ длинный, Петръ большой, но только «Петръ Великій»  
Ея не называй <sup>1)</sup>.

Семенъ Сергѣевичъ Бобровъ (1760—1810), воспитанникъ духовной семинаріи, а потомъ Московскаго университета, былъ ученикъ и послѣдователь Хераскова, усвоившій отъ него мистико-масонское направленіе. При императорѣ Павлѣ, будучи на службѣ въ Черноморскихъ портахъ, Бобровъ посѣтилъ Крымъ и написалъ поэму: „Таврида, или мой лѣтній день въ Таврическомъ Херсонисѣ“ <sup>2)</sup> и другую мистико-аллегорическую поэму: „Древняя ночь вселенной, или Странствующій Слѣпецъ“ (Спб. 1807—1809), въ которой онъ подражалъ поэмѣ Хераскова: „Владиміръ“. Извѣстна эпиграмма на эти поэмы князя Вяземскаго:

Нѣтъ спора, что Вибрисъ боговъ языкомъ пѣлъ:  
Изъ смертныхъ бо никто его не разумѣлъ! <sup>3)</sup>.

Александръ Петровичъ Беницкій (1780—1809) былъ воспитанникъ пансіона Шадена, гдѣ изучилъ нѣмецкій и французскій языки. Батюшковъ въ письмахъ къ Гнѣдичу вспоминаетъ о немъ, какъ о человѣкѣ съ пылкою, благородною душою, съ большимъ умомъ и литературнымъ талантомъ. Дѣйствительно, онъ обладалъ несомнѣнными дарованіями, какъ показываютъ его сказки и восточныя повѣсти: „Ибрагимъ или Великодушный“, „Параллели: женщина и дама; умный и дуракъ“; „Бедуинъ“; онѣ отличаются живымъ, интереснымъ разсказомъ, остроуміемъ и хорошимъ языкомъ. Въмѣстѣ

<sup>1)</sup> Примѣчанія В. И. Сантова къ сочиненіямъ Батюшкова, I, 377—378.

<sup>2)</sup> Николаевъ 1798. Вторично была издана подъ заглавіемъ: «Херсонида или картина лучшаго лѣтняго дня въ Херсонисѣ Таврическомъ». Спб. 1804.

<sup>3)</sup> Примѣчанія Сантова къ сочиненіямъ Батюшкова, II, 536—538.

съ А. Е. Измайловымъ въ 1809 г. онъ издавалъ ежемѣсячный журналъ „Цвѣтникъ“, въ которомъ сотрудниками были главнымъ образомъ писатели Карамзинскаго направленія. Въ журналъ онъ помѣщалъ переводы, писалъ рецензіи на разные сочиненія и разные стихотворенія <sup>1)</sup>).

**Александръ Ефимовичъ Измайловъ** (1779—1831) воспитывался въ Горномъ Кадетскомъ Корпусѣ. Получивъ еще въ корпусѣ расположеніе къ литературѣ, онъ постоянно занимался ею и въ то время, когда состоялъ на службѣ въ разныхъ мѣстахъ. Имъ былъ основанъ журналъ „Благонамѣренный“, который продолжался 10 лѣтъ (съ 1818 по 1827). Журналъ этотъ имѣлъ сатирическій характеръ; онъ отличался веселостью и остроуміемъ, довольно грубоватымъ и не всегда скромнымъ и приличнымъ. Специальностью, вполне соотвѣтствующею таланту Измайлова, были басни и сказки, которыхъ онъ написалъ очень много. Онѣ не заключаютъ въ себѣ ничего особеннаго, но очень нравились современникамъ своимъ сатирическимъ элементомъ. Первымъ объемистымъ произведеніемъ Измайлова была повѣсть: „Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества“ (Спб. 1799) <sup>2)</sup>.

**Николай Михайловичъ Шатовъ** (1765—1841) принадлежалъ къ школѣ Шишкова, былъ противникомъ Карамзина и его послѣдователей. Онъ писалъ подражанія псалмамъ, приравливая ихъ къ современнымъ событіямъ Наполеоновскихъ войнъ <sup>3)</sup>.

**Князь Дмитрій Петровичъ Горчаковъ** (1758—1824). Воспитавшись на классическихъ произведеніяхъ французской литературы, онъ былъ самъ классикъ, принадлежалъ къ школѣ Шишкова, участвовалъ въ изданіи „Бесѣды любителей русскаго слова“ и нападалъ на Карамзина и его послѣдователей. Первыми печатными его произведеніями были комическія оперы изъ арабскихъ и русскихъ сказокъ: „Калифъ на часъ“ (напис. 1786, изд. 1788), „Счастливая тоня“ (1786) и „Баба—яга“ (1788), которыя имѣли большой успѣхъ на сценѣ. Но главнымъ образомъ онъ былъ извѣстенъ, какъ сатирикъ; его сатирическое направленіе очень цѣнилось; онъ считался человекомъ съ независимымъ образомъ мыслей и даже вольтеріанцемъ; его называли русскимъ Ювеналомъ. Когда стало распространяться въ литературѣ сентиментальное направленіе, онъ

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, 427—429.

<sup>2)</sup> Басни и сказки А. Измайлова изданы въ 1814 г., Спб.; Собраніе сочиненій его издано Смирдинымъ въ 1849 г. (2 части).

<sup>3)</sup> Собраніе его стихотвореній напечатано Россійскою академіею въ 1831 г.

написалъ на него рѣзкую сатиру въ Посланіи къ князю Долгорукову <sup>1)</sup>.

Кромѣ Горчакова, какъ сатирики въ это время еще извѣстны были Долгоруковъ, Нахимовъ и Милоновъ.

Анниъ Николаевичъ Нахимовъ (1782—1815) былъ уроженецъ Харьковской губерніи; уже со службы поступилъ въ Харьковскій университетъ, когда онъ отерялся, и кончилъ въ немъ курсъ кандидатомъ. Онъ писалъ сатиры на подьячихъ и взяточниковъ. Когда вышелъ знаменитый указъ объ экзаменахъ на гражданскіе чины, Нахимовъ написалъ „Элегію-сатиру“, которою сдѣлался извѣстенъ повсюду:

Восплачь канцеляристъ, новытчикъ, секретарь!  
Надсмотрщикъ возрыдай и вся приказна тварь!  
Ланиты въ горести чернилами натрите,  
И въ перси перьями другъ друга поразите!  
О, сколь вы за грѣхи наказаны судьбой!  
Зрять тучу страшную палаты надъ собой,  
Которой молнія грозитъ важъ просвѣщенъемъ,  
И акциденцій всѣхъ и ябедъ истребленъемъ.  
Какъ древо, сокрушенъ падеть подьячичъ родъ;  
Увы, насталь для васъ теперь плачевный годъ!  
Какія времена! Должны вы слушать курсъ:  
Судебныя мѣста всѣ превратятся въ бурсъ.  
Ахъ, еслибы воскресъ одинъ хоть думный дьякъ  
И, съ челобитною явись предъ царскій зракъ:  
Чѣмъ заслужилъ гнѣвъ мой, воскликнуль, внуки,  
Что посылаются къ нимъ палачи науки?  
Ты хочешь, чтобъ отъ нѣхъ немилосердныхъ рукъ  
Расправился или передомился крѣкъ.  
О, солнце! не лишай ты филиновъ затмѣнь!  
Да крѣкъ пребудетъ крѣкъ по силѣ Уложенъя!  
Но что? гдѣ дьякъ и гдѣ прошеніе къ царю?  
Бѣда коллежскому теперь секретарю.  
О чинъ ассессорскій, только возжелѣнный!  
Ты убѣгаешь днесъ, когда я, восхищенный,  
Мнилъ обнимать тебя, какъ друга, какъ алтынъ;  
Быть можетъ, навсегда прости, любезный чинъ!  
Сколь тяжело для меня, степенна человека,  
Учиться начинать, проживши ужъ полвѣка!  
Какія каверзы, какое зло для насъ  
О просвѣщеніи гласящій намъ указъ!

---

<sup>1)</sup> Примѣчанія В. И. Сантова къ сочиненіямъ Батюшкова, III, 648—649. Сочиненія Горчакова изданы въ 1890 г. Москва.

Друзья! пока еще не свѣтло въ нашихъ мірѣ,  
На счетъ просителей пойдѣтъ гулять въ трактирѣ;  
Съ отчаянья начнемъ какъ можно больше драть:  
Свѣтъ близокъ—должно ли ворамъ теперь дремать? <sup>1)</sup>.

Такой же характеръ имѣетъ другая сатира: „Сказаніе о Омидѣ и объ иноплеменныхъ приказныхъ“ <sup>2)</sup>.

Михаилъ Васильевичъ Милоновъ (1792—1821) былъ очень даровитый поэтъ, но, къ сожалѣнію, умершій рано—на 29 году—отъ невоздержной жизни. Современникамъ нравилась его сатира „Къ Рубеллію“, написанная на одного временщика въ царствованіе императора Александра <sup>3)</sup>.

Въ началѣ XIX в. мы замѣчаемъ въ обществѣ особенную любовь къ театру. Въ это время, кромѣ знаменитаго Дмитревскаго, уже доживавшаго свой вѣкъ, но все еще не покидавшаго сцену и даже руководившаго ею, на петербургскомъ театрѣ славились Яковлевъ и Семенова, Каратыгинъ и Колосова (послѣ Каратыгина), на московскомъ театрѣ—Померанцевъ, Шушеринъ, Плавильщиковъ, Сандуновъ и Сандунова и впослѣдствіи Мочаловъ и Щепкинъ. Они весьма много содѣйствовали успѣхамъ самой драматической поэзіи и ея авторовъ. Озеровъ съ Семеновой „дѣлилъ дань слезъ и народныхъ рукоплесканій“. Шаховской много обязанъ успѣхомъ своихъ пѣснь и игрѣ Щепкина. Общество отвыкло отъ грубыхъ удовольствій, искало благородныхъ развлеченій; явилось много лицъ, которыя со званіемъ писателей для театра соединяли должность устроителей театра, каковы: князь Шаховской, Карабановъ, Катенинъ и Кокоскинъ; явились любители театра, или такъ называемые театралы, которые, не принадлежа къ театру непосредственно, оказывали ему свое вниманіе, поощреніе и содѣйствіе, и къ которымъ принадлежали нерѣдко важные сановники изъ аристократическаго міра и богатые люди изъ купеческаго общества; образовалась страсть читать драматическія сочиненія въ обществѣ на домашнихъ собраніяхъ. Подражая столицамъ, заводили театры и въ провинціяхъ, губернскихъ и уѣздныхъ городахъ: вельможи, богатые и знатные помѣщики устраивали спектакли, съ актерами

---

<sup>1)</sup> Сочин. изд. 1849 г., стр. 13—14.

<sup>2)</sup> Очеркъ жизни Нахимова въ Русской Старинѣ 1880 г. кн. 11—12. Историческая Христоматія Галахова, II, 272—279. Сочиненія А. Нахимова въ стихахъ и прозѣ напеч. въ 1815 г. Харьковъ. Изд. Смирдина 1849.

<sup>3)</sup> Изд.: Сатиры, посланія и др. мелкія стихотворенія, Спб. 1819; Смирдина—въ 1849 г.

изъ крѣпостныхъ людей<sup>1)</sup>). Не смотря на новое направленіе въ литературѣ, сентиментальное, на сценѣ еще долго держалась старая ложно-классическая драма, какъ лучший цвѣтъ классической поэзіи вообще; но сочувствіе публики уже замѣтно переходило на сторону такъ называемой мѣщанской драмы, въ которой выразилось новое направленіе и которая появилась у насъ еще въ концѣ прошлаго вѣка. Въ началѣ XIX в. вошли въ моду мѣщанскія драмы нѣмецкаго писателя Коцебу; его пьесы: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“ (1792), „Сынъ любви“ (1795) и „Гусситы подъ Наумбургомъ“ (1807) въ продолженіе почти 30 лѣтъ не сходили со сцены, наконецъ надоѣли и вызвали противъ себя сатиру. Горчаковъ въ Посланіи къ Долгорукову говорить:

Какія, общаго достойны удивленія,  
Мы въ модныхъ драмахъ зримъ диковинныя явленія?  
И, скучныхъ свободахъ издревле чтимыхъ узъ,  
Чѣмъ превосходенъ сталъ очищенный нашъ вкусъ?...  
Въ комедіяхъ теперь не нужно острыхъ словъ:  
Чтобы смѣшить, пусти на сцену дураковъ!  
Къ законнымъ дѣтямъ дверь чувствительности скрыта:  
Нѣтъ жалости къ бѣдамъ несчастна Ипполита,  
Иль Ифигенія, стонащей отъ отца;  
Одинъ лишь «Сынъ Любви» здѣсь трогаетъ сердца!  
«Гусситы», «Попугай» предпочтены «Сорені»  
И Коцебатина одна теперь на сценѣ<sup>2)</sup>.

Не смотря на то, драмы Коцебу издавались въ сборникахъ и отдѣльно, и служили занимательнымъ чтеніемъ. Кромѣ переводовъ были и подражанія Коцебу. Н. Ильинъ написалъ „Лизу или торжество благодарности“ (1803), „Великодушіе или рекрутскій наборъ“ (1804); В. Ѳедоровъ: „Лизу или слѣдствія гордости и обольщенія“ (1804); Ѳ. Ивановъ: „Семейство Старичковыхъ, или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадетъ“ (1808). Эти пьесы также нравились и долго давались на сценѣ. Со введеніемъ въ поэзію романтическихъ элементовъ явилась драма романтическая и мелодрама, такъ названная потому, что въ ней лучшія драматическія мѣста, монологи и діалоги дѣйствующихъ лицъ сопровождались музыкою. Такъ какъ въ этихъ случаяхъ главнымъ образомъ разсчитывали на эффектъ и для этого жертвовали естественностію и правдой, то слово „мелодраматическій“ стало означать недостатокъ драмы—неестественность, излишнюю искусственность.

<sup>1)</sup> Семейная хроника и воспоминанія С. Т. Аксакова, въ статьѣ—Яковъ Емельяновичъ Шухеринъ, II, 231—301. Его же литературныя и театральныя воспоминанія въ Русской Бесѣдѣ 1856 г. кн. 4.

<sup>2)</sup> Сочин., стр. 145—146.

### А. А. ШАХОВСКОЙ.

Во главѣ писателей, писавшихъ для театровъ и заботившихся объ его усовершенствованіи, безспорно надобно поставить князя Шаховскаго: это былъ Сумароковъ своего времени; по крайней мѣрѣ, по страстной любви къ театру, по множеству драматическихъ піесъ, имъ написанныхъ, по своей суетливости, бойкости и живости, и вообще по своему задорному характеру, онъ весьма много напоминаетъ собою „россійскаго Расина“, хотя во многихъ отношеніяхъ стоитъ выше его.

Князь Александръ Александровичъ Шаховской (1777—1846)<sup>1)</sup>, воспитанникъ Московскаго университетскаго пансіона, по окончаніи въ немъ курса, поступилъ въ Преображенскій полкъ; но скоро, бросивъ военную службу, онъ перешелъ въ театральную дирекцію и всю продолжительную жизнь свою посвятилъ исключительно театру. Директоръ Петербургскаго театра, Нарышкинъ, для набора иностранныхъ артистовъ, отправилъ Шаховскаго за границу; Шаховской превосходно воспользовался этимъ случаемъ для развитія своего драматическаго таланта и для изученія театральной науки, и все, что онъ видѣлъ хорошаго въ разныхъ европейскихъ театрахъ, онъ старался потомъ перенести въ русскіе театры. Существенную его заслугу въ этомъ отношеніи составляетъ то, что онъ устроилъ театральную школу для приготовленія молодыхъ артистовъ изъ русскихъ. Заботясь объ успѣхахъ русской драматической поэзіи, онъ въ 1808 г. началъ издавать „Драматическій Вѣстникъ“ съ цѣлію „выскапывать въ древнихъ сочиненіяхъ все, касающееся художествъ, и тѣмъ содѣйствовать отвращенію дурнаго вкуса, который, господствуя въ новыхъ иностранныхъ сочиненіяхъ, развращающихъ и умъ и сердце, угрожаетъ заразить и нашу словесность“. Въ Драматическомъ Вѣстникѣ, кромѣ чисто литературныхъ произведеній, помѣщались историческія и теоретическія статьи о театрѣ, главнымъ образомъ переводы изъ Вольтера, печатались нападки на мѣщанскія драмы и особенно на нѣмецкія драмы Копцебу. Гостепріимный домъ Шаховскаго былъ центральнымъ мѣстомъ собранія всѣхъ любителей театра, всѣхъ писателей и артистовъ. Въ 1818 г. вслѣдствіе столкновенія съ директоромъ театровъ, Тюфякинымъ, онъ оставилъ театръ, но постоянно продолжалъ писать разныя піесы для театра. Въ 1825 г. вслѣдствіе непріятностей съ княземъ Долгоруковымъ онъ переѣхалъ изъ Петербурга въ Москву; въ Москвѣ онъ также заботился объ усовершенствованіи театра и сочинялъ для него піесы.

По литературному направленію Шаховской былъ сначала строгій классикъ и слѣдовалъ французской драматической теоріи,

<sup>1)</sup> Историческая Хрестоматія Галахова, II, 414—420. Примѣчанія Сантова къ сочиненіямъ Ватюшкова, III, 600—602.



принадлежалъ къ школѣ Шишкова и былъ членомъ Бесѣды любителей русскаго слова. Какъ поклонникъ Шишкова, онъ нападалъ на сентиментальное направленіе и осмѣялъ его въ своей комедіи „Новый Стернь“<sup>1)</sup>. Къ драматическимъ писателямъ онъ относился враждебно, представляя ихъ себѣ своими соперниками. Расположенный сначала къ Озерову, онъ, послѣ его успѣховъ на сценѣ, сталъ вредить ему. Въ комедіи „Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды“ (напеч. въ 1815 г.), въ лицѣ балладника Фіалкина, онъ въ смѣшномъ видѣ выставилъ Жуковскаго. Въ послѣдствіи онъ и самъ перешелъ на сторону романтизма и сталъ заимствовать сюжеты для своихъ произведеній у романтическихъ поэтовъ. Шаховской былъ чрезвычайно плодовитый писатель; число піесъ, имъ написанныхъ, доходитъ до 100. Между ними есть драмы, трагедіи, комедіи, водевили, оперы и балеты; но главнымъ родомъ, вполне соотвѣтствовавшимъ его таланту, была комедія; Шаховской былъ комическій писатель. Сюжеты для своихъ произведеній онъ заимствовалъ отовсюду: его „Дебора или торжество вѣры“—трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ есть подражаніе Гоэоліи Расина (изд. въ 1811 г.); „Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды“—комедія, заимствованная изъ французской піесы: *La coquette*; „Не люблю не слушать, а лгать не мѣшай“, комедія въ одномъ дѣйствіи—изъ французской піесы *Le menteur*; „Китайскій сирота“, трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ—изъ Вольтера; „Иваной, или возвращеніе Ричарда львиного сердца“—романтическая комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ—изъ романа Вальтера Скотта „Айвенго“; „Буря“, волшебнo-романтическое зрѣлище—изъ Шекспира; „Таинственный карло или долина чернаго камня“—романическая драма въ 5-ти дѣйствіяхъ—изъ Вальтера Скотта; „Алеппскій горбунъ или развѣтъ ума и красоты“—водевиль изъ арабскихъ сказокъ. „Аристофанъ или представленіе комедіи: Всадники“, историческая комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ, написана „въ древнемъ родѣ и въ разномѣрныхъ стихахъ греческаго стопосложенія“ (М. 1828)<sup>2)</sup>. Но особенно, при выборѣ сюжетовъ, Шаховской слѣдовалъ своему патріотизму. „Успѣвши нѣсколько въ старомъ, или обыкновенномъ писалъ онъ князю Одоевскому, я ищу для нашего театра если не совсѣмъ новаго, то по крайней мѣрѣ, не столь условнаго, какъ драматическія подражанія, принесенныя къ намъ съ пудрою, шитыми кафтанами и красными каблуками изъ Парижа. Я хочу моими опытами открыть дорогу людямъ, имѣющимъ больше моего дарованія, для обогащенія нашей драматической литературы, и даже къ созданію своего собственнаго театра на обширномъ и прочномъ фундаментѣ“<sup>3)</sup>. Съ

<sup>1)</sup> Появился на сценѣ въ 1805 г.; 1-е изданіе въ 1817 г., 2-е въ 1822.

<sup>2)</sup> Лѣтопись русскаго театра. Составилъ П. Араповъ. Спб. 1861 г. стр. 204. 238—239. 268. 190. 302. 306. 332. 382—383.

<sup>3)</sup> Русскій Архивъ 1864 г. стр. 806—807.

этою цѣлю онъ часто бралъ сюжеты для своихъ пьесъ изъ русской исторіи и литературы. Онъ написалъ: „Ломоносовъ, или рекрутъ-стихотворецъ“, опера-водевиль (1816)—изъ жизни Ломоносова, который, возвращаясь въ Петербургъ изъ Марбурга, попался въ руки прусскихъ вербовщиковъ; „Соколъ князя Ярослава Тверскаго, или суженый на бѣломъ конѣ“—изъ преданія о построеніи Тверскаго Отрочь-монастыря; „Иванъ Сусанинъ“; „Двумужница, или за чѣмъ пойдешь, то и найдешь“—романтическая драма изъ жизни волжскихъ разбойниковъ; „Финнъ“, волшебная трагедія—изъ Руслана и Людмилы Пушкина; „Юрій Милославскій“—изъ романа Загоскина; „Рославлевъ“—тоже изъ романа Загоскина; „Федоръ Григорьевичъ Волковъ“—изъ жизни основателя русскаго театра въ Ярославлѣ; „Смольняне“, защита Смоленска Шейнымъ отъ Поляковъ. Для насъ особенно интересны: „Новый Стернь“, „Липецкія воды“, „Пустодомъ“ (изд. 1820), „Двумужница“, „Расхищенные шубы“ и „Базаръ стихотворецъ“<sup>1)</sup>.

Содержаніе комедіи „Новый Стернь“ (въ 1 дѣйствіи) состоитъ въ слѣдующемъ. Графъ Пронскій, начитавшись чувствительныхъ путешествій, самъ пустился путешествовать за 500 верстъ отъ Москвы. Слуга его Ипатъ говоритъ: „Мы, сударь, смотря по погодѣ вздыхаемъ, плачемъ, восхищаемся, умиляемся, трогаемся. Ясное солнце согрѣваетъ наши чувства; ужасный морозъ напрягаетъ нашу жизненность: быстрый ручей мелодією своею питаетъ вашу меланхолію; тихое озеро служитъ зеркаломъ нашей сентиментальности; наконецъ, ведро, вѣтеръ, дождь, горы, лѣса, луга, болота, люди, скоты, птицы, мухи, комары... все имѣетъ вліяніе на нашу душу; словомъ мы сентиментальныя вояжеры“. Англійской собачкѣ Леди, которую переѣхали колесомъ, Пронскій воздвигаетъ „Монументъ вѣчности“. Встрѣтивъ крестьянку, дочь мельника, Маланью, онъ вообразилъ еѣ прелестной пастушкой, влюбился въ неѣ и хочетъ жениться на ней. „Чудна, пестра природа.... Здѣсь потерялъ я друга.... О Леди! Леди! тебя ужъ.... Слеза дружбѣ! Здѣсь встрѣтилъ я невинное существо, ангела въ образѣ интересной пастушки. Всю ночь мрачный Морфей не очернилъ зрѣнія моего; она была въ мысленныхъ очахъ моихъ. Напрасно я перелистывалъ Новую Элоизу; я вездѣ читалъ имя незнакомой дѣвушки“. Крестьяне смѣются надъ Пронскимъ, считая его сумасшедшимъ. „Рѣшено, что баринъ мой свихнулъ съ ума. Жаль, а у него сердце ангельское! Слезливые писатели, плаксивые сочинители! вы, вы загубили добраго моего господина; вамъ будетъ отвѣчать за него! Эти маленькія книжонки, что я носилъ ему изъ университетской лавки, поддѣли бѣднаго графа.... Разтолкуйте мнѣ, сударь, откуда выѣхала къ намъ эта сентиментальная чертовщина?

<sup>1)</sup> Лѣтопись русскаго театра. П. Арапова, стр. 232—233. 343. 243. 361. 281—288. 241. 215—216.

Она сформировалась въ Англіи,—отвѣчаетъ на это Судбинъ—попортилась во Франціи, раздулась въ Германіи, а къ намъ вывезли её въ такомъ жалкомъ состояніи....“.

Судбинъ, другъ отца Пронскаго, прикинувшись крестьяниномъ, хочетъ вразумить его и вылечить отъ сентиментальности. Когда графъ объявляетъ ему, что онъ „по примѣру многихъ чувствительныхъ людей вздумалъ объѣхать всю Россію, а потомъ и далѣе“, Судбинъ говоритъ ему: „славно, баринъ, спасибо тебѣ! Ты хочешь узнать всю святую Русь. Ты, чай, сыночекъ знатнаго барина, служишь царю государю, такъ почему жъ тебѣ не быть въ чинахъ: губернаторомъ, намѣстникомъ или еще болѣе. И потому то, знать, ты и объѣзжаешь всѣ земли, чтобы узнать, гдѣ чѣмъ промышляютъ, гдѣ что родится, гдѣ много земли, да мало рукъ, гдѣ мало земли, да много рукъ, гдѣ мужички зажиточны, гдѣ они нищіе, чѣмъ можно поправить ихъ обиходъ, чѣмъ пособить злу, какъ сдѣлать добро“.... Графъ удивляется, что простой крестьянинъ такъ разсуждаетъ. Когда же онъ на сдѣланное предложеніе получилъ рѣшительный отказъ, Судбинъ ему говоритъ: „сегодняшній день долженъ вамъ открыть глаза: вы презрѣны крестьянскою дѣвушкой, осмѣяны ребятишками, чуть чуть не родня Ипату. Вы должны почувствовать, сколь воображеніе молодого чувствительнаго человѣка, возпламененное взбалмошными писателями, можетъ быть для него пагубно. Рожденный съ чувствами пламенными, сердцемъ нѣжнымъ, душою пылкою, молодой человѣкъ, начитавшійся писателей, которые, не смотря на ихъ ложныя мысли, одарены нѣкоторымъ краснорѣчіемъ, можетъ на минуту заблуждаться; но при первомъ свѣтѣ разсудка, онъ долженъ выйти на истинный путь“.

Осмѣивая сентиментальныхъ путешественниковъ, авторъ имѣетъ намѣреніе осмѣять все сентиментальное направленіе и имѣетъ въ виду преимущественно путешествія по Россіи Измайлова и Шаликова, косвенно и Письма русскаго путешественника Карамзина.

Сюжетъ піэсы „*Липецкія воды*“ составляетъ приключеніе одной барыни на липецкихъ водахъ. Графиня Лелева пріѣхала на воды не лечиться, а веселиться. Ее окружаетъ множество поклонниковъ, но она расположена къ одному изъ нихъ, полковнику Пронскому, участвовавшему въ Наполеоновскихъ войнахъ 12, 13 и 14-го годовъ: она старается отвлечь его отъ двоюродной своей сестры Ольги Холмской, въ которую онъ влюбленъ. Между тѣмъ на воды пріѣзжаетъ двоюродный братъ Пронскаго, Ольгинъ, прежній поклонникъ графини; графиня и ему назначаетъ свиданіе. Открытіе или разоблаченіе этого кокетства графини и составляетъ содержаніе піэсы, которой поэтому дано названіе: „Урокъ кокеткамъ“. Между поклонниками графини представленъ поэтъ-балладникъ Фіалетинъ, въ лицѣ котораго изображенъ Жу-

ковскій. Вотъ сцена, въ которой онъ выведенъ. Проводивъ домой всѣхъ другихъ поклонниковъ, графиня поручаетъ выпроводить Фіалкина своей горничной Сашѣ.

Графиня: Отправь его скорѣй...

Саша: Придите къ намъ уже съ гитарою своей  
Позовже.

Фіалкинъ: Вишена мнѣ гениемъ баллада,  
И посвятить хочу графинѣ сердца плодъ.  
(Графинѣ) Примите....

Графиня: Что, сударь?

Фіалкинъ: Творенье небольшое,  
Но есть въ немъ кое-что. Я выбралъ модный родъ  
Балладъ.

Графиня: Я ихъ люблю.

Саша: А прозвище какое?

Фіалкинъ: Омиръ или Омеръ. Еще не рѣшено,  
Какъ должно звать его, и для того я или  
Поставилъ, чтобъ меня журналы не бранили.

Саша: Да дѣло въ чемъ? а не нль ми, намъ все равно.

Фіалкинъ: Поэтъ бессмертный, кѣмъ была воспѣта Троя,  
Лишенный глазъ, любви талантъ свой посвящалъ.

Графиня: Гомеръ влюбился!

Фіалкинъ: Ахъ! кто пѣлъ и не любилъ?  
Ахилла славилъ онъ, чтобъ улыбнулась Хлоя.

Графиня: Вотъ это новое!

Фіалкинъ: Не думаете-ль вы,  
Чтобы поэтомъ быть, довольно дарованья,  
Воображенія, въ словесности познанья,  
Души возвышенной, хорошей головы  
И прочаго?—Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Этого все мало.

Графиня: И даже прочаго!—Что жъ нужно для него?

Фіалкинъ: Въ немъ сердце быть должно, которо бъ заливало  
Слезу горячую въ грудь друга своего;  
Чтобы онъ чувствовалъ, чтобъ чувствовалъ какъ бьется  
Любовью вѣщее; чтобы въ природѣ всей  
Онъ видѣлъ милую, чтобъ жилъ одною ей;  
Чтобъ тонкій вкусъ имѣлъ....

Саша (въ сторону): Гдѣ тонко, тамъ и рвется.

Фіалкинъ: Чтобы въ скромной хижинѣ виѣщалъ онъ цѣлый міръ  
И утро бы ему наввно улыбалось,  
И веселилъ его одной природы пиръ;  
Чтобъ онъ любилъ.... какъ я!...

Графиня: Намъ времени осталось

Немного, такъ прошу....

Фіалкинъ: Увы! когдабъ я могъ  
Баллады пѣніемъ тотъ выразить восторгъ,  
Которымъ воспламененъ Омеръ, пѣвецъ всесвѣтнй.

Графиня (въ сторону): Въ пѣнь снесите вздоръ. (Ему) Пропойте.  
Фіалкинъ (настраивая гитару): Я готовъ.

Баллада.

«Пѣлъ безсмертный славу Трою,  
Пѣлъ родныхъ Пріама чадъ,  
Пѣлъ Ахилла, жадна къ бою,  
Пѣлъ Елены милый взглядъ!  
Но чувствительность слезами  
Излила глаза пѣвца.  
Ахъ, мы любимъ не глазами:  
Для любви у насъ сердца,  
И безсмертный подъ сѣтами  
У безсмертнаго слѣнца».

Я мысли освѣжить хотѣлъ игрою словъ:  
Поймалъ подъ сѣтъ свою Амуръ, слѣпецъ безсмертный,  
Безсмертнаго слѣнца Омера.

Графиня (въ сторону): Что за вздоръ!

Саша: Слѣпецъ слѣнца ведетъ—прекрасно!

Фіалкинъ: Ахъ! вѣщъ взоръ

Рѣшитъ судьбу слѣнца!

Графиня: Онъ очень милъ.

Саша: А сколько

Куплетовъ всѣхъ?

Фіалкинъ: Всего ихъ сорокъ восемь.

Саша: Только!

Фіалкинъ: Не больше.

Графиня (Сашѣ): Ахъ, спаси!

Саша (Фіалкину): Бездѣлица, да насъ  
Ждетъ туалетъ. А вамъ не время-ль на Парнасъ?

Графиня: Могу-ль я быть въ надеждѣ,

Что нынче въ вечеру услышу...

Фіалкинъ: А не прежде?

Графиня: Не прежде; но прошу, скажите мнѣ пока  
Сюжетъ.

Фіалкинъ: Омеръ сидитъ въ лѣсу у ручейка  
И къ Хлоѣ страсть поетъ....

Саша: Покуда перестанетъ.

Фіалкинъ: Нѣтъ, ошибаетесь! Покуда громъ не грянетъ,  
Покуда бурями чреватъ небеса  
Не хлынутъ океанъ на землю....<sup>(1)</sup>

Эта не замысловатая и не остроумная сатира послужила поводомъ къ тому, что вся партія Жуковскаго напала на Шаховскаго и на него также явилось множество сатиръ и эпиграммъ; Шахов-

<sup>1)</sup> Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды. Спб. 1815. стр. 47—55.

скаго стали называть Шутовскимъ и злымъ Гашпаромъ (главное лице въ поэмѣ „Расхищенные шубы“). „Липецкія воды“ интересовали современную публику еще тѣмъ, что въ нихъ весьма сильно выражался патріотическій элементъ: дѣйствующія здѣсь лица въ своихъ рѣчахъ и монологахъ высказываютъ свои чувства любви къ отечеству, вспоминаютъ о Лейпцигѣ, Кульмѣ, Парижѣ. Это было въ 1815 г. Какъ продолженіе „Липецкихъ водъ“ въ 1820 г. появилась одноактная комедія въ стихахъ: „Какаду, или слѣдствіе урока кокеткамъ“.

Въ комедіи „Пустодомы“ изображены Радугины—мужъ и жена, помѣщики, промотавшіеся отъ своей непрактичной и безпутной жизни. Князь Радугинъ, совершенно не зная русской жизни, составляетъ разные планы и проекты или совершенно не выполнимые, или совершенно бесполезные, по совѣту своего домашняго библіотекаря Инквартуса и управляющаго дома Цаплина, и входитъ въ долги. Вотъ какъ описываетъ Радугина слуга его:

Нашъ князь все въ мірѣ знаетъ,  
Всѣ въ небѣ звѣздочки по пю называетъ,  
Кто до потопа жилъ, извѣстно все ему;  
А то, что дѣлаютъ теперь въ его дому,  
Не вѣдаетъ, и знать ему какъ будто стыдно....

.....  
Когда изъ-за моря онъ въ свой явился полкъ,  
То, году не служа, въ отставку сталъ проситься;  
Толкуя вещи всѣ на свой ученый толкъ,  
Его сіятельство нашель, что не годится  
Ему, какъ всѣмъ, ходить и въ караулъ и въ строй;  
Что офицерскій чинъ для мудреца ничтоженъ;  
Что онъ фельдмаршаломъ, или ничѣмъ быть долженъ.

Радугинъ вышелъ въ отставку и женился. Довѣривъ свои дѣла и домъ своему прикащику плуту Цаплину, онъ

Хозяинничать въ село профессоровъ отправилъ;  
А при лицѣ своемъ Инквартуса оставилъ,  
Который прочихъ всѣхъ ученыхъ и глупѣй.

Они начали дѣлать выписи, составлять проекты:

Ты только извлекай, а я, занявшись слогомъ,  
Извѣстнымъ мнѣніямъ дамъ новый оборотъ  
И помѣщу свои статьи для домоводства.  
Мои плантаціи, заводы, скотоводства,  
Домы крестьянскіе, трехверстный водоводъ,  
Отопка турфами, овини, молотильни,

Свекольный сахаръ, все . . . и самыя коптильны  
Невѣжей просвѣтять.—Я выставлять хочу  
Всего полезнаго село мое въ обращикъ,  
И только что рапортъ оттуда получу,  
То и выйщу въ журналъ. (4—5. 9).

Но всѣ планы его не удались. Свекольный заводъ оказался невыгоднымъ; мериносовыхъ овецъ пасти было негдѣ; а турфы на винномъ заводѣ такъ плохо горятъ, что выходитъ не вино, а хлѣба переводъ. Радугинъ въ негодованіи всѣ неудачи сваливаетъ на русскій климатъ и русское невѣжество.

Не стыдно ль звать климатомъ  
Морозы, вьюгу, дождь и вѣчную зиму,  
Гдѣ гибнетъ все, нельзя родиться ничему;  
И въ царствѣ клюквою, брусникою богатою  
Что можно завести?  
. . . . . Нѣтъ сомнѣнья,  
Все перепорчено отъ пьянства, нерадѣнья  
И отъ невѣжества.... (12—16).

Признавъ источникомъ всѣхъ своихъ неудачъ невѣжество, онъ берется за воспитаніе, хочетъ вездѣ постронть школы и учить въ нихъ насильно своихъ крестьянъ. Но дѣло ограничилось составленіемъ плановъ, къ чему онъ только и способенъ со своимъ руководителемъ Инквартусомъ. Инквартусъ—одинъ изъ тѣхъ ученыхъ педантовъ, которые весь вѣкъ все изучаютъ и обо всемъ разсуждаютъ, полагая всю суть въ самомъ процессѣ разсужденія. Когда Радимовъ замѣчаетъ ему, что важнѣе всѣхъ наукъ на свѣтѣ—наука Правдологія

Но правдѣ въ свѣтѣ жить,  
Отъ правды не лжнать, за правду не сердиться;  
Въ душѣ, на языкѣ всегда её имѣть  
А если надобно, за правду умереть,

Инквартусъ пускается въ такія разсужденія:

Позвольте, знаю все: цѣль вашего ученія  
Есть правда; спорить въ томъ не можете никакъ:  
А правда съ истиной сословы <sup>1)</sup> суть; и такъ  
Цѣль Правдологіи есть къ истинѣ стремленіе;  
А философія не есть ли точно тожъ?  
Не всѣ-ль философы отъ Канта до Сократа

---

<sup>1)</sup> Синонимы.

Стремились къ истинѣ и отвергали ложь?  
Хоть философія системами богата,  
Но цѣль одна. Примѣръ: Зенона стоицизмъ,  
Пиррона скептицизмъ, Спинозы реализмъ,  
И Фихтовъ иттензмъ съ Берклея идеизмомъ,  
Сократо-платонизмъ съ антропофилензмомъ,  
Суперъ-натурализмъ, перипатетицизмъ,  
Доризмъ, именизмъ, кратизмъ, фиксизмъ и фатализмъ;  
Такъ безъ софизмовъ я все кончу силлогизмомъ,  
Что правды ригоризмъ въ греко-руссичизмомъ  
Хотѣли выразить,—и я васъ угадаю.

Р а д и м о в ъ.

Да изъ какихъ земель васъ князю Богъ послалъ?  
И этихъ измовъ всѣхъ откуда ты набрался?

И н к в а р т у с ъ.

Я родомъ съ Эзеля, но въ Галлѣ просвѣщался  
И человѣкомъ сталъ!....

Р а д и м о в ъ.

Скажите-жъ, человѣкъ,  
Что съ княземъ путнаго надѣлали вы въ свѣтъ?

И н к в а р т у с ъ.

Училися, учимся, учиться будемъ въ вѣкъ....

Въ столѣ и на столѣ найдете сто началъ,  
О ста матеріяхъ....<sup>1)</sup>.

Сестра князя, Наталья, закладываетъ свое наслѣдство, чтобы поправить его дѣла; дядя его Радимовъ, узнавъ о разореніи его, пріѣзжаетъ въ городъ, выкупаетъ имѣніе и ихъ самихъ увозитъ въ деревню.

Часто давалась на сценѣ „*Двумужница*“, или зачѣмъ пойдешь, то и найдешь“, романтическая драма въ двухъ частяхъ (Спб. 1836 г.). Она нравилась тѣмъ, что въ ней изображались старыя святочные игры и старыя пѣсни и вообще присутствіемъ народнаго элемента. Интересовалъ также безобразный бытъ волжскихъ разбойниковъ. Изъ характеровъ обращаютъ на себя вниманіе сваха Кузминична и старецъ Савватій.

„*Казакъ стихотворецъ*“—анекдотическая опера-водевиль въ одномъ дѣйствіи (изданіе 2-е Спб. 1817).

---

<sup>1)</sup> Комедія Шаховскаго «Пустодомъ». Спб. 1820 г., стр. 4—5; 9; 12—13; 56—58.



Дѣйствующія лица въ этой пiесѣ—казакъ Климовскій, тысяцкій Прудіусъ, Маруся—невѣста Прудіуса, любовница Климовскаго и др. Пiеса давалась на сценѣ съ большимъ успѣхомъ, благодаря малорусскимъ пѣснямъ, положеннымъ на ноты. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ-то: Ъхавъ казакъ за Дунай, сказавъ дивчинѣ прощай, были въ большомъ ходу и вошли въ разные пѣсенники.

„*Расхищенныя шубы*“—поэма-комедія или комическая поэма. Какъ пародія на эпическія поэмы, она также начинается словомъ „пою“.

Пою брамолою забавы пресѣченны,  
И муфты, и хвосты, и шубы расхищенны.

Дѣйствіе происходитъ на святкахъ въ мѣщанскомъ клубѣ. Главными дѣйствующими лицами являются аллегорическія лица: Веселость и Раздоръ. Раздоръ, недопущенный въ собраніе Веселости, внушаетъ старшинѣ собранія переплетчику Гашпару мысль надѣлать двойныхъ ярлыковъ, изъ коихъ одни должны быть приколоты къ шубамъ, а другіе розданы посѣтителѣмъ для скорѣйшаго отысканія одежды. Съ этими ярлыками Гашпаръ является въ совѣтъ старшинъ, предложеніе его возбуждаетъ споръ и поднимается страшный шумъ.

Шаховской, мы замѣтили, писалъ очень много. Подобно Сумарокову, бывшему первымъ директоромъ театра и въ тоже время поставщикомъ пiесъ для него, онъ также былъ присяжнымъ писателемъ для театра. Онъ не успѣвалъ ни вдумываться въ сюжетъ пiесы серьезно, ни обрабатывать его художественно. Поэтому между множествомъ его пiесъ мы не находимъ ни одной классической пiесы, сохранявшей свое значеніе надолго. Да и таланта у него не было такого, чтобы писать такія пiесы; у него не было глубины взгляда, ни серьезности мысли. У него была наблюдательность, бойкость и живость, воображеніе и остроуміе. Съ этими качествами онъ въ обиліи могъ доставить матеріалъ для спектаклей, не особенно цѣнный и богатый по своему содержанію и внутреннему значенію, но разнообразный и интересный. Онъ не былъ строго разборчивъ: что происходило вокругъ него на сценѣ или въ обществѣ, онъ, нисколько не стѣсняясь, вставлялъ въ свои пiесы, задѣвалъ извѣстныя личности, рисуя ихъ портреты, намекая на извѣстные случаи. Это придавало его пiесамъ характеръ современности и близости къ жизни.

Къ кружку Шаховскаго принадлежали Кокошкинъ, Катенинъ и Карабановъ.

Федоръ Федоровичъ Кокошкинъ (род. 1773 г.), подобно Шаховскому, сначала также принадлежалъ къ дирекціи Петербургскаго

театра, былъ членомъ по репертуарной части, а потомъ директоромъ Московскаго театра. Занимая эту должность, онъ весьма много пользы принесъ театру. Будучи самъ хорошимъ артистомъ, онъ училъ актеровъ театральному искусству, образовалъ Щепкина, Мочалова и много другихъ артистовъ. Первую извѣстность въ литературномъ мѣрѣ онъ приобрѣлъ переводомъ „Мизантропа“ Мольера<sup>1)</sup>, а потомъ писалъ оригинальныя пьесы для театра. Домъ его былъ центромъ, гдѣ устраивались благородные спектакли и литературные вечера, на которые собирались разные писатели и артисты.

Павелъ Александровичъ Катенинъ (1792—1853) принадлежалъ къ школѣ Шишкова и представлялъ собою такой образецъ классика, что не допускалъ даже возможности другаго направленія въ драматической поэзіи, кромѣ классическаго, и другихъ образцовъ драмы, кромѣ драмъ Корнеля и Расина. Когда явилась романтическая драма и когда самъ Шаховской перешелъ на ея сторону, то онъ возсталъ противъ нея съ особенною силою. Въ „Литературной Газетѣ“ Дельвига онъ напечаталъ рядъ критическихъ статей, подъ заглавіемъ „Размышленія и Разборы“. Въ этихъ разборахъ онъ между прочимъ разобралъ „Чтенія о драматической поэзіи“ Августа Шлегеля, гдѣ представлена параллель между древней и новой драмой, между трагедіями Корнеля, Расина и Вольтера и между трагедіями Шекспира. Свои теоретическія положенія онъ старался подкрѣпить образцами. Для этого онъ перевелъ изъ Корнеля 4-е дѣйствіе „Гораціевъ“ (1817) и „Сида“ (1822),—изъ Расина „Есфирь“ (1816) и кромѣ того, въ подражаніе Расину, написалъ свою трагедію „Андромаху“. Пушкинъ, оцѣнивая литературный талантъ и дѣятельность Катенина, вѣроятно, на основаніи этихъ переводовъ, сказалъ, что онъ „воскресилъ Корнеля геній величавый“; но этотъ отзывъ несправедливъ, или по крайней мѣрѣ слишкомъ преувеличенъ; переводы Катенина далеко не выражаютъ силы подлинника, а его „Андромаха“ не можетъ быть и сравнима съ своимъ образцомъ<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Мизантропъ, ком. въ 5 дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. Мольера. Перевелъ П. Кошкенинъ. М. 1816. Дѣйствующія лица Мольера—Альцестъ, Селимена, Фидинтъ, Фронтъ являются подъ именами: Крутона, Людмила, Прелестинной и т. д. въ томъ же родѣ.

<sup>2)</sup> Сочиненія и переводы въ стихахъ.... Спб. 1832.

### А. Ө. МЕРЗЛЯКОВЪ.

Алексѣй Өеодоровичъ Мерзляковъ (1778—1830) былъ сынъ небогатаго купца въ городѣ Далматовѣ пермской губерніи <sup>1)</sup>. Перемѣной своей судьбы ближайшимъ образомъ онъ обязанъ своему дядѣ, который взялъ его изъ захолустнаго города къ себѣ въ Пермь, и директору пермской гимназіи, И. И. Панаеву, который случайно встрѣтилъ его у дяди и, замѣтивъ его способности, записалъ его въ народное училище и сталъ слѣдить за его успѣхами. Черезъ годъ 14-лѣтній мальчикъ Мерзляковъ принесъ Панаеву свою „Оду на заключеніе мира со Шведами“. Панаевъ представилъ эту оду пермскому губернатору Волкову,—Волковъ отправилъ ее къ главному начальнику народныхъ училищъ графу Завадовскому, а Завадовскій поднесъ ее самой императрицѣ Екатеринѣ II. Екатерина „приказала напечатать сіе сочиненіе въ издаваемомъ тогда при Академіи Журналѣ и сверхъ того нѣсколько экземпляровъ особенно для сочинителя“. Эти экземпляры были присланы въ Пермь, при высочайшемъ рескриптѣ, къ директору, съ повелѣніемъ, чтобы, по окончаніи курса наукъ въ училищѣ, Мерзляковъ былъ отправленъ на казенный коштъ въ Петербургъ или Москву для продолженія наукъ. Въ 1793 году Мерзляковъ окончилъ курсъ въ пермскомъ училищѣ и отправленъ былъ въ Москву къ куратору университета, Хераскову, и поступилъ въ знаменитое тогда общество Новикова. Сначала онъ учился въ гимназіи, а потомъ въ университетѣ, гдѣ греческую, латинскую и русскую словесность слушалъ у Сохацкаго и Чеботарева. Ко времени ученія въ университетѣ относятся его первые опыты стихотвореній, которые онъ печаталъ въ журналѣ Подшивалова: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“; въ этихъ стихотвореніяхъ Мерзляковъ подражалъ съ одной стороны Ломоносову и Державину въ ихъ религіозно-философскомъ и восторженно-патріотическомъ направленіи, а съ другой для изліянія своихъ чувствъ въ пѣсни—Карамзину и Дмитріеву. Потомъ онъ участвовалъ въ томъ литературномъ собраніи, которое было основано Жуковскимъ при пансіонѣ Шадена, и сблизился съ самимъ Жуковскимъ; въ трудахъ воспитанниковъ пансіона, которые печатались подъ именемъ „Утренней Зари“, помѣщены были нѣкоторыя стихотворенія Мерзлякова. Еще въ то время, когда Мерзляковъ былъ бакалавромъ, ему, по опредѣленію университетской конференціи,

---

<sup>1)</sup> Смотри. Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Московскаго университета. М. 1855. II, 52—100. Алексѣй Өеодоровичъ Мерзляковъ. Біографическо-критическій очеркъ Н. Мизко. Русск. Старина 1879 г. январь. Историч. хрестоматія новаго періода русской словесности А. Д. Галахова II, 298—310. Л. Н. Майковъ: Сочин. Батюшкова II, примѣчанія, стр. 506—507.

нѣсколько разъ поручаемо было исправленіе учительской должности въ классахъ русской грамматики, при академической гимназіи. По новому образованію университета, Мерзляковъ былъ переименованъ изъ бакалавровъ въ кандидаты, а потомъ вскорѣ произведенъ въ магистры. Въ 1805 г. онъ получилъ степень доктора и званіе экстраординарнаго профессора. Когда профессоръ Чеботаревъ, по преобразованіи университета въ 1804 г., былъ избранъ ректоромъ, Мерзляковъ занялъ въ университетѣ кафедру русскаго краснорѣчія и поэзіи, на которой и оставался до конца своей жизни. Въ 1810 г. онъ былъ сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ. Кромѣ того, Мерзляковъ былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ „Общества любителей русской словесности“; не проходило ни одного собранія, въ которомъ бы онъ не читалъ своихъ сочиненій или въ стихахъ, или въ прозѣ. Въ 1812 г., по предложенію князя Голицына, онъ въ огромной залѣ его дома открылъ публичный курсъ словесности; лекціи продолжались весь великій постъ, по два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ; въ 10 лекцій прочтена была вся теорія изящныхъ наукъ. Нашествіе французовъ и смерть Голицына прекратили эти лекціи. Въ 1815 г. онъ издавалъ журналъ „Амфіонъ“ и здѣсь напечаталъ нѣкоторыя изъ своихъ лекцій и многія стихотворенія свои и переводы изъ древнихъ писателей и Тасса.

Въ 1816 г. возобновились „публичныя лекціи“ въ домѣ Аграфены Ѳедоровны Кокоскиной. Курсъ состоялъ изъ 24 лекцій и обнималъ сначала „сокращенно общія правила о краснорѣчіи и поэзіи“, потомъ „изложеніе правилъ различныхъ родовъ сочиненій“ и наконецъ „чтеніе и разборъ знаменитѣйшихъ русскихъ писателей“. Второй курсъ отличался отъ перваго болѣе критическимъ характеромъ. Какъ въ первомъ изложена была почти полная теорія краснорѣчія и поэзіи, такъ во второмъ, послѣ краткаго изложенія содержанія перваго курса, представлены критическіе разборы лучшихъ русскихъ поэтовъ во всѣхъ родахъ поэзіи.

Существенное отличіе Мерзлякова отъ предшественниковъ его, преподавателей словесности, Поповскаго, Барсова и Чеботарева, заключается въ томъ, что онъ рѣзче отдѣлилъ преподаваніе русской словесности отъ словесности античной, греко-римской, и далъ кафедрѣ словесности болѣе самостоятельное значеніе. Пржеіе преподаватели словесности учили студентовъ выражать мысли свои равно на языкѣ латинскомъ и русскомъ и разбирали образцы изъ русскихъ писателей наравнѣ съ греческими и латинскими, при этомъ руководствовались классическими книгами Гейнекціуса, особенно Эрнести; Мерзляковъ, хотя самъ былъ воспитанъ на классикахъ и въ классическомъ духѣ, слѣдовалъ нѣмецкому руководству Эшенбурга: Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen

Wissenschaften. По этой книгѣ онъ самъ составилъ нѣсколько руководствъ: 1) Краткая риторика, или правила, относящіяся ко всѣмъ родамъ сочиненій прозаическихъ; 2) Краткое начертаніе теоріи изящной словесности; 3) Краткое руководство къ эстетикѣ; 4) Конспектъ лекцій руссійскаго краснорѣчія и поэзіи. Собственно Мерзляковъ, передѣлывая Эшенбурга, немного измѣнялъ подлинникъ; въ иностраннымъ образцовымъ писателямъ онъ прибавилъ только русскихъ писателей; но въ основныхъ воззрѣніяхъ онъ иногда отступалъ отъ Эшенбурга. Эшенбургъ признаетъ начало, которое полагалъ Баттѣ для изящныхъ искусствъ — подражаніе изящной природѣ, не удовлетворительнымъ и вмѣстѣ съ Баумгартеномъ ставитъ высшимъ началомъ для изящныхъ искусствъ чувственное совершенство, представленное искусствомъ и напечатлѣнное на предметахъ нашего ощущенія. Мерзляковъ приводитъ оба эти мнѣнія Баттѣ и Эшенбурга и говоритъ: „подражаніе природѣ *эстетическое*, въ полномъ смыслѣ сего слова, можетъ быть также принято за начало всѣхъ искусствъ“. Впрочемъ, Мерзляковъ, хотя слѣдовалъ системѣ Эшенбурга, не особенно вѣрилъ въ твердость какихъ-нибудь началъ, какой-нибудь системы. „Произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметъ чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы, или науки изящнаго. Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ. Только критика вкуса имѣетъ свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный. Врожденная и совершенствуемая разумомъ, чувственная способность, вкусъ, вмѣстѣ съ критикой, основанной на сравненіи, доводитъ насъ до опредѣленія, сколько возможно, точнѣйшихъ границъ изящной природы, изъ которой почерпаютъ свои матеріалы всѣ искусства“. Важности историческаго изученія словесности Мерзляковъ, кажется, не сознавалъ; хотя въ его время и приготовлено было довольно матеріаловъ для исторіи словесности, но въ общей системѣ науки ея вліяніе еще не такъ сильно чувствовалось. Болѣе самостоятельныя воззрѣнія Мерзлякова обнаруживаются въ его отдѣльныхъ статьяхъ, именно въ лекціяхъ, читанныхъ въ 1812 году: 1) о талантахъ стихотворца; 2) о геніи, объ изученіи поэта, о высокомъ и прекрасномъ; 3) объ изящной словесности, ея пользѣ, цѣли и правилахъ; 4) объ изящномъ, или о выборѣ въ подражаніи; 5) объ основаніяхъ изящнаго въ примѣненіи къ родамъ и видамъ поэзіи; 6) о томъ, что называется дѣйствіемъ драмы. Въ статьѣ „Объ изящномъ или о выборѣ въ подражаніи“, онъ говоритъ: „поэзія есть подражаніе въ гармоническомъ слогѣ, иногда вѣрное, иногда украшенное—всему тому, что природа можетъ имѣть прелестнаго, трогательнаго, подражаніе сообразное съ намѣреніемъ поэта, съ его талантами и чувствами“. „Изобрѣтать въ искусствахъ не значитъ давать существо пред-

мету, но открывать этот предмет въ видѣ разительнѣйшемъ, узнавать новыя въ немъ черты, замѣчая, какое можетъ онъ на людей производить дѣйствіе“. „Природа стихотворцевъ весьма обширна; она заключаетъ въ себѣ четыре міра: міръ существующій, или дѣйствительный, т. е. физическій, нравственный и гражданскій; потомъ міръ историческій; далѣе міръ мифологическій; наконецъ міръ идеальный или возможный.“— „По какимъ признакамъ узнавать прекрасное, или изящное? Кажется, напрасно будемъ искать ихъ въ предметахъ, насъ окружающихъ. Если бы хотя на одно мгновеніе вдохновенный стихотворецъ, который у древнихъ именовался великимъ именемъ *vates*, могъ вознестись до такой высоты, чтобы взирать на всю вселенную и обнимать ее единымъ взглядомъ, тогда бы онъ увидѣлъ нѣчто превышающее все его воображеніе, увидѣлъ бы стройность, порядокъ, совершенство, благость Зидителя въ цѣломъ необъятномъ и въ частяхъ,—отъ твореній безконечно великихъ до твореній безконечно малыхъ, отъ видимыхъ простымъ глазомъ до едва зримыхъ окомъ вооруженнымъ, и возгласилъ бы въ сердечномъ святомъ восторгѣ: все совершенно, все прекрасно: *Велій еси Господи, и чудны дѣла Твоя*!“... Въ статьѣ: „О примѣненіи изящнаго къ родамъ и видамъ поэзіи“, Мерзляковъ говоритъ: „Пускай говорятъ, что чувства свободны отъ всякаго плана, отъ всякаго стѣсненія; это не справедливо. Природа и въ самую бурю, когда все, кажется, готово разрушиться, не теряетъ своей стройности, или лучше, самая буря имѣетъ свои законы, начало, переходы и конецъ; почему же не должны имѣть сего порядка, сихъ законовъ бури сердечныя? Въ порывахъ чувствъ есть своя система постоянная и вѣрная; ее-то долженъ открыть и исполнить стихотворецъ“. Такимъ образомъ Мерзляковъ обнаруживалъ самостоятельныя и глубокія воззрѣнія въ своей наукѣ, когда, оставляя своихъ учителей, предавался внутреннему своему источнику, врожденному чувству красоты, и своимъ добросовѣстнымъ наблюденіямъ природы и искусства; онъ не любилъ нѣмецкихъ системъ, основанныхъ на однихъ умозрительныхъ построеніяхъ. „Вотъ гдѣ система“, говорилъ онъ своимъ слушателямъ, указывая на сердце, признавая, что и въ самыхъ порывахъ чувствъ есть своя система постоянная и вѣрная.

Между русскими поэтами Мерзляковъ извѣстенъ какъ поэтъ лирическій. Границы лирической поэзіи, по его выраженію, простираются отъ божественнаго гимна и выпрenneй оды до простой сельской пѣсни. Къ лирическимъ произведеніямъ Мерзлякова относятся: 1) стихотворенія религіозныя: ода на разрушеніе Вавилона, выбранная изъ пророка Исаіи (14,5 — 28); пѣснь Моисеева, по прохожденіи Чермнаго моря; пѣснь Деворы и Варака; пѣснь Моисея, предъ его кончиною, собравшемуся Израилю; Гласъ Божій въ

громъ (Псал. 28); гимнъ Непостижимому и пѣснь на заложеніе храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ. Мы уже выше замѣтили, что въ этихъ стихотвореніяхъ Мерзляковъ является достойнымъ подражателемъ Ломоносова и Державина. 2) стихотворенія патріотическія, каковы: Мячковскій курганъ; стихи на побѣду русскихъ надъ французами при Кремѣ; „Обѣты Россіянъ, или храмъ російской славы“; „Россъ или обновленіе Европы“; „Гласъ народа отсутствующему Отцу отечества“; „Гласъ радованія восхищенныхъ Музъ, по случаю прибытія въ Москву императора Александра I“ и др. Какъ профессоръ университета и членъ Общества любителей отечественной словесности, Мерзляковъ былъ вдохновеннымъ и краснорѣчивымъ глашатаемъ истины, во имя просвѣщенія; въ этомъ случаѣ его поэзія принимала тонъ дидактическій; въ такомъ тонѣ онъ написалъ множество стихотвореній, по разнымъ случаямъ. Во времена Мерзлякова, какъ извѣстно, была въ большой модѣ форма романа, перенесенная въ намъ вмѣстѣ съ балладою и другими формами романтической поэзіи; Мерзляковъ написалъ нѣсколько романсовъ, которые были положены на музыку и постоянно распѣвались; таковы напр. дуэтъ: „Въ часъ разлуки пастушокъ“ на голосъ малороссійской пѣсни: „Ихавъ козакъ за Дунай“, и „Велизарій“:

Малютка, шлемъ нося, просилъ  
Для Бога пищи лишь дневная  
Слѣпцу, котораго водилъ,—  
Кѣмъ славны Римъ и Византія.  
«Тронитесь жертвою судьбы!  
(Онъ такъ прохожихъ умоляетъ)  
Подайте мальчику на хлѣбъ:  
Онъ Велизарія питаетъ....

—  
Вотъ шлемъ того, который былъ  
Для готовъ, вандаловъ грозомъ;  
Враговъ отечества сразилъ,  
Но самъ сраженъ былъ клеветомъ.  
Тиранъ лишилъ его очей,—  
И міръ хранителя лишился.  
Увы! Свѣтъ солнечныхъ лучей  
Для Велизарія закрылся».

Голосъ мальчика, посвятившаго себя великому слѣпцу и просящаго для него милостыни, возбуждалъ глубокое сочувствіе.

Но выше романа, для выраженія разныхъ чувствованій, Мерзляковъ ставилъ форму народной пѣсни. „Сильная страсть, сильная радость, отчаяніе не поютъ пѣсней; пѣсня есть собственно плодъ

уныніа, сладкаго сѣтованія, страсти тихой и нѣжной. Таковъ характеръ нашихъ народныхъ пѣсней, ознаменованныхъ истинною печатію природы; ибо ихъ произвело не искусство, но чувство простое, чуждое слишкомъ утонченнаго образованія“. Онъ самъ сочинилъ нѣсколько пѣсенъ въ народномъ духѣ, каковы: „Среди долины ровныа“; „Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить“; „Ахъ, что-жь ты, голубчикъ, не веселъ сидишь“ и „Чернобровый, черноглазый, молодецъ удалый“. Въ этихъ пѣсняхъ сказалось настоящее народное чувство; отъ того онѣ такъ и полюбились народу, что до сихъ поръ употребляются, особенно пѣсня: „Среди долины ровныа“, выражающая глубокую тоску одиночества. Дмитріевъ рассказываетъ, что она сочинена въ подмосковной деревнѣ Вельяминова-Зернова, гдѣ Мерзляковъ проводилъ лѣтнія каникулы. Разговаривая однажды о своемъ одиночествѣ, онъ взялъ мѣлъ и на открытомъ столѣ написалъ почти половину стихотворенія. Потомъ ему подложили перо и бумагу; онъ переписалъ написанное и окончилъ тутъ-же всю пѣсню <sup>1)</sup>).

Среди долины ровныа, на гладкой высотѣ,  
Цвѣтеть, растеть высокій дубъ въ могучей красотѣ.  
Высокій дубъ, развѣсистый, одинъ у всѣхъ въ глазахъ;  
Одинъ, одинъ бѣдняжка, какъ рекрутъ на часахъ....

Воспитанный на греческихъ и римскихъ классикахъ и ободряемый попечителемъ М. Н. Муравьевымъ, который считалъ необходимымъ внесеніе классическаго элемента въ русскую литературу, Мерзляковъ занимался переводомъ классическихъ сочиненій. Первыми опытами его переводовъ были: Сцены изъ Эврипидовой Алцесты и первая ода олимпійская Пиндара Гіерону Сиракузскому. Потомъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1805 г. явились эклоги Virgilіа съ нѣкоторыми эклогами Теоокрита, Біона и Мосха, Наука стихотворная Горація, перепечатанная нѣсколько разъ. Другіе переводы изъ Гомера, Тиртея, Пиндара, Сафо, Эсхила, Софокла, Эврипида, Каллимаха, изъ Энеиды Virgilіа, изъ Горація, Тибулла, Проперція и Овидія помѣщались въ разныхъ журналахъ и потомъ напечатаны были вмѣстѣ въ двухъ частяхъ, подъ заглавіемъ: „Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ“ (М. 1825—1826). Въ предисловіи къ этому сборнику Мерзляковъ говоритъ, что его цѣлью было „представить образцы древнихъ писателей во всѣхъ родахъ стихотворныхъ сочиненій, дабы учащійся могъ ихъ имѣть на своемъ языкѣ при самомъ истолкованіи правилъ Піитики“. О способѣ своего перевода онъ выражается: „смѣло могу

---

<sup>1)</sup> «Мелочи изъ запаса моей памяти», Дмитріева.



сказать, что почти всѣ представленныя здѣсь отрывки весьма близко переложены, но не переводы въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, ибо я, переводя въ стихахъ, и не могъ, и не хотѣлъ этого сдѣлать. Даже предупреждаю знатоковъ греческаго подлинника, что я многое соображалъ, что мнѣ казалось слишкомъ растянутымъ, или не относительно къ минутѣ дѣйствующей страсти; иное переставлялъ и соединялъ первый актъ съ пятымъ въ своемъ отрывкѣ, дабы составить изъ того нѣчто цѣлое драматическое“ и проч. Такое воззрѣніе на переводы Мерзляковъ заимствовалъ у французовъ, которые не умѣли, или не хотѣли вникать въ духъ подлинника и не понимали художественнаго смысла древнихъ произведеній. Подобно Тредьяковскому, который къ своимъ переводамъ присоединялъ предисловія, въ которыхъ подробно объяснялъ происхожденіе и значеніе стихотворной формы переводимаго сочиненія, Мерзляковъ также къ переводу эклогъ Виргилія приложилъ предисловіе объ эклогѣ вообще; въ предисловіи къ первому тому переводовъ и подражаній было приложено разсужденіе „о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерѣ трехъ греческихъ трагиковъ“. Изъ новыхъ литературъ Мерзляковъ перевелъ только „Идилліи г-жи Дезульеръ“ (М. 1807) и „Освобожденный Іерусалимъ“ Тасса (М. 1828 г.).

Мерзляковъ славился въ свое время, какъ краснорѣчивый ораторъ. Особенно часто онъ любилъ говорить рѣчи съ кафедръ въ торжественныя дни Московскаго университета и въ засѣданіяхъ Общества любителей россійской словесности. Между многими рѣчами интересна его рѣчь, произнесенная на актѣ въ университетѣ 30 іюня 1808 г.: „О духѣ, отличительныхъ свойствахъ поэзіи первобытной и о вліяніи, какое имѣла она на нравы и на благосостояніе народовъ“. Въ этой рѣчи, замѣчательной силою и картинностью выраженія, Мерзляковъ съ одушевленіемъ говорилъ о священной еврейской поэзіи и отдалъ ей преимущество предъ всѣми другими. При разборѣ поэзіи у другихъ народовъ мы встрѣчаемъ у него слѣдующее замѣчательное мѣсто о русскихъ пѣсняхъ: „О, какихъ сокровищъ мы себя лишаемъ!—Собирая древности чуждыя, не хотимъ заняться тѣми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши!—Въ русскихъ пѣсняхъ мы бы увидѣли русскіе нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть. Въ нихъ бы полюбили себя снова и не постыдились такъ называемаго первобытнаго своего варварства. Но пѣсни наши время отъ времени теряются, смѣшиваются, искажаются, и наконецъ совсѣмъ уступятъ блестящимъ бездѣлкамъ иноземныхъ трубадуровъ. Неужели не увидимъ ничего болѣе, подобнаго несравненной пѣсни Игорю!“

Послѣ критической дѣятельности Сумарокова, которая имѣла чисто стилистическій характеръ и состояла только въ указаніи

совершенство или недостатковъ языка и слога разбираемыхъ писателей, Мерзляковъ былъ первымъ замѣчательнымъ критикомъ въ нашей литературѣ, обращавшимъ вниманіе уже на достоинство содержанія и внутренній характеръ литературныхъ произведеній и на характеръ писателей. Хотя онъ по взглядамъ своимъ принадлежалъ еще къ старой школѣ и слѣдовалъ еще ложно-классической теоріи, но природное чувство изящнаго и здравый вкусъ; многолѣтняя опытность и прозорливая наблюдательность ставили его часто выше теоріи и внушали ему вѣрныя мысли и глубокія сужденія. Критическій талантъ Мерзлякова выражается во всѣхъ его чтеніяхъ о словесности и особенно слѣдующихъ: 1) разсужденіе о русской словесности; 2) разборъ Россіады, поэмы Хераскова; 3) разборъ 8-й оды Ломоносова: „Царей и царствъ земныхъ отрада, возлюбленная тишина“... 4) разборъ трагедіи Озерова „Поликсена“; 5) разборъ оперы Аблесимова: „Мельникъ“; 6) разборъ трагедіи Озерова: „Эдипъ въ Афинахъ“; 7) разборъ трагедій Сумарокова; 8) разборъ сочиненій Державина; 9) о вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія, особливо стихотворныя, по ихъ существеннымъ достоинствамъ; 10) о характерѣ трехъ греческихъ трагиковъ. Мерзляковъ очень высоко цѣнилъ Россіаду, какъ сочиненіе, написанное по классическимъ образцамъ; онъ сравнивалъ ее съ великолѣпнымъ храмомъ св. Петра; „какъ громада неподвижная, говорилъ онъ, и въ буряхъ времени и въ буряхъ мнѣній, стоитъ она огражденная неизмѣняемымъ своимъ величіемъ“. Такія преувеличенныя похвалы вызвали однакожъ критику молодого писателя Строева, который въ „Современномъ Наблюдателѣ“ осмѣлился выразить публично свое противорѣчіе Мерзлякову. Разбирая оду Ломоносова, Мерзляковъ указываетъ на постепенное совершенствованіе въ одахъ по той мѣрѣ, какъ онъ отступалъ отъ первоначальнаго нѣмецкаго образца своего, Гинтера. Разбирая трагедію Озерова: „Эдипъ въ Афинахъ“, Мерзляковъ порицаетъ Озерова за то, что „онъ поступалъ съ баснею своею насильственно, какъ съ мраморной древней статуей поступаетъ новѣйшій художникъ, смѣло обрубая ее по своему плану, безъ всякаго уваженія ко вкусу древности“... „Симъ образомъ потеряно истинное величіе трагедіи древней! Я не вижу здѣсь ни одного грека, ни Греціи“... Порицая Озерова за то, что онъ увлекался Дюсисомъ въ перемѣнѣхъ развязки легенды, Мерзляковъ замѣчаетъ о французахъ, что „часто бываютъ слишкомъ нѣжны; боясь разстроить нервную систему своихъ соотечественниковъ, не смѣютъ показать на театрѣ страдальческую смерть мужа добродѣтельнаго. Такая нѣжность часто бываетъ приторное или слишкомъ утонченное жеманство, плодъ испорченнаго вкуса,—жеманство, которое доставило вялость многимъ хорошимъ французскимъ трагедіямъ. Во всемъ должна быть мѣра“. Сумаро-

кова Мерзляковъ называетъ „отцемъ русской драмы, установителемъ русской трагедіи и комедіи“. Онъ разсматриваетъ всѣ его девять трагедій, по порядку ихъ выхода; лучшими трагедіями признаетъ „Синава и Трувора“ и „Семиру“. Весьма замѣчателенъ разборъ „Дмитрія Самозванца“; извѣстно, что эта трагедія особенно славилась у современниковъ; Мерзляковъ говоритъ, что „она имѣетъ гораздо болѣе погрѣшностей, нежели какая-либо другая трагедія сего же автора“.— „Во всѣхъ пяти актахъ никакого дѣйствія. Содержаніе трагедіи: тиранъ сердился, бранился, и съ досады наконецъ убилъ себя“. Державина Мерзляковъ называетъ поэтомъ оригинальнымъ: „по первымъ стихамъ тотчасъ же узнаешь Державина, какъ узнаютъ перваго музыканта или живописца по одному движению смычка, или по чертѣ проведенной... Ода Ломоносова, при всемъ своемъ величій, носила еще оковы школы; ода Державина въ первый разъ съ распутанными крыльями воспарила орломъ къ небесамъ“. Лучшими одами Державина, драгоцѣннѣйшимъ, нетлѣннымъ сокровищемъ нашей словесности, онъ признаетъ оды философскія; подъ старость Державинъ, какъ извѣстно, выше всѣхъ сочиненій ставилъ сочиненія драматическія; Мерзляковъ называетъ ихъ развалинами Державина. Наконецъ, въ статьѣ: о вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія“, Мерзляковъ указываетъ на необходимость и важное значеніе критики. Онъ строго держится правилъ классической теоріи; онъ нападаетъ на мечтательныя созданія романтическаго вкуса, признавая ихъ „противорѣчащими основному правилу изящнаго“. Ни школа Карамзина, ни школа Жуковскаго не пользовались его симпатіями. При чтеніи сочиненій Пушкина чувство его выражалось только слезами. Читая Кавказскаго плѣнника, онъ, говорятъ, плакалъ. Онъ чувствовалъ, что это прекрасно, но не могъ дать отчета въ этой красотѣ,—и безмолвствовалъ. Послѣднія лекціи Мерзлякова въ университетѣ состояли также почти въ критическихъ импровизаціяхъ; вмѣсто лекціи онъ приносилъ на кафедру Ломоносова или Державина, раскрывая на удачу, что попадалось,—и рѣчь лилась свободно и роскошно, подъ вліяніемъ минутнаго настроенія; въ профессорѣ и критикѣ сказывался поэтъ по призванію. Эти импровизаціи приводили въ восторгъ слушателей и глубоко запечатлѣвались въ ихъ памяти <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Собраніе нѣкоторыхъ произведеній Мерзлякова было издано Обществомъ любителей Россійской Словесности, Москва, 1867 г., 2 тома. Значительная часть его трудовъ помѣщалась въ Трудахъ Общ. Л. Словесности при Моск. Унив. (1812—1828). Пѣсни и романсы А. Мерзлякова. М. 1830 г. и въ изд. Суворина 1880 г.

## Н. И. ГНѢДИЧЪ.

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ родился въ Полтавѣ въ 1784 г. <sup>1)</sup>. Сынъ небогатаго помѣщика, онъ выросъ въ бѣдности и сиротствѣ; онъ рано лишился родителей, которые оставили ему и сестрѣ его очень небольшое имѣніе; въ раннихъ также лѣтахъ его посѣтила страшная оспа, которая изуродовала его лице и лишила его праваго глаза. Это обстоятельство на всю жизнь его положило печать грусти, но не лишило однакоже его бодрости; съ терпѣніемъ и твердостью онъ переносилъ всѣ несчастія, привыкъ къ труду, отличался стойкостью своего характера, твердостью въ своихъ убѣжденіяхъ и въ своихъ привязанностяхъ къ людямъ. Образование свое Гнѣдичъ получилъ сначала въ полтавской семинаріи, потомъ въ харьковскомъ коллегіумѣ и наконецъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ онъ познакомился съ греческой и латинской литературой, занимался исторіей подъ руководствомъ профессора Чеботарева, изучилъ французскую и нѣмецкую литературу, читалъ Шекспира во французскомъ переводѣ. Обладая звучнымъ голосомъ, онъ еще въ университетѣ любилъ декламировать предъ товарищами отрывки изъ трагедій и игралъ на университетскомъ театрѣ. Это впоследствии открыло ему доступъ въ богатые и знатные дома Строганова и Оленина и другихъ меценатовъ, гдѣ любили литературныя чтенія и домашніе спектакли. Особенно онъ понравился Оленину своей образованностью и знакомствомъ съ классической литературой.

Первыми печатными трудами Гнѣдича были переводы. Онъ перевелъ трагедію Дюси: „Абюфаръ“, потомъ „Короля Лира“ Шекспира, „Заговоръ Фіеско въ Генуѣ“ Шиллера и „Танкреда“ Вольтера. Гнѣдичъ любилъ театръ, былъ знакомъ съ лучшими актерами, долго былъ друженъ съ актрисой Семеновой, которая весьма много была обязана ему развитіемъ своего драматическаго таланта. Оригинальныя стихотворенія Гнѣдича относятся главнымъ образомъ къ лирическимъ стихотвореніямъ, которыя состоятъ изъ посланій, надписей, эпиграммъ и проч. и ничѣмъ особеннымъ не отличаются. Лучшія изъ нихъ тѣ, которыя имѣютъ элегическій характеръ: „На гробѣ матери“, „Къ Провидѣнію“, „А. С. Пушкину“, „На смерть графа Строганова“, „На смерть барона Дельвига“ и подражанія пѣснямъ Оссіана. Не слѣдуя упадающей уже

---

<sup>1)</sup> Стихотворенія Н. Гнѣдича. Спб. 1832. Сочиненія Гнѣдича, изданія М. О. Вольфомъ. Спб. 1884 г. Илиада издана А. С. Суворинимъ. Спб. 1884 г. Н. И. Гнѣдичъ. Нѣсколько данныхъ для его біографіи по неизданнымъ источникамъ. Къ столѣтней годовщинѣ дня его рожденія (1784 — 1884). Сообщ. Тихановъ. Сборн. 2-го отдѣл. Академіи Наукъ, томъ XXXIII.

французской ложно-классической школы, онъ не любилъ и новыхъ школъ, ни сентиментальной, ни романтической. Онъ не любилъ балладъ и въ авторѣ „Людмилы“ — Жуковскомъ предполагалъ недостатокъ вкуса. Онъ считалъ достойной подражанія только настоящую древнюю классическую поэзію, греческую и римскую. Онъ перевелъ съ греческаго идиллію Θεокрита: „Сиракузянки или праздникъ Адониса“. Въ предисловіи къ ней, изложивъ происхожденіе идилліи и исторію идиллическаго направленія въ литературѣ, Гнѣдичъ замѣчаетъ объ идилліи, что она — одна изъ труднѣйшихъ по множеству пословицъ и простонародныхъ оборотовъ и въ то же время „одно изъ необыкновенно оригинальныхъ произведеній древняго поэта, которое болѣе другихъ его идиллій доказываетъ, что и въ новѣйшихъ литературахъ идиллія существовать можетъ, если поэты, подобно Θεокриту, будутъ умѣть пользоваться предметами“. По подражанію Θεокриту, Гнѣдичъ самъ написалъ идиллію „Рыбаки“, въ которой дѣйствіе происходитъ на берегахъ Невы и гдѣ находится превосходное описаніе ясныхъ лѣтнихъ петербургскихъ ночей. Но существенную заслугу онъ оказалъ въ русской литературѣ своимъ переводомъ на русскій языкъ „Иліады“ Гомера. За переводъ Иліады принимались еще прежде нѣсколько поэтовъ. Не говоря объ отрывкахъ изъ нея, она вся была переведена прозой два раза — Якимовымъ въ 1776 г., и потомъ Мартыновымъ въ началѣ нашего столѣтія. Кромѣ того, въ 1787 г. были напечатаны первыя шесть пѣсенъ Иліады въ стихотворномъ переложеніи Кострова александрійскими стихами, т. е. шестистопнымъ ямбомъ, съ послѣдовательными приемами — размѣромъ, заимствованнымъ у французскихъ псевдоклассиковъ и въ свое время считавшимся необходимымъ условіемъ эпоса и трагедіи. Этимъ же размѣромъ сталъ переводить Иліаду и Гнѣдичъ и хотѣлъ продолжать переводъ Кострова; онъ началъ съ 7-й пѣсни и перевелъ до 12-й. Но С. С. Уваровъ, узнавъ объ этомъ трудѣ, посоветовалъ ему, вмѣсто александрійскаго размѣра, употребить гекзаметръ. „Одна изъ величайшихъ красотъ греческой поэзіи, писалъ онъ къ Гнѣдичу, есть богатое и систематическое стопосложеніе. Тутъ каждый родъ поэзіи имѣетъ свой размѣръ; и каждый родъ не только свои законы и правила, но, такъ сказать, свой геній и свой языкъ. Гекзаметръ предоставленъ эпосѣ. Этотъ размѣръ весьма способенъ къ сему роду поэзіи. При величайшей ясности, онъ имѣетъ удивительное изобиліе въ оборотахъ, важную и плѣнительную гармонію“. Французы изобрѣли другую систему стихосложенія, но „возможно ли узнать гекзаметръ Гомера, когда сжавши его въ александрійскій стихъ и оставляя одну мысль, вы отбрасываете размѣръ, обороты, расположеніе словъ, эпитеты, однимъ словомъ все, что составляетъ красоту подлинника? Когда вмѣсто плавнаго, величественнаго гек-

заметра, я слышу скучный и сухой александрійскій стихъ, рѣзкую прикрашенную, то мнѣ кажется, что я вижу божественнаго Ахиллеса во французскомъ платьѣ“. Гнѣдичъ согласился съ этимъ мнѣніемъ Уварова и снова началъ переводить Иліаду гекзаметромъ. Онъ неослабно трудился 20 лѣтъ. Переводъ вышелъ въ 1829 г. и на всѣхъ лучшихъ людей произвелъ необычайное впечатлѣніе. Пушкинъ выразилъ его знаменитымъ классическимъ двустопомъ:

«Слышу умолившій звукъ божественной эллинской рѣчи,  
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой».

Въ посвященіи Иліады государю, Николаю Павловичу, Гнѣдичъ такимъ образомъ рекомендуетъ эту поэму Гомера: „Проповѣдникъ истинъ, оправданныхъ тысячелѣтіями, безкорыстный защитникъ святости власти царственной и благодѣтельнаго единоначалія, пѣвецъ доблестей, составляющихъ славу героевъ и честь народовъ, творецъ Иліады не напрасно извлекаетъ хвалы изъ устъ Солоновъ, слезы изъ очей Александровъ; не напрасно похищаетъ уваженіе и отъ мужей Откровеніемъ оваренныхъ, Василовъ Великихъ, Иоанновъ Златоустовъ: воспѣвая невинность и чистоту нравовъ, благоговѣніе къ Божеству, любовь къ отечеству, почтеніе къ родителямъ, уваженіе къ старости, святость супружескихъ союзовъ, великодушную дружбу, охранительное мужество, мудрость въ дѣлѣхъ и словѣхъ—Гомеръ своими пѣснями съ простотою дѣтскою насадилъ для челоуѣчества благороднѣйшіе цвѣты добродѣтели, которые разцвѣли подъ лучами всеобщаго свѣта. Всѣ образованные народы, одинъ предъ другимъ, ревновали украсить отечественную словесность твореніями Гомера“. Въ слѣдующемъ затѣмъ предисловіи къ Иліадѣ, упомянувъ о лучшихъ послѣднихъ переводчикахъ и изслѣдователяхъ Гомера: Вольфѣ, Фоссѣ и Шлецерѣ, онъ указываетъ, какъ надобно понимать поэмы Гомера, объясняя ихъ значеніе, духъ и характеръ: „Надобно переселиться въ вѣкъ Гомера, сдѣлаться его современникомъ, жить съ героями и царями—пастырями, чтобы хорошо понимать ихъ. Тогда Ахиллесъ, который на лирѣ воспѣваетъ героевъ и самъ жаритъ барановъ, который свирѣпствуетъ надъ мертвымъ Гекторомъ и отцу его Пріаму такъ великодушно предлагаетъ и вечерю и ночлегъ у себя въ кушѣ, не покажется намъ лицомъ фантастическимъ, воображеніемъ преувеличеннымъ, но дѣйствительнымъ сыномъ, совершеннымъ представителемъ великихъ вѣковъ героическихъ, когда воля и сила челоуѣчества развивались со всею свободою, когда добродѣтели и пороки были еще исполинскіе, когда силою, мужествомъ, дѣятельностію и вдохновеніемъ челоуѣкъ возвышался до боговъ. Тогда міръ, за три тысячи лѣтъ существовавшій, не будетъ для насъ

мертвымъ и чуждымъ во всѣхъ отношеніяхъ: ибо сердце человѣческое не умираетъ и не измѣняется, ибо сердце не принадлежитъ ни націи, ни странѣ, но всемъ общее; оно и прежде било съ тѣми же чувствами, кипѣло тѣми же страстями, и говорило тѣми же языкомъ. Мы поймемъ языкъ сей, вѣчно живой, и въ гнѣвѣ Ахиллеса, и въ гордости Агамемнона, и въ горести Пріама, не смотря на образъ выраженія, столь далекій отъ нашего.... Въ образъ повѣствованія гений Гомеровъ подобенъ счастливому небу Греціи, вѣчно ясному и спокойному. Обывая небо и землю, онъ въ высочайшемъ пареніи сохраняетъ важное спокойствіе, подобно орлу, который въ высотахъ поднебесныхъ часто кажется неподвижнымъ на воздухѣ. Богатства его поэзіи неисчислимы; она заключаетъ въ себѣ всѣ роды. Гений Гомеровъ подобенъ океану, который принимаетъ въ себя всѣ рѣки. Сколько задумчивыхъ элегій, веселыхъ идилий смѣшано съ грозными трагическими картинами эпопеей. Картины сіи чудны своею жизнью; Гомеръ не описываетъ предмета, но какъ бы ставитъ передъ глаза: вы его видите. Это волшебство производятъ простота и сила разсказа. Не менѣе удивительна противоположность сихъ картинъ; ничего нѣтъ проще, естественнѣе и трогательнѣе однѣхъ, въ которыхъ дышетъ нагая красота природы; ничего нѣтъ величественнѣе, поразительнѣе другихъ, въ которыхъ всѣ образы означены возвышенностію и величіемъ необычайнымъ, титаническимъ, какъ образы сѣдовъ міра первобытнаго, воспомнанія о которыхъ еще носились въ вѣкахъ героическихъ и питали поэзію.... Поэтъ, ораторъ, историкъ, воинъ и гражданинъ могутъ черпать въ нихъ полезные уроки; они исполнены глубокаго смысла. Начиная отъ Александра Великаго, который хранилъ Иліаду въ золотомъ ковчегѣ и клалъ себѣ подъ голову, Гомеръ есть любимый писатель всѣхъ великихъ людей и, какъ говоритъ знаменитый историкъ Мюллеръ, лучший учитель первѣйшей науки—мудрости. Затѣмъ Гнѣдичъ объясняетъ, почему сдѣлалъ не вольный переводъ, какъ сдѣлалъ Поцъ и Цезаротти, а полный и буквальный, почему для перевода избралъ гекзаметръ.

Переводъ Иліады доставилъ Гнѣдичу не только литературную славу, но и почетное положеніе въ обществѣ. Благодаря покровительству Оленина, онъ избранъ былъ въ члены Россійской Академіи и назначенъ бібліотекаремъ Императорской публичной бібліотеки. Великая княгиня Екатерина Павловна еще въ 1812 г. назначила ему ежегодную пенсію въ 1000 рублей. Но не всѣ одинаково взглянули на переводъ Гнѣдича. Еще по поводу письма Уварова, Капнистъ и Воейковъ возстали противъ предпочтенія гекзаметра для перевода Иліады, и Уваровъ долженъ былъ заши-

шаться и отстаивать свое мнѣніе, судить. Словомъ, переводъ Иліады вызвалъ довольно сильную и продолжительную полемику.

Занимаясь переводомъ Гомера, Гнѣдичъ, можно сказать, самъ переселился въ классическій міръ и жилъ въ немъ: онъ написалъ лирическую поэму: „Рожденіе Гомера“ (1817), идиллію „Рыбаки“, перевелъ „Престолародныя пѣсни нинѣшнихъ грековъ“ (1825). Въ то же время онъ написалъ „Разсужденіе о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности“. Здѣсь рѣшается вопросъ: отъ чего, при такомъ множествѣ выходящихъ у насъ книгъ, мы такъ мало видимъ хорошихъ сочиненій, даже хорошихъ переводовъ, даже выборовъ для нихъ хорошихъ? Это происходитъ, по мнѣнію Гнѣдича, не отъ недостатка у насъ дарованій, но отъ недостатка ученія и искусства, а главнымъ образомъ отъ того, что у насъ нѣтъ ученія классическаго, знанія языковъ древнихъ, которые бы вели къ знакомству съ классическими образцами, питающими и укрѣпляющими разумъ и облагораживающими душу. Мысли Гнѣдича въ этомъ разсужденіи были заимствованы изъ разныхъ сочиненій и главнымъ образомъ изъ „Писемъ въ Низкій“ И. М. Муравьева-Апостола.

Занявъ должность въ Императорской публичной библиотекѣ въ 1811 г., Гнѣдичъ оставался на ней до самой смерти въ 1838 г. За годъ до смерти онъ написалъ весьма симпатичное стихотвореніе, гдѣбующее биографическое значеніе. Въ стихотвореніи выражена тоска въ одиночествѣ. Гнѣдичъ, какъ замѣтили выше, выросъ сиротой, не зная семейной жизни и всегда томился одиночествомъ.

Печалонъ мой жребій, удыль мой жестоць!  
Пичей не ласкаемъ рукою,  
Отъ дѣтства я росъ одиноць, сиротомъ;  
Въ путь жизни пошелъ одиноць;  
Прошелъ одиноць его тощее поле,  
На коемъ, какъ въ знойной ливійской доли,  
Не встрѣтился взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ,  
Мой путь одиноць я кончаю  
И хилую старость встрѣчаю  
Въ домашнемъ быту одиноць.

Печалонъ мой жребій, удыль мой жестоць!

Надъ могилой Гнѣдича на кладбищѣ Александровскаго монастыря, его друзьями и почитателями воздвигнутъ памятникъ, съ надписью: Гнѣдичу, обогатившему русскую словесность переводомъ Гомера. Рѣчи изъ устъ его, ищуща сладчайшихъ меда лирич. (Иліада, Пѣснь I, стихи 249).



В. А. ЖУКОВСКИЙ.

Внесение въ русскую литературу романтизма. „Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, говоритъ Бѣлинскій, не было въ русской литературѣ... И однакожь необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзіи и литературы. Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали“ <sup>1)</sup>). Съ именемъ Жуковскаго соединяется внесение въ русскую литературу романтизма или романтическаго направленія. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковскаго въ частности? <sup>2)</sup>).

Вопросъ о романтизмѣ въ русской литературѣ научнымъ образомъ впервые былъ изложенъ въ 1830 г. въ докторской диссертациіи Н. И. Надеждина: *De origine, natura et fatis poëseos, quae romantica audit*; потомъ Надеждинъ разработывалъ его въ своемъ журналѣ: „Телескопъ“, который онъ извлавалъ съ 1831 по 1836 годъ. Одновременно съ Надеждинымъ, или даже немного прежде его, начали писать о романтизмѣ Марлинскій и Полевой, который въ своемъ „Телеграфѣ“, издававшемся съ 1825 по 1834 годъ, долго и, можно сказать, специально занимался этимъ предметомъ; здѣсь проводилось новое романтическое направленіе и происходила борьба со старымъ направленіемъ классическимъ.—Романтическое направленіе всегда понималось и изображалось весьма разнообразно и весьма неопредѣленно. Представителемъ романтизма въ русской литературѣ признавался Жуковский; но романтикомъ же называли и Пушкина, поэзія котораго, повидимому, была совершенно противоположна поэзіи Жуковскаго; въ литературной теоріи этого направленія, органами которой были сейчасъ названные Телескопъ и Телеграфъ, также не было ничего яснаго и опредѣленнаго, кромѣ того, что романтизмъ противопологался классицизму. Впослѣдствіи Бѣлинскій придалъ романтизму самое широкое значеніе. „Романтизмъ, говорилъ онъ, есть принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи; его источникъ въ томъ-же, въ чемъ источникъ и искусства и поэзіи—въ жизни. Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи, романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, современная жизнь его сердца.

---

<sup>1)</sup> Сочин. Бѣлинскаго VIII, 147.

<sup>2)</sup> О романтизмѣ смотр. Истор. XVIII стол. Шлоссера, томъ VII; «Искусство въ связи съ развитіемъ культуры и идеалы человечества» Морица Каррьера, томъ V; Исторія французской литературы Юліана Шмидта (о французскомъ романтизмѣ); сочиненія Бѣлинскаго, томъ VIII. О романтизмѣ въ средніе вѣка во «Всеобщей исторіи литературы» Корша и Кириичникова, выпуски XI, XII, XIII, XIV и XV: Средневѣковая литература западной Европы и Византіи А. И. Кириичникова.

Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма; чувство, любовь есть проявленіе, или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ<sup>1)</sup>. При такомъ широкомъ пониманіи, Бѣлинскій находилъ романтизмъ и въ литературѣ древняго Востока и древней Греціи, у Гомера и Платона и наконецъ въ средневѣковой романской поэзіи, воскрешенной въ Германіи нѣмецкими поэтами. Это, дѣйствительно, будетъ справедливо, когда романтизмъ разсматривается какъ существенное стремленіе и потребность человѣческой природы вообще; но собственно подъ романтизмомъ, какъ литературнымъ направленіемъ, существовавшимъ въ извѣстное опредѣленное время, должно разумѣть только романтическую поэзію, развившуюся на почвѣ воскрешенной въ началѣ XIX вѣка средневѣковой романской поэзіи.

Разность въ пониманіи романтизма въ русской литературѣ зависѣла отъ того, что и въ самой Европѣ романтизмъ у разныхъ народовъ, въ разные времена, отличался разными свойствами. Родиной романтизма признается Германія, откуда онъ распространился во Франціи, Англіи и другихъ странахъ Европы; основателями романтической школы считаются братья Шлегели, Фридрихъ (1772—1829) и Августъ Вильгельмъ (1767—1845) и поэты Тикъ (1773—1853) и Новалисъ (Гарденбергъ, 1772—1801) и ихъ послѣдователи. Это было въ началѣ втораго десятилѣтія настоящаго вѣка. Не смотря на появленіе новыхъ поэтическихъ произведеній Гёте и Шиллера, въ нѣмецкой литературѣ въ это время еще продолжали существовать старое — ложно-классическое и особенно сантиментальное направленія; литература наводнена была романами и драмами Коцебу, Августа Лафонтена и Мармонтеля. Желая оживить литературу и дать ей другое направленіе и желая въ тоже время противодѣйствовать литературѣ энциклопедистовъ, занесенной въ Германію изъ Франціи, Шлегели обратились къ исторіи романской поэзіи, которая въ средніе вѣка была народной поэзіей для всей Европы, и начали переводить и передѣлывать произведенія этой поэзіи — средневѣковыя миѣы, легенды, народныя повѣсти и пѣсни, романсы и баллады. Все это, вызванное изъ очарованнаго и покрытаго мракомъ міра среднихъ вѣковъ на свѣтъ новаго времени, послужило неисчерпаемымъ источникомъ поэтическаго матеріала для новой школы, во главѣ которой, вмѣстѣ со Шлегелями, стали поэты Тикъ и Новалисъ, со множествомъ другихъ романтическихъ поэтовъ разныхъ направленій, на которыхъ раздѣлилась романтическая школа. Къ нимъ относятся Виландъ (1733—1813), Генрихъ Фонъ-Клейстъ (1776 — 1811), Кёрнеръ (1791—1813), Эйхендорфъ (1788—1817), Стеффенсъ (1773—1845), Элен-

<sup>1)</sup> Сочин. VIII, 151.

Шлегель, Вернеръ (1768—1823), Фридрихъ де-ла-Мотъ Фуке (1777—1843), Гофманъ (1776—1822), Брентано (1777—1842), Вилгелмъ Мюллеръ (1796—1827), Альбертъ фонъ Шамиссо (1781—1838), Рюккертъ (1788—1866), Людвигъ Уландъ (1787—1862), Зейдлицъ (род. 1790), Шпиндлеръ. Въ романтизмъ первоначально противопоставлялись греко-римскимъ преданіямъ и литературѣ преланія и поэзія новыхъ христіанскихъ народовъ, народная средневѣковая поэзія. До сихъ поръ центръ тяжести для всей европейской поэзіи находился въ греко-римскомъ мірѣ и представителями этого міра, равнявшейся подъ его вліяніемъ—французской литературѣ; отсюда заимствовались всѣ идеи и идеалы. Вся литература и искусство представляли образцы гуманизма, типы красоты физической, идеалы человѣческихъ доблестей; высшимъ идеаломъ классическаго міра было возможно полное наслажденіе жизнью въ томъ видѣ, какъ представляли ее греческіе и римскіе поэты. Романтическая поэзія перенесла этотъ центръ изъ классическаго міра въ міръ христіанскихъ идей и образовъ. Вѣсто гуманизма, олицетворенія всего человѣческаго, какъ идеала классической поэзіи, явился идеализмъ христіанскій, стремленіе ко всему небесному, божественному, стремленіе ко всему сверхъестественному и чудесному. При этомъ главною цѣлью человѣческой жизни представлялось уже ненаслажденіе счастьемъ и радостями земной жизни, а чистота души и споконствіе совѣсти, терпѣливое перенесеніе всѣхъ бѣдствій и страданій земной жизни, надежда на жизнь будущую и приготовленіе къ этой жизни. Такъ какъ средневѣковая поэзія впервые явилась на романскомъ языкѣ въ эпоху рыцарства и называлась романскою, то и воскрешеніе ея получило названіе романтизма или новоромантической поэзіи и явилось въ формахъ рыцарской поэзіи: дѣйствующими лицами были князья, рыцари, бароны; главными чувствами, которыя ихъ одушевляли, были чувства любви, чести и рыцарской вѣрности; формами этой поэзіи были романсъ, баллада и рыцарскій романъ. Всѣ они отличались фантастическимъ характеромъ; сценою, гдѣ происходили описываемыя дѣйствія, были мрачныя лѣса, подземелья или кладбища, на которыхъ мертвецы встаютъ изъ гробовъ; спутниками ихъ были вѣдьмы, колдуны и колдуньи и разныя фантастическія чудовища. Но при воскрешеніи средневѣковой поэзіи, романтическая школа не могла совершенно отрѣшиться отъ своего времени и особенно отъ идей современной нѣмецкой философіи и въ воскрешаемую средневѣковую поэзію внесла метафизическій идеализмъ Фихте и идеи абсолютнаго тождества Шеллинга. Стремясь къ идеаламъ, она идеализировала средніе вѣка и средневѣковую поэзію и придала ей такія черты, какихъ она совершенно не имѣла, и вообще внесла въ нихъ много новыхъ элементовъ; слѣдуя философіи Шел-

линга, провозглашавшаго единство или тождество въ наукѣ, искусствѣ и жизни, она старалась сблизить поэзію съ жизнью, и стала искать идеальнаго образца этого сближенія въ религіи среднихъ вѣковъ, когда, по ея мнѣнію, христіанство связывало въ единство государство и церковь, народъ и науку, искусство и жизнь, когда всѣ интересы и направленія сходились въ высшемъ пунктѣ религіи, и поэзія, вытекавшая изъ религіи, вездѣ сопровождала и пронизывала всю разнообразную и многоцвѣтную жизнь. Средніе вѣка представлялись высшимъ идеаломъ во всѣхъ отношеніяхъ, и возвращеніе къ нимъ сдѣлалось для многихъ любимомъ мечтою; на этой мечтѣ строились идеалы религіозные, политическіе, научные и художественные. Не смотря, однакожъ, на такое ложное освѣщеніе среднихъ вѣковъ со всѣми ихъ стихіями, не смотря на то, что попытки возвратиться къ средневѣковой старинѣ оказались невозможными, и сама романтическая поэзія представляла пеструю смѣсь стараго съ новымъ, фантастическое соединеніе несоединимыхъ идей и образовъ, самое движеніе романтическое имѣло чрезвычайно важныя послѣдствія для европейской науки и литературы. Оно повело къ серьезной разработкѣ исторіи среднихъ вѣковъ, къ собранію и изученію памятниковъ народнаго языка, народныхъ преданій и народной поэзіи, и послужило такимъ образомъ началомъ и основаніемъ народнаго направленія или народности для всей европейской литературы. Впрочемъ на одномъ воскрешеніи средневѣковой поэзіи и не остановилась романтическая поэзія; по идеямъ Гёте и Гердера о всемірной литературѣ, поэты начали изучать, переводить и передѣлывать произведенія всѣхъ временъ и народовъ, сочиненія Данте и Боккаччо, Лопе-де-Веги и Кальдерона, Сервантеса и Шекспира, начали переводить и изучать произведенія восточной поэзіи — индійской, арабской и персидской. При этомъ романтизмъ и получилъ то обширное значеніе, по которому Бѣлинскій называлъ его вообще воспроизведеніемъ внутренняго міра души человѣческой. „Романтизмъ нашего времени, говоритъ онъ, есть сынъ романтизма среднихъ вѣковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнѣе, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецѣлость романтизма всѣхъ вѣковъ и всѣхъ фазисовъ развитія человѣческаго рода; въ нашемъ романтизмѣ, какъ лучи солнца въ фокусѣ зажигательнаго стекла, сосредоточились всѣ моменты романтизма, развившіеся въ исторіи человечества, и образовали совершенно новое цѣлое“<sup>1)</sup>.

Съ нѣмецкимъ романтизмомъ познакомила Францію г-жа Сталь своей книгой о Германіи. „Рене“ Шатобриана (эпизодъ изъ поэмы Натчезы) былъ во французской литературѣ первымъ типомъ ра-

<sup>1)</sup> Сочин. VIII. 170.

зочарованнаго челоуѣка въ романтичскомъ стилѣ. Послѣ революціи, въ эпоху которой былъ написанъ „Ренэ“, Шатобріанъ принялъ настоящее романтическое направленіе. Желая возстановить христіанство, или вѣриѣ католическую церковь, упавшую во время господства энциклопедистовъ и французской революціи, онъ написалъ „Духъ Христіанства“ (*Génie du Christianisme*), гдѣ древней греко-римской языческой литературѣ и искусству противопоставилъ средневѣковую христіанскую поэзію и христіанское искусство; съ этою же цѣлью онъ написалъ христіанскую поэму: „*Magturs*“, противопоставивъ ее древнимъ классическимъ поэмамъ.— Съ другимъ характеромъ является романтизмъ въ сочиненіяхъ Виктора Гюго и Ламартина. Гюго сдѣлался главою ново-романтической школы во Франціи.

Всѣ усилія его были направлены къ тому, чтобы создать поэзію совершенно противоположную классической поэзии. Такъ какъ классическая поэзія отличалась удивительною правильностью, естественностью и гармоніей своихъ картинъ, то, въ противоположность этимъ ея качествамъ, Гюго внесъ въ свою поэзію неправильность и дисгармонію: все неправильное, уродливое и безобразное, все странное, выходящее изъ обыкновеннаго ряда явленій, составило содержаніе его произведеній. Свои воззрѣнія на поэзію и искусство онъ изложилъ въ предисловіяхъ къ драмамъ „Эрнани“ и „Кромвель“. „Прекрасное древнихъ, говоритъ онъ, было типично и потому однообразно; христіанство привело обратно поэзію къ истинѣ; оно обратило вниманіе челоуѣка на то, что его челоуѣческое понятіе о прекрасномъ недостаточно, что было бы ошибочно со стороны ограниченнаго разума художника прилагать этотъ масштабъ къ безконечному и неограниченному разуму Создателя, какъ бы направлять сдѣланное Богомъ; что поэтическая гармонія основывается только на несовершенствѣ; что то, что мы называемъ безобразнымъ, есть только частица великаго цѣлаго, общая связь коей намъ непостижима, и которая находитъ свое восполненіе не въ челоуѣческомъ разумѣ, а въ цѣломъ мірозданіи. Христіанское искусство стремится къ достиженію не прекраснаго, а характеристическаго; содержаніе современной драмы не идеаль, а дѣйствительность; реальность вытекаетъ изъ соединенія возвышеннаго со смѣшнымъ. Поэтъ, правда, долженъ дѣлать выборъ, но не по масштабу прекраснаго, а по масштабу характернаго; характерно то, что до мельчайшей подробности передаетъ колоритъ мѣстности и культуры извѣстнаго времени“. Отсюда зародышъ христіанскаго искусства Гюго ищетъ въ причудливомъ. Въ древности, говоритъ онъ, оно осмѣливалось появляться только робко. Только

въ средніе вѣка нѣсколько пошлую гидру замѣнили своеобразные мѣстные и отдѣльные до подробностей драконы, карлики, великаны, сильфы, гномы, лѣшіе, феи, колдуньи, привидѣнія и т. д. Поэтому же Гюго любитъ контрасты — соединеніе высокаго съ низкимъ, доводя то и другое до невозможныхъ крайностей, дѣлая изъ преступныхъ людей добродѣтельныхъ, въ самомъ преступленіи стараясь отыскать героевъ добродѣтели, или лучше самое преступленіе представить добродѣтелю. Такими свойствами отличаются его повѣсти и романы: „Ганъ - Исландецъ“, „Бюгъ - Жаргаль“, „Соборъ Парижской Богоматери“ (гдѣ изображенъ Квазимодо), драмы: „Эрнани“, „Кромвель“, „Лукреція Борджіа“, „Маріонъ де-Лормъ“. Драма, говоритъ Гюго, можетъ имѣть предметомъ что бы то ни было; ей нечего бояться, что запачкается. Вдуньте, куда хотите, идею добродѣтели и милосердія, и не будетъ болѣе ни безобразнаго, ни отталкивающаго. Свяжите религіозную мысль съ безобразнѣйшимъ предметомъ, и онъ сдѣлается святъ и чистъ“. Выводя на сцену Маріонъ де-Лормъ, онъ очищаетъ куртизанку любовью, посредствомъ которой онъ восстанавливаетъ ея дѣвственное чувство. Въ залъ, гдѣ пируютъ, онъ ставитъ гробъ, пѣснь во время оргіи онъ прерываетъ пѣніемъ за упокой. „Возьмите безобразнѣйшаго урода, дайте ему душу, вложите въ эту душу святѣйшее чувство человѣка — отеческую любовь, и это возвышенное чувство преобразитъ на вашихъ глазахъ выродившееся созданіе. Такъ въ „Лукреціи“ материнское чувство очищаетъ нравственное уродство“ и т. д.<sup>1)</sup> — Въ Англіи романтизмъ имѣлъ также двоякій характеръ. Сначала онъ явился какъ положительное стремленіе воскресить средневѣковую жизнь и поэзію въ многочисленныхъ балладахъ и романахъ Вальтера Скотта, Соути и Борнса и ихъ послѣдователей, а потомъ въ отрицательной формѣ, какъ странное, болѣзненное недовольство и разочарованіе всѣмъ существующимъ, которое явилось послѣдствіемъ сознанія несостоятельности и недостатковъ самого романтизма во всей Европѣ, неудовлетворявшаго потребностямъ современной жизни. Романтизмъ, какъ возвращеніе къ средневѣковой старинѣ, былъ, какъ мы замѣтили, реакціей противъ псевдоклассицизма, противъ энциклопедистовъ и революціи. Но онъ, сдѣлавши свое дѣло, не могъ, однакожъ, удовлетворить потребностямъ и стремленіямъ европейскихъ народовъ. Средневѣковыя формы были уже слишкомъ тѣсны; изъ нихъ давно уже выросло человѣчество. Реставрація, совершившаяся во Франціи послѣ революціи, такъ же никого не удовлетворила, какъ не удовлетворяла революція и философія энциклопедистовъ, которыя, разрушивъ прежнія формы жизни, хотѣли создать новыя формы и новыхъ людей;

<sup>1)</sup> Юліанъ Шмидтъ, Исторія француз. литературы. Томъ II. стр. 170—171.

то из новых формъ жизни, ни новыхъ людей онъ создать не могъ. Вслѣдствіе этого въ передовыхъ образованныхъ людяхъ явился страшное разочарованіе въ судьбѣ человѣчества, отвращеніе ко всему прошедшему и совершенное недоверіе къ будущему — и особенно озлобленіе противъ современнаго порядка вещей. Все это съ особенною рѣзкостью выразилось въ сочиненіяхъ англійскаго поэта Байрона, по имени котораго и самый романтизмъ въ этомъ фазисѣ своего развитія получилъ названіе *байронизма*.

Такимъ образомъ романтизмъ, означавшій первоначально воссоединеніе у каждаго народа народной средневѣковой поэзіи романской, получилъ въ послѣдствіи значеніе всей новѣйшей христіанской поэзіи, развившейся послѣ классицизма и въ противоположность классицизму, подъ вліяніемъ уже новыхъ идей и новыхъ стремленій, внесенныхъ въ жизнь европейскихъ народовъ новой наукой и цивилизаціей.

У насъ въ Россіи не было ни среднихъ вѣковъ, ни романтизма въ томъ видѣ, какъ у европейскихъ народовъ; то направленіе, которое было существенною чертою въ романтизмѣ, именно возвращеніе къ древнимъ народнымъ преданіямъ, къ народному языку и народной поэзіи, явилось нѣсколько позднѣе — въ 40-хъ годахъ, когда у всѣхъ славянскихъ народовъ пробудилось стремленіе къ возрожденію своей національности и особенно рѣзко выразилось въ такъ называемомъ славянофильствѣ. Но, какъ съ классическимъ направленіемъ, мѣсто котораго занялъ романтизмъ, русская литература познакомилась путемъ переводовъ и подражаній европейскимъ литературамъ, такъ этимъ же путемъ она познакомилась и съ романтическимъ направленіемъ. Съ нѣмецкимъ романтизмомъ насъ познакомилъ Жуковский; подъ вліяніемъ французскаго романтизма В. Гюго писали свои повѣсти и романы Маринскій и Полевой; вліяніе англійскаго романтизма Вальтера Скотта сказалося въ историческихъ романахъ Загоскина, Кукольника, Булгарина и Греча; романтизму Байрона подражали отчасти Пушкинъ и особенно Лермонтовъ. Но еще прежде Жуковскаго Карамзинъ написалъ двѣ баллады: „Раиса“ и „Графъ Гвариносъ“. „Раиса“, впрочемъ, имѣла болѣе сантиментальный, чѣмъ романтическій характеръ; но „Графъ Гвариносъ“ написанъ въ стилѣ романтическомъ. Сюжетъ этого романа состоитъ въ томъ, что въ Ронсевальской битвѣ арабскіе короли взяли въ плѣнъ графа Гвариноса; король Марлотесь, которому Гвариносъ достался по жребію, принуждаетъ его обратиться въ магометанство; но онъ остается твердымъ и непоколебимымъ въ вѣрѣ, хотя за это его заковали въ цѣпи. Во время праздника св. Іоанна было состязаніе — въ бросаніи копій въ цѣль; но никто не могъ попасть въ цѣль. Марлотесь объявилъ смерть всѣмъ, большимъ и малымъ. Гвариносъ, узнавъ объ этомъ,

выпросилъ у короля дозволеніе принять участіе въ состязаніи и счастливо попалъ въ цѣль. Послѣ этого его освободили. Казанскій поэтъ, купецъ Каменевъ написалъ уже настоящую балладу „Громвалдъ“:

Мысленнымъ взоромъ я быстро лечу,  
Быстро проникнувъ сквозь мрачность времени;  
Поднимаю завѣсу сидой старини,  
И Громвала я вижу на добромъ конѣ...

Рыцарь Громвалдъ скитается по свѣту и ищетъ свою подругу, Рогнѣду, но нигдѣ не можетъ найти ее; наконецъ, онъ подъѣзжаетъ въ одному замку, гдѣ господствуетъ мракъ и тишина. Описывается продолжительный сонъ рыцаря въ этомъ замкѣ, гробъ благо волшебника Зломара, похитившаго Рогнѣду и явленіе доброй волшебницы Добрады. Добрада сказала Громвалду, что Зломаръ уже погибъ, а Рогнѣда заключена въ темницѣ Зломарова замка, гдѣ стерегутъ ее два крылатые виланта. Она дала ему изумрудный рогъ, которымъ онъ можетъ оглушить вилантовъ. Громвалдъ спѣшитъ къ темницѣ, гдѣ заключена Рогнѣда; но противъ него выступаетъ страшный исполинъ; Громвалдъ поражаетъ его мечемъ, освобождаетъ свою Рогнѣду, а страшный замокъ Зломара проваливается въ подземную пропасть. „Каменевъ, замѣчаетъ Пушкинъ, первый въ Россіи осмѣлился отступить отъ классицизма; мы, русскіе романтики, должны признать должную дань его памяти“. Дѣйствительно, весь строй баллады показываетъ, что Каменевъ былъ знакомъ съ романтической поэзіей. Жуковский, котораго называютъ представителемъ и главою романтизма въ Россіи, не держался исключительно той или другой романтической школы, того или другаго писателя романтическаго; онъ познакомилъ русскую литературу съ духомъ и характеромъ романтизма вообще. Больше всего, разумѣется, на Жуковского, какъ мы уже замѣтили, имѣла вліяніе нѣмецкая романтическая поэзія и преимущественно поэзія Гёте и Шиллера; но въ тоже время нельзя сказать, чтобы романтизмъ Жуковского былъ романтизмомъ Шиллера или Гёте. Онъ былъ кромѣ того выраженіемъ его личнаго міросозерцанія, которое сложилось въ немъ подъ вліяніемъ воспитанія, окружавшей его среды, обстоятельствъ собственной его жизни. Если у всякаго человѣка бываетъ свой періодъ романтизма, то у Жуковского этотъ періодъ продолжался почти всю жизнь. Особенность его происхожденія, воспитаніе и жизнь въ женскомъ обществѣ и семьѣ, которая была для него въ одно и тоже время и своя и чужая, несчастная роковая любовь къ племянницѣ, на которой онъ не могъ жениться; при воспитаніи въ семейныхъ на- чадахъ безсемейная жизнь почти до 60 лѣтъ, при темномъ происхожденіи высокое положеніе при дворѣ и обществѣ — всѣ эти



обстоятельства создали въ немъ особый романтический міръ, который въполнѣ отразился и на всѣхъ его произведеніяхъ.

Василій Андреевичъ Жуковскій <sup>1)</sup> родился въ 1803 г. въ селѣ Мишенскомѣ, находящемся въ трехъ верстахъ отъ Бѣлева, уѣзднаго города Тульской губерніи. Онъ былъ сынъ помѣщика этого села, Аѳанасія Ивановича Бунина и турчанки Сальхи (получившей въ крещеніи имя Елизаветы Дементьевны), вывезенной изъ Бендеръ въ 1771 г. однимъ изъ крестьянъ Бунина, бывшихъ въ первую турецкую войну маркитантами, свое отчество и фамилію онъ получилъ отъ бѣднаго кievскаго дворянина, проживавшаго въ домѣ Бунина, Андрея Григорьевича Жуковского, который былъ его восприемнымъ отцемъ при крещеніи и усыновилъ его. Въ этомъ семействѣ Бунина происходило и первоначальное воспитаніе; здѣсь же протекла и большая половина его жизни. По смерти Бунина остались четыре дочери, сестры Жуковского по отцу. Двѣ изъ нихъ имѣли особенное вліяніе на всю послѣдующую судьбу его: Варвара Аѳанасьевна Юшкова, которая взяла на себя заботу о первоначальномъ воспитаніи Жуковского и воспитывала его вмѣстѣ съ своими дочерьми, и Екатерина Аѳанасьевна Протасова, у которой были также двѣ дочери—Марья Андреевна, въ которую впоследствии влюбился Жуковский, и которая была выдана замужъ за дерптскаго профессора, Мойера, и Александра Андреевна (крестница Жуковского), бывшая замужемъ за писателемъ А. Ѳ. Воейковымъ. Послѣ домашняго воспитанія, Жуковский сначала былъ отданъ въ 1790 г. въ тульскій пансіонъ Роде, а по закрытіи этого пансіона въ тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ былъ Феофилактъ Григорьевичъ Покровский, извѣстный въ журнальной литературѣ того времени, подъ псевдонимомъ „философа горы Алаунской“.

---

<sup>1)</sup> Первое изд. стихотвореній Жуковского вышло въ 1815—1816 г. въ Спб. (2 части 4°). Всѣ прежнія шесть изданій сочиненій Жуковского перечислены въ послѣднемъ седьмомъ изданіи—подъ редакціей Н. А. Ефремова, Спб. 1878 г. Бумаги Жуковского, поступившія въ И. Публичную Библіотеку въ 1884 г., разобраны и описаны И. А. Бычковымъ. Спб. 1887 г.—Исслѣдованія о жизни и сочиненіяхъ Жуковского: П. А. Плетнева: Жизнь и сочиненія В. А. Жуковского, 1854 г., С. П. Шевырева: О значеніи Жуковского въ русской жизни и поэзіи, М. 1853 г.; Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы. Лѣтописи русской литературы и древности 1859 г. т. II. Сочиненія Бѣлинскаго, томъ VIII; доктора Зейдлица: Очеркъ развитія поэтической дѣятельности Жуковского. Журн. Мин. Нар. Просв. 1869 г., № 4, 5, 6; новое изданіе, дополненное къ столѣтнему юбилею; отдѣльное изданіе; Жизнь и поэзія В. А. Жуковского по неизданнымъ источникамъ и личнымъ воспоминаніямъ Н. К. Зейдлица Спб. 1883. Жуковский и его произведенія, сочин. П. Загарина. Изданіе 2-е, дополненное. 1883. Москва. Изданіе Льва Поливанова.

Но этот „философ“ не сумѣлъ разглядѣть художественныхъ дарованій своего ученика, и Жуковский, за неуспѣшность въ математикѣ, долженъ былъ оставить тульское училище. Дальнѣйшее образованіе его опять происходило въ домѣ Юшковой въ Тулѣ. Домъ этотъ былъ центромъ образованнаго тульского общества; литература, музыка, литературныя чтенія и домашніе театральные спектакли были постоянными занятіями этого кружка и имѣли чрезвычайное сильное вліяніе на развитіе характера и литературно-художественныхъ дарованій Жуковского. Будучи 12 лѣтъ, онъ написалъ для домашняго спектакля трагедіи: „Камилла или освобожденный Римъ“ и „Г-жа де-ла-Туръ“, передѣланную изъ романа Бернардена де-Сентъ-Пьера „Павелъ и Виргинія“. Въ то же время для своего домашняго кружка, для своихъ племянницъ, онъ писалъ разныя стихотворенія. Въ 1797 г. умерла его воспитательница Юшкова, и Жуковский написалъ на ея кончину „Мысли при гробницѣ“. Въ этомъ же году онъ былъ опредѣленъ въ московскій университетскій пансіонъ, направленіе котораго имѣло также литературно-художественный характеръ. При Жуковскомъ въ средѣ учениковъ этого пансіона было основано „Собраніе воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона“. Первымъ предсѣдателемъ собранія, назначавшимся изъ числа воспитанниковъ, былъ Жуковский. Онъ открылъ собраніе рѣчью, въ присутствіи многочисленныхъ посѣтителей, въ числѣ которыхъ были Карамзинъ и Дмитріевъ. Дмитріевъ обратилъ на Жуковскаго особенное вниманіе, пригласилъ его къ себѣ, и потомъ сталъ руководить въ литературныхъ занятіяхъ. Лучшія произведенія воспитанниковъ пансіона печатались въ журналахъ Сохацкаго и Подшивалова „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ (1794—1798), „Ипокрена, или утѣхи любословія“ (1799—1801), „Утренняя заря“ (1800—1808) и въ сборникѣ Подшивалова „Распускающійся цвѣтокъ“. Это общество, напоминавшее литературный кружокъ воспитанниковъ кадетскаго корпуса временъ Сумарокова, было весьма полезно для литературнаго развитія воспитанниковъ. Товарищами Жуковскаго по московскому пансіону были: графъ Блудовъ, Дашковъ, графъ Уваровъ, Александръ и Андрей Тургеневы, сыновья директора университета И. П. Тургенева. Съ Тургеневыми Жуковский находился въ тѣсныхъ дружественныхъ отношеніяхъ, особенно со старшимъ Андреемъ, который былъ большимъ любителемъ и знаткомъ нѣмецкой литературы и познакомилъ съ нею и Жуковскаго. Онъ имѣлъ для него такое же значеніе, какое Петровъ для Карамзина.

По окончаніи курса въ пансіонѣ и непродолжительной службѣ въ Соляной конторѣ, Жуковский уѣхалъ на родину сначала въ Мишенское, а потомъ въ Бѣлевъ. Въ Бѣлевѣ онъ построилъ домъ для своей матери и такимъ образомъ сдѣлался „мирнымъ жите-

лемъ Бѣлева“; въ Бѣлевѣ же поселилась и сестра его Протасова, съ дочерьми Марьей Андреевной и Александрой Андреевной. Въ Мишенскомъ онъ написалъ свою первую элегію „Сельское владбище“ (1802), въ воспоминаніе о своемъ дѣтствѣ и первыхъ врененахъ молодости<sup>1)</sup>. „Сельское владбище“ было частію переведено, частію переделано изъ стихотворенія англійскаго поэта Грея. Оно обратило на себя вниманіе простотою и естественностію картинъ, благозвучіемъ и плавностію слога и стиха; оно предвѣщало новое направленіе въ поэзіи, отличное отъ высокопарныхъ описаній природы времени классицизма.

Идеаломъ Жуковскаго на первыхъ порахъ литературной дѣятельности былъ Карамзинъ. По подражанію „Бѣдной Лизѣ“, Жуковский написалъ „Марьину рощу“<sup>2)</sup>. Начало этой повѣсти въ сентиментальномъ духѣ, хотя въ дальнѣйшемъ развитіи уже сильно замѣтна романтическая струя, и повѣсть является похожа болѣе на балладу съ свойственными ей чертами—рыцаремъ, отшельникомъ, съ видѣніемъ мертвецовъ. Есть сходство и въ ходѣ разсказа. Молодой пѣвецъ Усладъ и прекрасная Марія любятъ другъ друга; но Усладъ долженъ былъ уѣхать изъ Москвы: въ это время Марія, обольстившись богатымъ подаркомъ рыцаря Рогдая, вышла за него замужъ. Но это было только минутное увлеченіе; она не могла любить жестокаго Рогдая; замѣтивъ ея нелюбовь, Рогдай убилъ ее. Она была похоронена въ рощу, названной потомъ „Марьиной рощей“; какъ прудъ, въ которомъ утопилась „Бѣдная Лиза“, былъ названъ „Лизинимъ прудомъ“. Для своихъ сочиненій Жуковский бралъ иногда тѣ же темы, какъ Карамзинъ. Въ „Вадимѣ Новгородскомъ“ онъ воспоминаетъ о славномъ величій Новгорода; выводитъ Гостомысла, который въ уединеніи тоскуетъ о храбрыхъ сынахъ Новгорода<sup>3)</sup>. Наконецъ Жуковский продолжалъ изданіе „Вѣстника Европы“ (въ 1808—1810 г.), который началъ издавать Карамзинъ. „Существенная польза Журнала—говоритъ онъ—состоитъ въ томъ, что онъ скорѣе всякой другой книги распространяетъ полезныя идеи, образуетъ разборчивость вкуса и, главное, приманкою новості, разнообразія, легкости нечувствительно привлекаетъ въ занятіямъ болѣе труднымъ, усиливаетъ охоту читать, и читать съ цѣлію, съ выборомъ, для пользы“<sup>4)</sup>. Въ „Вѣстникѣ Европы“ помѣщались стихотворенія самого Жуковскаго: „Людмила“, баллады, переделанная изъ баллады Бюргера „Ленора“, „Кассандра“ изъ Шиллера, „Тоска по миломъ“ тоже изъ Шиллера, „Моя богиня“ изъ Гете, „Къ Нивѣ“, „Филалету“ и пѣсня „Мой другъ, хранитель, ангелъ

<sup>1)</sup> У Сочин. I, 29. <sup>2)</sup> Сочин. V, 295—317. <sup>3)</sup> Сочин. V, 238. <sup>4)</sup> Сочин. V, 266.

мой" <sup>1)</sup>. „Людмила“ была первымъ стихотвореніемъ Жуковскаго въ романтическомъ стилѣ, первымъ въ томъ родѣ, которымъ онъ прославился и по которому называли его балладникомъ; своею таинственностію и прелестью стиха и гармоніи она такъ увлекала современниковъ, что всѣ зачитывались ею и заучивали наизусть. По подражанію „Ленорѣ“ Бюргера, Жуковскій написалъ русскую балладу „Свѣтлану“ (1812). Впрочемъ, чисто русскій характеръ имѣетъ главнымъ образомъ только описаніе святочныхъ гаданій:

Разъ въ крещенскій вечерокъ  
Дѣвушки гадали:  
За ворота башмачокъ,  
Снявъ съ ноги, бросали;  
Сидѣть положи; подъ окномъ  
Слушали; горюшки  
Счетники гурьму зерномъ;  
Ярмъ доскъ ложили;  
Въ чашу съ чистою водою  
Клади перстень золотой,  
Серьжки лагурудны;  
Разстилали бѣлый платъ,  
И надъ чашей пѣли въ ладъ  
Пѣсенки подблюдны <sup>2)</sup>.

Но въ описаніи сна, видѣннаго уснувшей предъ зеркаломъ Свѣтланой, сказываются тѣ же романтическія черты, какъ въ „Людмилѣ“: женихъ-мертвецъ, въ лунную ночь увозящій Свѣтлану въ церковь, гдѣ стоитъ чернѣйшій гробъ, потомъ избушка въ полѣ и въ этой избушкѣ тотъ же женихъ-мертвецъ лежитъ на столѣ и скрежетать зубами; блоснѣжный голубокъ, который защищаетъ Свѣтлану отъ жениха. Развязка Свѣтланы свѣтлая и радостная: на яву случилось со Свѣтланой совершенно противоположное тому, что она видѣла во снѣ. „Свѣтлана“ написана для А. А. Воейковой; но всѣмъ такъ понравилась своимъ милымъ и нѣжнымъ колоритомъ, что по ней самого Жуковскаго называли пѣвцомъ Свѣтланы и въ Арзамасскомъ обществѣ онъ тоже носилъ имя Свѣтланы.

Въ „Вѣстникѣ Европы“ были помѣщены разные разсужденія и статьи: „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ“, „О баснѣ и басняхъ Крылова“, „О сатирѣ и сатирахъ Кантемира“ <sup>3)</sup> и нѣкоторые переводы изъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей. „Вѣстникъ Европы“ Жуковскій издавалъ три года вмѣстѣ съ Каченовскимъ, а потомъ передалъ его Каченовскому, а самъ опять переселился въ Бѣлевъ. Чувствуя недостаточность своего образо-

<sup>1)</sup> Сочин. I, 80—113. <sup>2)</sup> Сочин. I, 210. <sup>3)</sup> Сочин. V, 265. 333. 339.

ванія для серьезной литературной дѣятельности, онъ началъ до-  
полнять свое образованіе чтеніемъ книгъ и особенно сталъ изучать  
исторію. Занимаясь воспитаніемъ племянницъ, онъ влюбился въ  
одну изъ нихъ — Марью Андреевну Протасову и хотѣлъ на ней  
жениться. Эта любовь была самая чистая и глубокая, самая ро-  
мантическая и рыцарская, потому что она была безнадежная, иде-  
альная. Мать Марьи Андреевны, Екатерина Аеанасьевна Протасова,  
никакъ не соглашалась на бракъ своей дочери съ Жуковскимъ,  
бывшимъ въ такихъ близкихъ родственныхъ отношеніяхъ, и не  
смотря на всѣ просьбы, на всѣ совѣты и убѣжденія лицъ самыхъ  
близкихъ и самыхъ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ, отказала Жу-  
ковскому въ рукѣ своей дочери. Это составило горе всей его жи-  
зни; онъ испыталъ страданія безнадежной любви, видѣлъ и самъ  
устраивалъ бракъ своей невѣсты съ другимъ, видѣлъ наконецъ  
смерть ея. Къ этому времени относятся его сочиненія, изобража-  
ющія его душевное состояніе: „Эпимесидъ“<sup>1)</sup>, въ которомъ выра-  
жена мысль, что человѣкъ, лишенный одного изъ благъ, еще мо-  
жетъ находить утѣшеніе въ другомъ; „Мечты“ (переводъ стихо-  
творенія Шиллера: Die Ideale), въ которомъ поэтъ оплакиваетъ  
исчезающую силу чувства, нѣкогда дававшего жизнь самой без-  
душной природѣ, олицетворяемой здѣсь въ видѣ статуи Пигма-  
ліона, одушевленной нѣкогда его объятіями: поэтъ скорбитъ объ  
утратѣ идеаловъ, наполнившихъ его сердце; романсъ „Жалоба“  
(передѣланъ изъ стихотворенія Шиллера „Мальчикъ у ручья“);  
баллада „Эльвина и Эдвинъ“, гдѣ изображается взаимная любовь  
двухъ разлученныхъ суровымъ отцемъ; „Эолова арфа“, изобража-  
ющая, какъ бѣдный Арминій любитъ дочь гордаго Ордала, но ихъ  
разлучаютъ, и онъ, покидая Минвану, привязываетъ свою арфу  
къ вѣтвистому дубу и даетъ заклинаніе, что въ эти вѣрныя струны  
перейдетъ его душа, когда его уже не будетъ болѣе въ живыхъ;  
„Поликратовъ перстень“ и „Жалоба Цереры“ были переведены  
въ то же время, когда его душевное состояніе было близко къ  
описанному въ этихъ балладахъ<sup>2)</sup>. Въ дѣйсствѣ „Пловецъ“<sup>3)</sup> вы-  
ражалась скорбь Жуковского о потерѣ Марьи Андреевны: безъ  
руля и безъ веселья пловецъ занесенъ въ океанъ, но Провидѣніе  
невидимою рукою вынесло его изъ морскихъ водъ. Батюшковъ  
въ посланіи къ Жуковскому<sup>4)</sup> весьма хорошо характеризуетъ пер-  
вую эпоху его дѣятельности (1812 г.) слѣдующими стихами:

Прости балладинокъ милый мой,  
Бѣлева мирный житель...

<sup>1)</sup> Сочин. I, 194. <sup>2)</sup> Сочин. томы I и II. <sup>3)</sup> Сочин. I, 219. <sup>4)</sup> Т. I, 145—147.

Послѣ совершеннаго отказа Марья Андреевна Жуковский продалъ свое имѣніе за 11,000 р., подарить ихъ сестрѣ ея Александрѣ Андреевнѣ, которая въ 1813 г. вышла замужъ за извѣстнаго литератора А. Ѳ. Воейкова. Когда Воейковъ занялъ кафедру словесности въ дерптскомъ университетѣ, то все семейство Протасовыхъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Жуковский переселились въ Дерптъ. Въ Дерптѣ Жуковский оставался до начала 1817 г. Здѣсь онъ совершенно увлекся нѣмецкими кружками, познакомился съ Эверсомъ, представителемъ исторической науки и снова началъ заниматься исторіей; въ то же время изучалъ такъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые особенно читались въ кругу его родныхъ и близкихъ людей; познакомился и сдѣлался другомъ Зейдлица. Здѣсь явились переводы произведеній Уланда: „Сонъ“, „Пѣсня бѣдняка“, „Счастье во снѣ“, „Гаральдъ“, „Три пѣсни“, Гебеля: „Овсяный кисель“, „Красный карбункулъ“, „Деревенскій сторожъ въ полночь“. Послѣ появленія „Исторіи государства российскаго“ у Жуковского явилась мысль написать поэму изъ древней русской исторіи, именно „Владиміръ“, но эта мысль не могла исполниться; онъ не зналъ русской исторіи, не изучалъ лѣтописей и увлеченный нѣмецкой литературой и нѣмецкой цивилизаціей не понималъ древней русской жизни. Марья Андреевна въ 1817 г. вышла за Мойера. Отъ этого брака родилась дочь Екатерина, а 17-го марта 1823 г. Марья Андреевна скончалась. Ужасная скорбь овладѣла душою Жуковского, котораго онъ едва могъ перенести. Онъ купилъ въ Дерптѣ часть земли, гдѣ и была она погребена. Между тѣмъ и Александра Андреевна начала страдать кровохарканіемъ и 28 апрѣля 1828 г. скончалась. Жуковский перенесъ свою любовь на дѣтей ея; онъ продалъ свое имѣніе за 15,000 р. доктору Зейдлицу и назначилъ ихъ въ приданое тремъ сиротамъ, дочерямъ Воейкова.

Во время отечественной войны Жуковский былъ поручикомъ московскаго ополченія и въ день Бородинской битвы находился въ дѣйствующей арміи; за отличіе получилъ чинъ штабсъ-капитана и орденъ св. Анны 2-й степени. Памятниками его глубокаго патристическаго одушевленія были стихотворенія: „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ (1814—1816), „Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей“ (1806) и „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“<sup>1)</sup>, написанное въ лагерѣ подъ Тарутиннымъ въ 1812 г.; эти стихотворенія были прочитаны всей Россіей; они были выраженіемъ чувствъ какъ самого поэта, такъ и всего русскаго народа. Въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“ поэтъ соединяетъ новыхъ героевъ съ древними героями, которые собираются посмотреть на ихъ подвиги:

<sup>1)</sup> Сочин. I, 247.

Смотрите, въ грозной красотѣ,  
Воздушными полками,  
Ихъ тѣни мчатся въ высотѣ  
Надъ нашими шатрами.

Все стихотвореніе состоитъ изъ нѣсколькихъ воззваній, или тостовъ, которые пѣвецъ предлагаетъ въ станѣ, среди воиновъ, отвѣчающихъ на каждое воззваніе хоромъ. Особеннымъ чувствомъ проникнуто третье воззваніе, или третій кубокъ въ честь отчизны:

Страна, гдѣ мы впервые  
Вкусили сладость бытія,  
Поля, холмы родины,  
Роднаго неба милый свѣтъ,  
Знакомые потоки,  
Златныя игры первыхъ лѣтъ  
И первыхъ лѣтъ уроки,  
Что вашу прелесть замѣнить?  
О родина святая!  
Какое сердце не дрожитъ,  
Тебя благословляя!

Изъ тостовъ за падшихъ героев особенно симпатиченъ тостъ за Кутайсова, весь проникнутый умиротворяющимъ, нѣжнымъ, романтическимъ элементомъ. Поэтъ представляетъ, какъ его прекрасная пойдетъ искать въ слезахъ его милый прахъ, и тихій духъ героя прилетитъ изъ таинственной сѣни и невидимый дастъ знать о себѣ ея чуткому сердцу. Позднѣйшая критика въ патріотическихъ стихотвореніяхъ Жуковского находила много неестественныхъ картинъ: пѣвецъ напр. ударяетъ въ струны арфы, воины одѣты въ кольчуги, вооружены щитами, мечами; но для современниковъ онѣ пропадали въ вѣрности содержанія, въ возвышенности идеи и глубокомъ чувствѣ, которымъ они были проникнуты.

Значеніе Жуковского въ этомъ случаѣ Батюшковъ опредѣляетъ, сравнивая его съ древнимъ Тиртеемъ, возбуждавшимъ воинственный духъ грековъ своими пѣснями. Къ портрету его въ 1816 г. онъ написалъ слѣдующіе стихи:

Подъ знаменемъ Москвы, предъ падшею столицей,  
Онъ храбрымъ гимны пѣлъ, какъ пламенный Тиртей.  
Въ дни мира новый Грей  
Плѣняетъ насъ задумчивой цѣвицей.

Послѣ взятія Парижа въ 1814 г. Жуковскій написалъ посланіе къ императору Александру, въ которомъ выразилъ чувства всего русскаго народа къ своему освободителю. Онъ особенно обра-

тилъ вниманіе императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая еще прежде, прочитавъ „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, желала видѣть Жуковскаго. Въ 1815 г. онъ былъ представленъ императрицѣ Уваровымъ. Она назначила его къ себѣ лекторомъ. Въ 1817 г. онъ былъ опредѣленъ преподавателемъ русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи императрицѣ) Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Онъ началъ переводить для своей августѣйшей слушательницы стихотворенія лучшихъ нѣмецкихъ поэтовъ и эти переводы, вмѣстѣ съ подлинниками, печаталъ ежемѣсячно небольшими книжками (всѣхъ книжекъ было шесть), подъ названіемъ „Для немногихъ“, потому что онѣ не поступали въ продажу, а раздавались немногимъ лицамъ (für Wenige). Въ этотъ сборникъ вошли переводы изъ Гете: „Утѣшеніе въ слезахъ“, „Рыбакъ“, „Мина“, „Лѣсной царь“; изъ Шиллера: „Рыцарь Тогенбургъ“, „Графъ Габсбургскій“, „Горная дорога“, отрывокъ изъ „Орлеанской дѣвы“; изъ Гебеля: „Тѣньность“, „Деревенскій сторожъ“; изъ Кёрнера: „Вѣрность до гроба“. По поводу этого сборника Пушкинъ въ 1818 г. писалъ Жуковскому:

Когда смѣняются видѣнья  
Передъ тобой въ волшебной мглѣ,  
И быстрый холодъ вдохновенья  
Власы подъѣмлетъ на челѣ,  
Ты правъ, творишь ты для немногихъ.

При берлинскомъ дворѣ, по случаю пребыванія в. кн. Александры Ѳеодоровны, давались драматическія представленія изъ поэмы Мура „Лала-Рукъ“; Жуковскій сдѣлалъ переводъ 2-й пѣсни этой поэмы „Рай и Пери“; подъ вліяніемъ же берлинскихъ представленій, на которыхъ давались лучшія нѣмецкія драмы, онъ рѣшился перевести „Орлеанскую дѣву“ Шиллера.

По воцареніи императора Николая, Жуковскій былъ избранъ наставникомъ в. кн. наследника, впослѣдствіи императора Александра II. Сознавая всю важность и трудность порученной ему должности, Жуковскій все свое вниманіе сосредоточилъ на приготовленіи къ ней. Онъ отправился для этого за границу; составилъ предварительно планъ ученія, совѣтовался со знаменитыми педагогами, собиралъ учебную бібліотеку, выбиралъ преподавателей по разнымъ предметамъ. „Работы у меня много, писалъ онъ изъ Дрездена въ февраль 1827 г. своимъ друзьямъ; на рукахъ моихъ важное дѣло.... Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю средства и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. Если бы вы видѣли, чѣмъ я занятъ и какъ много объемлетъ кругъ моихъ занятій, и какъ онъ долженъ будетъ безпрестанно распространяться... У меня въ душѣ одна мысль; все



остальное—только въ отношеніи къ этой царствующей... Поэзія мною не покинута, хоть я и пересталъ писать стихи, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими. Есть въ душѣ какая-то теплота, которая животворитъ все<sup>1)</sup>. Для окончательнаго образованія государя наследника и для ознакомленія его со своимъ отечествомъ предположено было путешествіе по Россіи; планъ для этого путешествія составленъ былъ Жуковскимъ и Арсеньевымъ. Путешествіе продолжалось съ мая до декабря 1837 г. и совершалось необыкновенно быстро; въ продолженіе мѣсяца отъ Вятки до Казани чрезъ Пермь, Тобольскъ и Оренбургъ сдѣлано 4500 верстъ. „Наше путешествіе, говоритъ Жуковский, можно сравнить съ чтеніемъ книги, въ которой теперь Великій князь прочтетъ одно только оглавленіе“. Будучи въ Сибири, цесаревичъ послалъ свои ходатайства въ императору за несчастныя жертвы политическихъ заблужденій. Жуковский писалъ о томъ же изъ Златоуста; онъ описываетъ въ своемъ письмѣ страданія несчастныхъ физическія и нравственныя и въ заключеніе говоритъ: „и всему этому будетъ исцѣленіемъ одно минутное появленіе царскаго сына, которое освѣтитъ и дальніе края посѣщенной имъ Сибири“. Въ Воронежѣ Жуковский посѣтилъ домъ Кольцова и тѣмъ придавъ ему особенное значеніе въ глазахъ его родныхъ и знакомыхъ. Послѣ путешествія по Россіи послѣдовало заграничное путешествіе государя наследника; Жуковский опять сопровождалъ его. Въ это путешествіе былъ сдѣланъ выборъ будущей супруги цесаревича, в. княжны Маріи Александровны, принцессы Гессенъ-Дармштадской, а 16 апрѣля 1841 г. послѣдовало и бракосочетаніе. Жуковский сложилъ званіе наставника, которое онъ исполнялъ 15 лѣтъ. Какъ свято исполнилъ онъ свою великую обязанность и какъ благотворно было его вліяніе, доказываютъ всѣ великія дѣла его царственнаго ученика — незабвеннаго для Россіи Царя-Освободителя. Щедро награжденный за свои великія заслуги и обеспеченный на всю остальную жизнь, Жуковский уѣхалъ за границу.

Въ 1841 г., когда Жуковскому было уже 57 лѣтъ, онъ женился на дочери своего друга полковника Рейтерна; чрезъ годъ у него родилась дочь. Такимъ образомъ идеалъ семейнаго счастья, къ которому онъ стремился всю жизнь, былъ найденъ, и Жуковский нашелъ въ немъ успокоеніе. Это доказываетъ его посвященіе къ поэмѣ „Наль и Дамаяти“, переведенной имъ съ нѣмецкаго Рюккертova перевода для в. кн. Александра Николаевича. Въ этомъ посвященіи онъ свое состояніе изображаетъ такимъ образомъ:

---

<sup>1)</sup> В. А. Жуковский и его произведенія, Н. Загарики, стр. 343—344.

И нинѣ тихо безъ волненія льется  
Потокъ моей уединенной жизни.  
Смотря на лицо подруги, данной Богомъ  
На освященіе сердца моего,  
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ  
У матери младенецъ мой прекрасный,  
Я чувствую глубоко тотъ покой,  
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ,  
Не находя нигдѣ; и слышу голосъ,  
Земныя всѣ смиряющій тревоги:  
Да не смущается твоя душа,  
Онъ говоритъ мнѣ, вѣруй въ Бога, вѣруй  
Въ Меня<sup>1)</sup>.

Но съ перемѣной жизни измѣнились стремленія, вкусъ и литературныя занятія Жуковскаго. „На старости лѣтъ, писалъ онъ, я присосѣдился къ древнему разсказчику Гомеру; изъ араго романтика сдѣлался спокойнымъ классикомъ“. Въ 1847—49 г. вышелъ новый переводъ Одиссеи; послѣ Одиссеи онъ хотѣлъ было перевести и Илиаду, но перевелъ только первую пѣснь и часть второй. Въ это же время напечатаны были его мелкія повѣсти и сказки и эпизодъ изъ „Шахъ Намъ“—„Рустемъ и Зорабъ“. Но его семейное счастье и спокойствіе продолжалось не долго. Сначала болѣзнь жены, а потомъ и собственная скоро омрачила ихъ. Онъ все собирался переѣхать въ Россію и здѣсь поселиться уже навсегда. Въ 1849 г. было празднованіе пятидесятилѣтняго юбилея его поэтической дѣятельности; но онъ уже не былъ на этомъ юбилей, который былъ отпразднованъ безъ него. Не смотря на то, что зрѣніе его такъ ослабло, что онъ не могъ видѣть однимъ глазомъ, онъ продолжалъ занятія; въ послѣднее время онъ былъ занятъ разными педагогическими сочиненіями и составленіемъ учебнаго курса для своихъ дѣтей. Послѣднимъ серьезнымъ сочиненіемъ его была поэма „Вѣчный жидъ, или Агасверъ“, которую онъ уже не успѣлъ докончить. За годъ до смерти Жуковскій написалъ воспоминаніе о Царскомъ Селѣ<sup>2)</sup>, гдѣ онъ изображаетъ стараго лебедя, времянь Екатерины, умирающаго на водахъ царскосельскихъ прудовъ среди уже чуждаго ему молодого поколѣнія.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый  
Тялсь одиноко; а молодое племя  
Въ шумѣ рѣзвой жизни забивало время...  
Разъ среди ихъ шума раздался чудесно  
Голосъ, всю промавшій бездну поднебесной;

<sup>1)</sup> Сочин. III, 287.

<sup>2)</sup> Царскосельскій лебедь.

Лебеди, услышавъ голосъ, присмирѣли,  
И стремимы тайной силой, полетѣли  
На голосъ: предъ ними, вновь помолодѣлый,  
Радостно вздымая перья груди бѣлой,  
Голову на шею гордо распрямленной  
Къ небесамъ подъявля, весь воспламененный,  
Лебедь благородный дней Екатерины  
Пѣлъ, прощаясь съ жизнью, гимнъ свой лебединый;  
А когда допѣлъ онъ,—на небо взглянувши  
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши—  
Къ небу, какъ во время оное бывало,  
Онъ съ земли рванулся... и его не стало  
Въ высотѣ... и навзничъ съ высоты упалъ онъ;  
И прекрасенъ мертвый на хребтѣ лежалъ онъ,  
Широко раскинувъ крылья, какъ летящій,  
Въ небеса вперя въоръ ужъ негорящій <sup>1)</sup>

Такъ Жуковский въ образѣ стараго лебедя изобразилъ самого себя и свою собственную смерть. Это было послѣднее лебединое пѣсню и самого Жуковского. Въ 1852 г. онъ сильно занемогъ въ Баденъ-Баденѣ и 7-го апрѣля скончался на 70-мъ году жизни. Тѣло его перевезено въ С.-Петербургъ и погребено въ Александро-Невской лаврѣ, подлѣ Карамзина.

Основа міросозерцанія и характеръ идеаловъ Жуковского. Если вообще говорить, что жизнь и характеръ писателя выражается въ его сочиненіяхъ, то это надобно сказать о Жуковскомъ особенно и въ особенномъ смыслѣ. Характеризуя въ одномъ сочиненіи свою поэтическую дѣятельность, онъ говорилъ:

Я живу юную, бывало,  
Встрѣчалъ въ подлунной сторонѣ,  
И вдохновеніе летало  
Съ небесъ, незваное, ко мнѣ <sup>2)</sup>.

Дѣйствительно: мы видѣли, что каждое его сочиненіе тѣсно связано съ какимъ-нибудь фактомъ его жизни, что все, что онъ испыталъ, превращалось у него въ поэзію, что не только на оригинальныхъ, но и на переводныхъ сочиненіяхъ отразились слѣды его внутреннихъ думъ и чувствованій. И потому, говоря о переводной его дѣятельности, его нельзя сравнивать съ обыкновенными переводчиками; въ его переводныхъ сочиненіяхъ гораздо больше оригинальнаго, чѣмъ у нихъ. Это свойство поэзіи Жуковского, давно

---

<sup>1)</sup> Сочин. V, 161—162. <sup>2)</sup> Сочин. II, 392.

замѣченное, особенно выяснилось во время столѣтняго его юбилея, когда были пересмотрѣны всѣ его сочиненія, издано множество его писемъ, когда вообще внимательно объяснена была жизнь и поэзія Жуковскаго. Мы указывали выше, что онъ переводилъ большею частію тѣ сочиненія, которыя подходили въ данный моментъ къ его душевному состоянію, выражали его мысли и чувства, что, переводя сочиненіе, онъ сглаживалъ иногда рѣзкія мѣста, не согласныя съ его взглядами, что, наконецъ, часто въ переводныхъ сочиненіяхъ дѣлалъ свои вставки или въ посвященіи, или въ эпилогѣ, а иногда и въ срединѣ разсказа, въ видѣ размышленія, думы, чувства, вообще въ формѣ лирическаго отступленія. Передѣлывая „Ленору“ Бюргера, мы видѣли, онъ замѣнилъ страшное отчаяніе и проклятія Леноры тихою грустью по миломъ. Въ балладѣ: „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ (1811 г.), передѣланной изъ романа Шписа, онъ далеко отступилъ отъ подлинника и изъ большаго романа создалъ балладу; при этомъ уничтоженъ мѣстный колоритъ и всѣ подробности, которыми характеризовались нѣкъ, среда и бытъ сословія, и вмѣсто этого внесены новыя черты, которыя придаютъ разсказу русскій колоритъ. Жуковскій много переводилъ стихотвореній изъ Шиллера, увлекавшаго его своими идеалами. Онъ перевелъ его греческія и средневѣковыя баллады. Въ греческихъ балладахъ, т. е. заимствованныхъ изъ греческаго міра, Шиллеръ изобразилъ греческія воззрѣнія на жизнь и природу. Въ „Кассандрѣ“, „Торжествѣ побѣдителей“ и „Поликратовомъ перстнѣ“ выражена идея завистливой и мстительной судьбы, которая, по ученію грековъ, неотразимо господствовала надъ людьми и богами. Кассандра, дочь Троянскаго царя Пріама, не хочетъ участвовать въ свадьбѣ сестры своей Поликсены и уходитъ въ лѣсъ; какъ жрица Аполлона, она владѣетъ даромъ предвидѣнія и не можетъ радоваться съ другими, потому что знаетъ о близкой смерти жениха и паденіи Трои <sup>1)</sup>). Въ балладѣ „Торжество побѣдителей“ изображается торжество грековъ, ликующихъ послѣ взятія Трои; греки и трояне сожалеютъ о герояхъ, погибшихъ во время войны: „нѣтъ великаго Патрокла; живъ презрительный Терситъ“ <sup>2)</sup>). Въ балладѣ „Поликратовъ перстень“ <sup>3)</sup> выражена та мысль, что чѣмъ болѣе дается счастья человеку, тѣмъ скорѣе и неизбежнѣе его постигаетъ бѣдствие. Самоскій владѣтель, Поликрать, съ гордостью показываетъ египетскому царю свои богатства; царь совѣтуетъ ему не довѣрять своему счастью; ему не даромъ все удается; не къ добру такая удача во всемъ; самъ отдай драгоцѣннѣйшее свое сокровище,—и Поликрать бросаетъ въ море перстень, которымъ дорожить особенно, но на другой день ему возвращаютъ перстень, найденный въ рыбѣ, ко-

<sup>1)</sup> Сочин. I, 113—117. <sup>2)</sup> Сочин. II, 417. <sup>3)</sup> Сочин. II, 446.

торую поваръ готовилъ къ столу. Тогда египетскій царь бѣжитъ отъ него, сказавши: бѣда грозитъ этому дому; ты обреченъ судьбою на смерть. Въ балладѣ „Ивиковы журавли“ <sup>1)</sup> выражена идея правды и возмездія, мщеніе эвменидъ за преступленіе. Пѣвецъ Ивикъ шелъ въ Коринѣ на праздникъ Посейдона; на дорогѣ въ лѣсу на него напали разбойники и убили его; умирая, онъ обращается къ журавлямъ, которые въ это время пролетали надъ нимъ, и проситъ ихъ быть свидѣтелями преступленія. Убійцы, совершивъ преступленіе, пришли также въ Коринѣ и явились въ театръ. Въ то время, какъ народъ, узнавъ о преступленіи, волновался, и хоръ эвменидъ взывалъ къ богамъ о мщеніи преступникамъ, надъ театромъ пролетѣла стая журавлей; вдругъ между зрителями, на ступеняхъ театра, раздался крикъ: „Пареній, слышишь? это Ивиковы журавли“. По этимъ словамъ тотчасъ въ произносившихъ ихъ узнали убійцъ Ивика. Въ этой балладѣ хорошо также выражено воспитательное значеніе театра у грековъ. Въ „Жалобѣ Цереры“ <sup>2)</sup> выражается вѣрованіе грековъ, что вся природа, небо, земля и царство подземное населены богами и существами, подобными богамъ. Богиня Церера отыскиваетъ свою дочь, Прозерпину, которую похитилъ владыка подземнаго царства Плутонъ; не имѣя возможности, какъ живая, проникнуть въ подземное царство тѣней, она собираетъ осенью сѣмена и бросаетъ ихъ въ землю въ знакъ своей материнской любви; корни сѣмянъ уходятъ въ глубь земли, а стебли стремятся вверхъ къ свѣту, и въ цвѣтахъ весны Церерѣ слышится родной привѣтъ милой дочери.—Къ средневѣковымъ балладамъ Шиллера, которыя перевелъ Жуковскій, относятся: „Кубокъ“, „Перчатка“, „Сраженіе со змѣей“, „Графъ Габсбургскій“ и „Рыцарь Тогенбургъ“. Въ нихъ изображаются средневѣковыя идеи рыцарской любви, чести, вѣрности, самоотверженія, мужества и человеколюбія. Въ балладѣ „Кубокъ“ <sup>3)</sup> молодой пажъ съ высокой стремнины бросается въ кипучій водоворотъ, чтобы достать брошенный туда паремъ золотой кубокъ и получить руку царевны. Въ „Перчаткѣ“ <sup>4)</sup> рыцарь, на вызовъ гордой и жестокосердой красавицы, смѣло идетъ къ дикимъ звѣрямъ, подымаетъ брошенную ею перчатку и съ упрекомъ въ жестокосердіи кладетъ къ себѣ ногамъ. Въ „Сраженіи съ змѣей“ отважный рыцарь ордена Іоаннитовъ побѣждаетъ чудовище, опустошавшее землю, и при этомъ совершаетъ подвигъ смиренія, цѣлуетъ руку магистра ордена, который осудилъ его за то, что онъ вышелъ на битву безъ дозволенія. Въ балладахъ „Графъ Габсбургскій“ и „Рыцарь Тогенбургъ“ <sup>5)</sup> изо-

<sup>1)</sup> Сочин. I, 197. <sup>2)</sup> Сочин. II, 449 <sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 468.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 474.—<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 59. 63.

бразены значеніе поэзіи въ торжественныхъ собраніяхъ, уваженіе рыцарей къ религіи и церкви, характеръ рыцарской любви. Но въ тоже время страстная кипучая натура нѣмецкаго поэта не могла найти въ немъ полного сочувствія; изъ драматическихъ сочиненій Шиллера онъ перевелъ одну только „Орлеанскую дѣву“, но не перевелъ ни „Разбойниковъ“, ни „Заговора Фіеско“, ни „Валленштейна“. Еще менѣе могъ сочувствовать Жуковскій Байрону. „Въ немъ есть что-то ужасающее, стѣсняющее душу, писалъ онъ Козлову въ 1833 г.. Онъ не принадлежитъ къ поэтамъ-утѣшителямъ жизни“. Въ „Шильонскомъ узникѣ“, котораго онъ перевелъ во время путешествія по Швейцаріи, Жуковского привлекла къ себѣ личность младшаго брата, нѣжно страдающая, родственная самому Жуковскому; гордое страданіе старшаго брата онъ замѣнилъ тихою скорбію; всѣ рѣзкія мѣста о свободѣ и гоненіи, которому подвергались братья, исключены и вмѣсто нихъ вставлены другія. Въ переводѣ изъ „Лалла-Рукъ“ Мура—„Рай и Пери“—Жуковскій допустилъ значительныя отступленія. Онъ сгладилъ тѣ мѣста, которыя казались ему слишкомъ страшными; сглажены также магометанскія представленія, такъ что читатель порой забываетъ, что предъ нимъ излагается магометанское сказаніе <sup>1)</sup>).

Жуковскій былъ поэтъ лирическій, и господствующій тонъ въ его лирикѣ былъ элегическій, зависѣвшій отъ его душевнаго настроенія, созданнаго всѣми обстоятельствами его жизни. Рожденный съ нѣжною натурою, онъ воспитался въ женскомъ нѣжномъ обществѣ. Это воспитаніе развило въ немъ любовь и симпатію ко всему нѣжному, чистому и возвышенному и отвращеніе отъ всего грубаго, низкаго, недостойнаго человѣка. Особенное положеніе въ семьѣ, которая была для него въ одно и тоже время и своя и чужая, страстная и въ тоже время несчастная любовь къ племянницѣ, бывшая источникомъ душевныхъ страданій, положила на его характеръ печать глубокой меланхоліи и съ малыхъ лѣтъ повела къ элегическимъ чувствамъ и мечтательности. При невозможности достигнуть счастья человѣческаго въ настоящемъ, онъ сталъ искать его въ прошедшемъ и будущемъ, въ прошедшемъ какъ воспоминаніе о томъ, что было, въ будущемъ какъ надежду, что бывшее разъ опять возвратится, если не въ этой жизни, то въ жизни загробной. Счастіе, прерванное смертію, возвратится за гробомъ. Все лучшее, свѣтлое въ жизни, особенно любовь, ея животворящая сила, улада и утѣшительница, будетъ существовать и тамъ. Въ „Посланіи къ Нинѣ“ поэтъ мечтаетъ:

Ужели ни тѣни земнаго блаженства  
Съ собою въ обитель небесъ не возьмемъ?

---

<sup>1)</sup> Перри и Ангелъ. Сочин. II, стр. 305.

Ахъ! съ чѣмъ же предстанемъ ко трону любви?  
И то, что питало въ насъ пламень души,  
Что было въ семъ мірѣ предчувствіемъ неба,  
Ужели то бездна могилы пожретъ?  
Ахъ! самое небо мнѣ будетъ изгнаньемъ,  
Когда для безсмертья утрачу любовь;  
И въ области райской я буду печально  
О прежнемъ, погибшемъ блаженствѣ мечтать.

.....  
О Нина, я слышу таинственный голосъ:  
Нѣтъ смерти, вѣщаетъ, для нѣжной любви;  
Возлюбленный образъ, съ душой неразлучный,  
И въ вѣчность за нею изъ міра летитъ—  
Ей спутникъ до сладкой минуты свиданья <sup>1)</sup>.

Отсюда тѣсная связь во всѣхъ его представленіяхъ и образахъ настоящаго и прошедшаго съ будущимъ. Онъ такъ сжился съ такими представленіями, что сталъ наконецъ находить въ нихъ сладостное утѣшеніе во всякомъ несчастіи и во всякой скорби, и высказывалъ сожалѣніе о *скорой преходимости юря*, что *юре земное не надолго*. Поэтому печаль по благамъ прежнихъ лѣтъ, неудовлетворенная любовь, скорбь объ утраченномъ счастіи, печаль по несбывшимся надеждамъ, надежда на счастье въ будущемъ составляютъ существенныя черты поэзіи Жуковского. Эти черты видны во всѣхъ стихотвореніяхъ его; но особенно рѣзко онѣ, какъ преобладающія темы, выразились въ аллегоріи: „Три сестры. Видѣніе Минванъ“ и въ стихотвореніяхъ: „Тоска по миломъ“, „Эльвина и Эдвинъ“, „Алина и Альсимъ“, „Эолова арфа“, „Теонъ и Эсхинъ“. „Вся наша жизнь, говоритъ онъ въ „Видѣніи Минванъ“, была бы послѣдствіемъ скучныхъ и несвязныхъ сновидѣній, когда бы съ настоящимъ не соединялись тѣсно ни будущее, ни прошедшее—три неразлучныя эпохи: одна украшаетъ другую, одна отъ другой заимствуетъ прелесть“. Эти три эпохи представляются въ образѣ трехъ сестеръ, молодыхъ дѣвушекъ, встрѣтившихся Минванъ на дорогѣ. „Одна сидѣла подъ старымъ дубомъ, облокотившись на урну, обвитую лиліями, незабудками и кипарисомъ; другая лежала небрежно на травѣ подъ розовымъ кустомъ; а третья смотрѣла на заходящее солнце; въ глазахъ ея блистало какое-то сверхъестественное пламя; величественное лицо, озаренное лучами солнца, казалось не человѣческимъ... Мы сестры, сказала старшая. Я называюсь *прошедшее*; имя средней сестры, которая подарила тебѣ розу, *настоящее*, а младшей—*будущее*: иначе называютъ насъ *Вчера, Нынѣ, Завтра*. Мы неразлучны, тотъ, кого полю-

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 92—93.

бить одна, становится любезнѣ и другимъ, противный одной необходимо долженъ быть противенъ и прочимъ... Наслаждаясь, мой другъ, розами настоящаго, ты будешь съ веселіемъ чистымъ, съ надеждою безмятежною смотрѣть на сію привлекательную отдаленность будущаго: веселіе и надежда—сопутницы непорочности... О мой другъ, придетъ время оставить цвѣтущую долину жизни,... тогда явимся предъ тобою вмѣстѣ, въ новомъ сіяніи, преображенные, навсегда неразлучныя. Какимъ восхитительнымъ блескомъ озарится для тебя отдаленіе будущаго. Безсмертіе, оправданіе надеждъ и вѣры, награда... О Минвана, вся твоя жизнь да будетъ приготовленіемъ къ сей минутѣ<sup>1)</sup>. Воспоминаніе и надежду, два основныхъ чувства, данныя человѣку небомъ въ замѣну утраченнаго настоящаго счастья, онъ представляетъ въ образѣ двухъ цвѣтковъ—незабудки и анютиныхъ глазокъ:

Они безъ пышнаго сіянія,  
Едва примѣтны красотой:  
Однимъ есть цвѣтъ воспоминанія,  
Сердечной думы—цвѣтъ другой.  
О милое воспоминаніе  
О томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ!  
О дума сердца—упованіе  
На лучшій, неизмѣнный свѣтъ!  
Блаженъ, кто васъ среди губящаго  
Волненія жизни сохранилъ,  
И съ вами низость настоящаго  
И пренебрегъ и позабылъ<sup>2)</sup>.

Поэтическій образъ загробнаго свиданія представленъ въ „Жалобѣ Цереры“, переведенной изъ Шиллера. Тоскующая по дочери своей Прозерпина Церера говоритъ:

Изъ руки Вертумна щедрой  
Сѣмя жизни взять спѣшу,  
И его въ земное нѣдро  
Бросивъ, Стиксу приношу;  
Сердцу дочери ввѣрю  
Тайный даръ моей руки  
И, скорбя, въ немъ посылаю  
Вѣсть любви, залогъ тоски.  
.....  
И ко мнѣ въ живомъ дыханіи  
Молодыхъ цвѣтовъ весны  
Поднимается призванье,

---

<sup>1)</sup> Сочин. V, 262—265. <sup>2)</sup> Сочин. II, 390—391



Гласъ родной изъ глубины;  
Онъ разлуку услаждаетъ,  
Онъ душѣ моей твердитъ:  
Что любовь не умираетъ  
И въ отшедшихъ за Коцитъ <sup>1)</sup>.

Тоже самое изображается въ „Золовой арфѣ“. Бѣдный пѣвецъ Арминій полюбилъ дочь богатаго Ордала, Минвану, но не надѣется получить согласія на бракъ; прощаясь съ нею, онъ привязываетъ свою арфу къ вѣтвистому дубу и говоритъ:

Будь, арфа, для милой  
Залогомъ прекрасныхъ минувшаго дней;  
И сладкіе звуки  
Любви не забудь;  
Улада разлуки  
И вѣстникъ души неизмѣнныя будь.  
Когда же мой юный,  
Убитый печалію цвѣтъ опадетъ,  
О, вѣрныя струны,  
Въ васъ съ прежней любовью душа перейдетъ!  
Какъ прежде, выграетъ  
Веселіе въ васъ,  
И другъ мой узнаетъ  
Привычный, зовущій къ свиданію гласъ.  
И думай, ихъ пѣнью  
Внимая вечерней, Минвана, порой,  
Что легкою тѣнью,  
Все вѣрный, летаетъ твой другъ надъ тобой <sup>2)</sup>.

Но всего рѣзче міросозерцаніе Жуковского выразилось въ балладѣ: „Теонъ и Эсхинъ“. Эсхинъ долго странствовалъ по свѣту, повсюду искалъ счастья, но нигдѣ и ни въ чемъ не нашелъ его. Утомленный онъ возвращается домой и находитъ друга своего Теона сидящимъ подлѣ гроба. Теонъ не хотѣлъ искать счастья нигдѣ, кромѣ жизни семейной. Но онъ не долго имъ наслаждался; супруга его умерла. Это не произвело ропота въ душѣ Теона, не разочаровало его въ жизни:

О, нѣтъ! не ропщу на Зевесовъ законъ:  
И жизнь и вселенна прекрасны.  
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ ложныхъ мечтахъ  
Я видѣлъ земное блаженство.

---

<sup>1)</sup> Сочин. II, 452—453. <sup>2)</sup> Сочин. I, 379.

Что может разрушить въ минуту судьба,  
Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;  
Но сердца нетлѣнныя блага: любовь  
И сладость возвышенныхъ мыслей—

Вотъ счастье! о другъ мой, оно не мечта.  
Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ;  
Любовью моя освятилась душа,  
И жизнь въ красотѣ мнѣ предстала.

При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ.  
Яснѣ великость творенья;  
Я вѣрилъ, что путь мой лежитъ по землѣ  
Къ прекрасной, возвышенной цѣли.

. . . . .  
Для сердца прошедшее вѣчно.  
Страданье въ разлукѣ есть та же любовь,  
Надъ сердцемъ утрата бессильна.

И скорбь о погибшемъ не есть ли, Эсхинъ,  
Обѣтъ неизмѣнной надежды,  
Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ,  
Погибшее намъ возвратится?

По той же дорогѣ стремлюся одинъ,  
И къ той же возвышенной цѣли,  
Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ—  
Сихъ узъ не разрушить могла.

Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы,  
И жизнь мнѣ земная священна;  
При мысли великой, что я—человѣкъ,  
Всегда возвышаюсь душою.

А этотъ безмолвный, таинственный гробъ...  
О другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,  
Что лучшее въ жизни еще впереди,  
Что вѣрно желанное будетъ.

Сей гробъ, затворенная къ счастью дверь,  
Отворится.... жду и надѣюсь.  
За нимъ ожидаетъ спутникъ меня,  
На мигъ мнѣ жившійся въ жизни.

О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна.  
Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,  
Все въ жизни къ великому средство,

И горестъ и радость—все къ цѣли одной;  
Хвала жизнодавцу—Завесу!<sup>1)</sup>

*Воспоминаніе* о томъ, что было, для поэта такъ дорого и такъ живо, что онъ сливаетъ это прошедшее съ будущимъ и представляетъ его какъ бы настоящимъ:

О милыхъ спутникахъ, которые нашъ свѣтъ  
Своимъ сочувствіемъ для насъ животворили,  
Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ;  
Но съ благодарностію: были <sup>2)</sup>.

Приписывая такое значеніе воспоминанію о прошедшемъ, объ утраченномъ счастіи, онъ жалуется на *преходимость горя*, что всякое горе не надолго. Въ „Ундинѣ“ онъ говоритъ:

Какъ намъ, читатель, сказать: къ сожалѣнію или къ счастью?  
что наше

Горе земное не надолго. Здѣсь разумію я горе  
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,  
Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливается  
Насъ воедино, которымъ утрата для насъ не утрата,  
Смерть вдвоемъ бытіе, а жизнь—порывъ непрестанный  
Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра  
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ  
Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ иконой,  
Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ  
Все не та подъ конецъ, какою была при началѣ,  
Полная, чистая; много, много много чужаго  
Между утратою нашей и нами уже протѣснилось;  
Вотъ наконецъ и всю измѣняемость здѣшняго въ самой  
Нашей печали мы видимъ... Итакъ, скажу: къ сожалѣнію,  
Наше горе земное не надолго <sup>3)</sup>.

Такимъ образомъ элегія Жуковскаго совсѣмъ не имѣетъ характера какого-нибудь унынія или отчаянія, какъ это мы встрѣчаемъ у древнихъ греческихъ и римскихъ поэтовъ и у новыхъ писателей, изображающихъ себя или другихъ въ какомъ-нибудь несчастіи. Религія древнихъ не общала никакихъ утѣшеній за гробомъ, и несчастіе настоящей жизни ложилось всею тяжестью на человѣка; христіанство указало цѣль жизни въ будущемъ мірѣ, для приготовленія къ которому служить настоящая жизнь. „Древніе, говоритъ Жуковский, имѣли вполне развитую гражданскую матеріальную жизнь, но не имѣли дополненія необходимаго этой жизни, того именно, что ее упрочиваетъ и благородствуетъ; ихъ

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 312—316. <sup>2)</sup> Сочин. II, 352. <sup>3)</sup> Сочин. III, 154: 220—221.

религія принадлежала тіснимъ предѣламъ этой матеріальной жизни; она не входила во внутренность души, напротивъ извлекала ее изъ самой себя, наполняя внѣшній міръ, ее окружающій, своими поэтическими созданіями, повторявшими, въ другомъ только размѣрѣ, всѣ событія ежедневной матеріальной жизни; но въ замѣнъ земныхъ утратъ ничего не представляла. Всѣ сокровища были на землѣ; все заключалось въ земныхъ радостяхъ и все съ ними исчезало. Итакъ естественно, что душа, ничего кромѣ сихъ измѣнчивыхъ благъ не имѣя, къ нимъ съ жадностію прилѣплялась и предавалась ихъ наслажденію, отвортивъ глаза отъ Парки, во всякое время съ нимъ неразлучной. У каждаго на пиру въ жизни висѣлъ надъ головою, на тонкомъ волоскѣ, мечъ Дамоклесовъ; но потому именно, что онъ у каждаго висѣлъ надъ головою, всѣ общею толпою шумѣли весело на пиру и спѣшили насытиться по горло. Каждый самъ про себя, ясно или неясно чувствовалъ, что когда соберутъ со стола, ужъ другаго ему не накроютъ; но увлеченный общимъ шумнымъ порывомъ, не обращалъ вниманія на это чувство, или вопреки ему удваивалъ свои подвиги на всемірной оргіи. Иногда какой-нибудь Горацій, но и тотъ только для того, чтобы подстрекнуть наслажденіе, восклицалъ посреди этой суматохи: лови, лови летящій часъ! Онъ, улетѣвъ, не возвратится!... Христіанство своимъ явленіемъ все преобразовало... Изъ внѣшняго міра матеріальной жизни, гдѣ все прельщаетъ и гибнетъ, оно обратило насъ во внутренній міръ души нашей; легкомысленное, ребяческое наслажденіе внѣшнимъ уступило мѣсто созерцанію внутреннему; за всякое заблужденіе надежды, ласкавшейся обрѣсти вѣрное существенное въ измѣняющемъ внѣшнемъ, нашлось вознагражденіе въ сокровищницѣ вѣры, которая все наше драгоценное, все, существенно душѣ нашей принадлежащее, застраховало на уплату послѣ смерти въ иномъ мірѣ... Гибнетъ только то, что не наше; все же, что составляетъ вѣрное достояніе и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вѣчность“<sup>1)</sup>. На такихъ началахъ коренилось мировоззрѣніе Жуковскаго. Но въ тоже время это не былъ міръ отшельника, закрывающаго глаза на все въ мірѣ, кромѣ могилы; религіозность Жуковскаго была проникнута истинно гуманными началами; онъ былъ исполненъ глубокой симпатіи и любви ко всему человѣческому, ко всему великому, высокому и прекрасному въ области науки, искусства и цивилизаціи; онъ представляетъ къ себѣ соединеніе христіанства съ гуманизмомъ. Никто такъ высоко не понималъ цѣли и назначенія поэта и обязан-

---

<sup>1)</sup> «О меланхоліи въ жизни и поэзіи», сочин. VI, 63—70.

ности его. Онъ называетъ поэзію добродѣтелью <sup>1)</sup>, земной сестрой религіи небесной. Все въ жизни въ великому средство; и жизнь и вселенная прекрасны.

Геній чистой красоты—  
Онъ лишь въ чистыхъ мгновеньяхъ  
Бытія слетаетъ къ намъ,  
И приноситъ откровенья,  
Благодатныя сердцамъ.  
Чтобъ о небѣ сердце знало  
Въ темной области земной,  
Намъ туда сквозь покрывало  
Онъ даетъ взглянуть порой;  
А когда насъ покидаетъ,  
Въ даръ любви, у насъ въ вѣду,  
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ  
Онъ прощальную звезду <sup>2)</sup>.

Въ „Камовнсь“ его поэтъ Васко говоритъ:

Не счастья, не славы здѣсь  
Ищу я: быть хочу крыломъ могучимъ,  
Подъземлющимъ родины мнѣ сердца  
На высоту, зарей, побѣду дня  
Предвозвѣщающей, великихъ думъ  
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,  
Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимымъ,  
И сторожемъ нетлѣнной той завѣси,  
Которую предъ нами горній міръ  
Задернуть, чтобъ порой для смертныхъ глазъ  
Не приподнимать и святость жизни  
Являть во всей ея красѣ небесной—  
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!....  
.... Здѣсь безъ нихъ (поэтовъ)  
Была ли бы для душъ, покорныхъ Богу,  
Возможна та святая брань, въ которой  
Мы на землѣ для неба созрѣваемъ?  
Мы не затѣмъ ли здѣсь, чтобъ средъ тяжелыхъ  
Скорбей, гоненій, вида торжество  
Порока, силу зла, и слыша хохотъ  
Безстыднаго разврата или насмѣшку  
Безвѣрія, изъ этой бездны вынести  
Въ душѣ неоскверенной вѣру въ Бога?...  
О, Камовнсь! Поэзія небесной

---

<sup>1)</sup> Въ посланіи къ Вяземскому и В. А. Пушкину. Сочин. I, 335. <sup>2)</sup> Сочин. V, 467.

Религін сестра земная; свѣтлый  
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,  
Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ бурь не обились  
Съ пути. Поэтъ, на пламени его  
Свой факелъ зажига! Твои всѣ братья  
Съ тобою заодно засвѣтатъ каждый  
Хранительный свой огонь, и будутъ здѣсь  
Они во всѣхъ странахъ и временахъ  
Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;  
При блескѣ ихъ, чтобъ труженикъ земной  
Ни испыталъ,—душой онъ не падеть,  
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Отвѣтъ Камюэнса поэту Васко заканчивается словами:

Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли <sup>1)</sup>.

Какъ въ идеалѣ поэта Жуковскій не отдѣлялъ поэзіи отъ добродѣтели и религіи, такъ въ идеалѣ человѣка не отдѣлялъ счастья отъ добродѣтели. Почти до 60 лѣтъ искавшій счастья въ жизни семейной, онъ поставлялъ семейную жизнь идеаломъ жизни. Въ статьѣ „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ“ онъ говоритъ: „Одинъ тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнію, есть прямо добрый и слѣдовательно прямо счастливый человѣкъ. Свѣтъ называютъ театромъ—каждый изъ насъ въ одно время и дѣйствующій и зритель. Актеры стараются блеснуть искусствомъ; зрители восклицаютъ: великій умъ, чудесное дарованіе! Но мало однихъ блистательныхъ успѣховъ на театрѣ свѣта, чтобъ приобрести благородное названіе: *добрый*, чтобы имѣть право называться *счастливымъ*. Ты съ честью служишь отечеству; судья справедливый—всѣ приговоры твои сходны съ приговорами закона и совѣсти; смѣлый, благоразумный полководецъ—никто не видалъ, чтобы ты блѣднѣлъ въ виду непріятеля, чтобы терялъ присутствіе духа въ минуту неуспѣха или замѣшательства. Въ обществѣ называютъ тебя пріятнымъ, ласковымъ, забавнымъ; нельзя не плѣниться твоимъ разговоромъ; все окружающее тебя оживлено твоимъ остроуміемъ, твоими словами, взглядами, усмѣшками. Говорю смѣло: умный, дѣятельный, любезный, необыкновенный человѣкъ. Скажу ли: добрый и счастливый? Нѣтъ: я вижу тебя на сценѣ, въ уборѣ, въ минуту *представленія*, въ минуту торжества; прельщаюсь однимъ наружнымъ, временнымъ твоимъ блескомъ. Ты дѣйствуешь не собственною силою, ты окруженъ безчисленными подпорами: общее мнѣніе хранитель твоихъ добродѣтелей; быть можетъ, источникъ ихъ единое твое честолюбіе. Хочу ли узнать совершенно твой ха-

<sup>1)</sup> Сочин. III, 237. 264—266. 270.

ракетъ—я долженъ послѣдовать за тобою во внутренность семейства. Семейство есть тихое, сокрытое отъ людей поприще, на которомъ совершаются самые благородные, самые безкорыстные подвиги добродѣтельнаго. Здѣсь человѣкъ одинъ—всѣ призраки исчезли; онъ дѣйствуетъ безъ свидѣтелей, въ кругу знакомцевъ слишкомъ короткихъ, слѣдственно для него не страшныхъ; не можетъ удивлять ложнымъ блескомъ; не слышитъ рукоплесканій.... Здѣсь онъ снимаетъ съ себя заимствованные покровы; свободно предается естественнымъ своимъ склонностямъ; никому, кромѣ самого себя, не даетъ отчета; и если я вижу его спокойнымъ, веселымъ, неизмѣняемымъ въ тѣсномъ кругу любезныхъ.... тогда рѣшительно говорю: онъ добръ, онъ счастливъ.... Не имѣвъ добраго сердца, можно быть въ нѣкоторомъ отношеніи добрымъ гражданиномъ: будь съ дарованіемъ, и будешь успѣшно дѣйствовать на той сценѣ, которая окружена безчисленною толпою судей любопытныхъ и строгихъ. Честолюбіе замѣнить для тебя внутреннюю доброту; и та и другая причины произведутъ одинакое видимое дѣйствіе. Но быть хорошимъ семьяниномъ въ полномъ значеніи сего слова, добрымъ супругомъ, отцемъ, покровителемъ своимъ домашнихъ, говорю безъ исключенія, нельзя, не имѣвъ добраго, нѣжнаго, чувствительнаго сердца. Семейство есть малый свѣтъ, въ которомъ должны мы исполнять въ маломъ видѣ всѣ разнообразныя обязанности, налагаемыя на насъ большимъ свѣтомъ; но съ тѣмъ различіемъ, что здѣсь не можетъ быть заблужденія на счетъ заслуги, здѣсь видятъ тебя такимъ точно, каковъ ты въ самомъ дѣлѣ.... Ты ищешь вѣрнаго счастья? Почитай обязанностію быть дѣятельнымъ для пользы отечества; но лучшія твои наслажденія, но самыя драгоцѣнныя награды твои да будутъ заключены для тебя въ нѣдрѣ семейства“ <sup>1)</sup>).

Такимъ образомъ Жуковскій возвышаетъ семейную жизнь и дѣятельность надъ жизнію и дѣятельностію общественною, которая является уже на второмъ планѣ, какъ замѣна жизни семейной. Это, конечно, потому, что семейство составляетъ самую важную форму жизни, какъ основа жизни общественной. Въ семействѣ первоначально складывается и развивается тотъ характеръ, съ какимъ является человѣкъ въ жизни и дѣятельности общественной. И если не будетъ хорошаго семьянина, то не будетъ и хорошихъ гражданъ, хорошихъ общественныхъ дѣятелей.

Романтическое отношеніе Жуковского къ искусству и природѣ выразилось при описаніи картинъ Дрезденской галлерей и особенно Рафаэлевой Мадонны. Вліяніе прекраснаго на душу Жуковскій обозначаетъ характеристическими словами: душа распро-

---

<sup>1)</sup> Сочин. V, 265—268.

страняется. Истинный художникъ пишетъ не для глазъ, все обнимающихъ во мгновеніе и на мгновеніе, но для души, которая, чѣмъ болѣе ищетъ, тѣмъ болѣе находитъ. Такое именно впечатлѣніе производитъ картина Рафаэля. „Сказываютъ, что Рафаэль, натянувъ полотно свое для этой картины, долго не зналъ, что на немъ будетъ: вдохновеніе не приходило. Однажды онъ заснулъ съ мыслию о Мадоннѣ, и вѣрно какой-нибудь ангелъ разбудилъ его. Онъ вскочилъ: она здѣсь! закричалъ онъ, указавъ на полотно и начертилъ первый рисунокъ. И въ самомъ дѣлѣ, это не картина, а видѣніе: чѣмъ долѣе глядишь, тѣмъ живѣе увѣряешься, что предъ тобою что-то неестественное происходитъ.... Не понимаю, какъ могла ограниченная живопись произвести необъятное; предъ глазами полотно, на немъ лица, обведенныя чертами, и все стѣснено въ маломъ пространствѣ, и не смотря на то, все необъятно, все неограниченно! И точно, приходитъ на мысль, что эта картина родилась въ минуту чуда: занавѣсъ раздернулся, и тайна неба открылась глазамъ человѣка“ <sup>1)</sup>). Такимъ образомъ, то, что называется вдохновеніемъ, по мнѣнію Жуковского, есть внезапное откровеніе: это видѣніе, которое удалось художнику видѣть изъ за видимого, невидимое, таинственное, не выразимое въ обыкновенное время. Такъ Жуовскій смотрѣлъ и на собственное свое вдохновеніе. Въ піесѣ „Таинственный посѣтитель“ онъ говоритъ:

«Часто въ жизни такъ бывало:  
Кто-то свѣтлый къ намъ летитъ,  
Поднимаетъ покрывало,  
И въ далекое манитъ» <sup>2)</sup>).

Въ другой піесѣ „Привидѣніе“ поэтическую мечту онъ изображаетъ привидѣніемъ.

«Въ одеждѣ бѣлой, какъ туманъ;  
Воздушною лазурной пеленою  
Вылъ окруженъ воздушный станъ;  
Таинственно она ее свивала  
И развивала надъ собой» <sup>3)</sup>).

Въ природѣ подъ внѣшними явленіями, доступными созерцанію, онъ видитъ невидимое, духовное. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характеристична его піеса „Море“. Каждой внѣшней чертѣ въ морѣ онъ придаетъ духовный смыслъ и все море представляется живымъ, дышущимъ:

<sup>1)</sup> Сочин., V, 465—470. <sup>2)</sup> Тамъ же, II, 388. <sup>3)</sup> Тамъ же, 386.



«Безмолвное море, лазурное море,  
Стою очарованъ надъ бездной твоей,  
Ты живо, ты дышешь...» <sup>1)</sup>

Присутствіе этой духовной жизни, которое и составляет ея красоту и предметъ поэзіи, онъ представилъ въ піесѣ „Невыразимое“.

«Что нашъ языкъ земной предъ дивною природой?» <sup>2)</sup>

Существенная заслуга Жуковского, какъ мы сказали, заключается въ томъ, что онъ познакомилъ русскую литературу и русское общество съ характеромъ романтической европейской поэзіи. „Онъ, говоритъ Бѣлинскій, пополнилъ въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ вѣковъ и благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ вѣковъ и романтическая поэзія начала XIX вѣка.... Романтизмъ среднихъ вѣковъ, разумѣется, не годится для нашего времени; теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиной. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сѣменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи“ <sup>3)</sup>. Но кромѣ романтическихъ произведеній, Жуковский познакомилъ русскую литературу и съ лучшими произведеніями всѣхъ литературъ древнихъ и новыхъ.... Изъ индійской литературы онъ перевелъ съ нѣмецкаго Рюккертова перевода превосходную повѣсть изъ Магабгараты: „Наль и Дамаянти“; изъ персидской литературы также съ Рюккертова перевода—эпизодъ изъ поэмы Фирдуси Шахъ-Намъ: „Рустемъ и Зорабъ“; изъ древней классической поэзіи, кромѣ отрывковъ изъ Иліады и Энеиды, перевелъ съ нѣмецкаго подстрочнаго перевода всю Одиссею; изъ испанской поэзіи—нѣкоторые романсы о Сидѣ и Донъ-Кихота Сервантеса съ сокращеннаго французскаго перевода; изъ англійской поэзіи—„Сельское кладбище“ Грея, „Замокъ Смальгольмъ“ Вальтера Скотта и „Шильонскій узникъ“ Байрона; изъ нѣмецкой поэзіи, кромѣ указанныхъ выше сочиненій Шиллера и Гёте, эпизодъ изъ „Мессіады“ Клопштокъ—Аббадона; изъ Бюргера—„Ленора“; изъ Зейдлица—„Ночной смотръ“; изъ Гебеля мелкія стихотворенія: „Деревенскій сторожъ“, „Овсяный кисель“, „Утренняя звѣзда“, „Лѣтній вечеръ“. Сколько съ этими разнообразными переводами внесено было въ русскую литературу новыхъ образовательныхъ

<sup>1)</sup> Сочин. II, 388—389. <sup>2)</sup> Тамъ же, 76.

<sup>3)</sup> Сочин. Бѣлинскаго, VIII, 204—205.

элементовъ. Правда, эти переводы сдѣланы были не совсѣмъ согласно съ подлинниками (подлинникъ въ нихъ часто съ пропусками, получили новыя вставки, языкъ довольно свободенъ), но отъ этого не теряется ихъ образовательное значеніе. Развиваютъ идеи, образы, чувства и стремленія, которыя составляютъ содержаніе литературныхъ произведеній, а не внѣшняя форма ихъ выраженія, какъ то языкъ и слогъ, которые далеко не такъ космополитичны и вполне не могутъ быть переданы съ одного языка на другой. Нѣкоторые произведенія еще до сихъ поръ читаются въ переводѣ Жуковского, не смотря на то, что они сдѣланы не съ подлинника, какъ напр. такое классическое произведеніе, какова „Одиссея“ и восточныя произведенія „Наль и Дамаянти“ и „Рустемъ и Зорабъ“. Другаго перевода мы до сихъ поръ еще не имѣемъ. Ни одинъ изъ русскихъ писателей и поэтовъ не владѣлъ такимъ удивительнымъ искусствомъ переводить на русскій языкъ произведенія иностранныхъ литературъ, какъ Жуковский. Онъ умѣлъ постигнуть вполне духъ и характеръ писателя, воспринималъ въ свою душу его идеи, мысли и чувства и до того проникался переводимымъ сочиненіемъ, что переводъ его дѣлался какъ бы его собственнымъ сочиненіемъ. Переводчикъ-стихотворецъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ оригинальный творецъ. Конечно, первая мысль, на которой основано зданіе стихотворное и планъ этого зданія, принадлежитъ не ему; но онъ остается творцемъ выраженія. Онъ не найдетъ выраженія автора оригинальнаго въ собственномъ своемъ языкѣ; ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его, такъ сказать, въ созданіе собственного воображенія, когда, руководствуясь авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его генія. Но эта способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть-ли сама по себѣ ужъ творческая способность?

Что касается оригинальныхъ сочиненій Жуковского, то возвышенный строй его поэзіи, глубоко религіозный, христіанскій идеализмъ, которымъ они проникнуты, имѣли несомнѣнно благотворное вліяніе и были необходимы для тогдашняго русскаго общества, страдавшаго отъ матеріализма, внесеннаго въ него французскою литературою. Въ 1826 году Пушкинъ въ надписи къ портрету Жуковского такъ охарактеризовалъ его поэзію:

Его стиховъ плѣнительная сладость  
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,  
И, внемли имъ, вздохнетъ о славѣ младость,  
Утѣшится безмолвная печаль,  
И рѣвая задумается радость.

Всѣ эти свойства, дѣйствительно, есть въ поэзіи Жуковского, и они-то благотворно дѣйствовали на читающую публику.

Въ кругу современныхъ писателей Жуковский былъ настоящимъ классическимъ Несторомъ, мудрымъ совѣтникомъ, утѣшителемъ во всякомъ несчастіи, радующимся всякому новому таланту и поддерживающимъ упадающія силы. Когда Пушкинъ окончилъ свою поэму „Русланъ и Людмила“, онъ подарилъ ему свой портретъ и написалъ на немъ: „ученику побѣдителя отъ побѣжденнаго учителя, въ высокаторжественный день окончанія Руслана и Людмилы“. Въ 1820 году Жуковский явился заступникомъ за Пушкина, когда его сослали въ Одессу. Жуковский долго возился съ Пушкинымъ, когда онъ въ Михайловскомъ разсорился съ отцемъ; онъ же описалъ послѣднія минуты жизни Пушкина. Когда въ 1824 году Батюшковъ сошелъ съ ума, Жуковский оказалъ необыкновенное участіе, возилъ его въ Дерптъ, потомъ за-границу въ Дрезденъ, въ Зонненштейнскую больницу. Письма Жуковского свидѣлствуютъ, какъ заботила его судьба бѣднаго поэта. Семейство Тургеневыхъ, весьма близкое къ Жуковскому, замѣшано было въ общество декабристовъ. Жуковский возилъ въ Парижъ Сергѣя Тургенева, который, узнавъ о судьбѣ братьевъ, сошелъ съ ума. Жуковский ходатайствовалъ за Николая Ивановича Тургенева, который хотя былъ не виновенъ, но уклонился отъ суда, убѣжавъ въ Лондонъ. 15-лѣтній Баратынский въ Пажескомъ корпусѣ былъ втянутъ товарищемъ въ дурное дѣло и былъ исключенъ съ тѣмъ, чтобы нигде не принимать, какъ въ солдаты; онъ написалъ письмо къ Жуковскому, и по его ходатайству былъ произведенъ въ офицеры. Когда Козловъ лишился зрѣнія, Жуковский ухаживалъ за нимъ, помогалъ его семьѣ, и похоронилъ его, какъ искренняго друга. Доброта въ Жуковскомъ соединялась съ незлобіемъ. Мы указали выше на комедію Шаховскаго: „Липецкія воды“, въ которой Жуковский представленъ былъ въ смѣшномъ видѣ балладника Фіалкина. Тогда какъ друзья его глубоко возмущались этою дерзостью, онъ отнесся къ ней спокойно и добродушно. „Здѣсь (въ Петербургѣ) есть авторъ, князь Шаховскій. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились. Теперь страшная война на Парнасѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы всѣ молчали.... Всѣ эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзіи, которая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется сама собою.... Бѣда писателю, если у него душа доступна для оскорбленій глупцовъ и невѣждъ. Я благодаренъ этому глупому случаю; онъ болѣе познакомилъ меня съ самимъ собою. Я теперь знаю, что я люблю поэзію для нея самой, а не

для почестей, и что комары парнасские меня не укусят никогда слишкомъ больно“ <sup>1)</sup>).

Словесныя формы Жуковского согласны съ внутреннимъ содержаніемъ его произведеній. Въ романтическихъ произведеніяхъ, выражающихъ разныя чувствованія и ощущенія, какъ бы въ соотвѣтствіе ихъ романтическому строю, стихъ его отличается легкостью и музыкальностью; по мѣткому выраженію Гоголя, онъ „безтѣлесенъ, какъ видѣніе“; „порхаетъ какъ неясный звукъ Эоловой арфы“. Жуковский любилъ писать бѣлыми стихами, или стихами безъ рима. Пушкинъ вначалѣ былъ недоволенъ и посмѣивался надъ такими стихами, но впослѣдствіи вполне оцѣнилъ ихъ и даже самъ писалъ такими стихами. О Жуковскомъ еще въ 1825 году Пушкинъ говорилъ: „я не слѣдствіе, а только ученикъ его, и только тѣмъ и беру, что не смѣю сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имѣлъ и не будетъ имѣть слога, равнаго въ могуществѣ и разнообразіи слогу его.... Переводы избаловали его, излѣнили; онъ не хочетъ самъ созидать“. Когда на Жуковского нападали, говоря, что его пѣсенка уже спѣта, Пушкинъ защищалъ его: „Зачѣмъ кусать намъ грудь своей кормилицы, потому что зубки прорѣзались“, спрашивалъ онъ. „Что ни говори, Жуковский имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности и къ тому же переводный слогъ его останется навсегда образцовымъ“.

### К. Н. БАТЮШКОВЪ.

Современникомъ Жуковского былъ Батюшковъ <sup>2)</sup>, другой предшественникъ Пушкинской эпохи. Это была личность чрезвычайно да-

---

<sup>1)</sup> Изъ письма на родину 1815, въ «Рус. Архивѣ» 1864 г.

<sup>2)</sup> 1-е изданіе сочиненій Батюшкова вышло въ 1817 г. Спб.: «Опыты въ стихахъ и прозѣ». 2 части. 2-е изд.: «Сочиненія въ прозѣ и стихахъ». Спб. 1834. 2 части. 3-е изд.—Смирдина въ 1850 г. Въ 1887 г. сочиненія Батюшкова прекрасно изданы братомъ его П. Н. Батюшковымъ, съ обширною и превосходною статьею о жизни и сочиненіяхъ Батюшкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Саитовымъ. Том. 1—3. Спб. Въ этой статьѣ и примѣчаніяхъ заключается цѣлая монографія, въ которую не только входитъ самая обстоятельная и подробная біографія поэта и обзоръ его сочиненій, но и описывается вся литературная эпоха царствованія Александра I, къ которой относится поэтическая дѣятельность Батюшкова со всѣми писателями, бывшими современниками Батюшкова, и при этомъ характеризуется ихъ личность, направленіе и главные сочиненія. Очеркъ личности и поэзіи Батюшкова. Рѣчь академика Я. К. Грота на юбилей Батюшкова. Характеристика Батюшкова, какъ поэта. Рѣчь Л. Н. Майкова. Напечатаны въ Запискахъ Академіи Наукъ, томъ LVI. 1888.

ровитая, но, къ сожалѣнію, погибшая преждевременно. Очень рано и быстро Батюшковъ приобрѣлъ извѣстность, но рано также и неожиданно кончилась его литературная дѣятельность: онъ скоро впалъ въ неизлѣчиму ю душевную болѣзнь, перешедшую въ помѣшательство, и въ этой болѣзни скончался, проживши до 68 лѣтъ. Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился 18 мая 1787 г. въ Вологдѣ, откуда происходила мать его Александра Григорьевна Бердяева; отецъ же его Николай Львовичъ былъ родомъ изъ старинной фамиліи дворянъ Батюшковыхъ, которые еще въ XVI в. владѣли помѣстьями въ Новгородской области. Мать Батюшкова, чрезъ нѣкоторое время по рожденіи его, лишилась разсудка и умерла въ 1795 г. Можно поэтому думать, что болѣзнь поэта была наследственная; по крайней мѣрѣ самъ Батюшковъ, зная это обстоятельство, глубоко пораженъ былъ смертью матери и часто говорилъ о ней въ своихъ письмахъ къ роднымъ. Отецъ Батюшкова, какъ всѣ русскіе дворяне тогдашняго времени, воспитался на французской литературѣ и философіи XVIII вѣка и имѣлъ у себя большую библіотеку; французская библіотека отца послужила и основаніемъ образованія Батюшкова-сына. Послѣ домашняго воспитанія онъ былъ отданъ въ одинъ французскій пансіонъ (Жакино) въ Петербургъ, гдѣ всѣ преподаватели были иностранцы, кромѣ учителей Закона Божія и русскаго языка; слѣд. и образованіе совершалось также, какъ и домашнее воспитаніе, въ томъ же иностранномъ духѣ, на той же французской литературѣ. Когда Батюшкову было только еще 14 лѣтъ, онъ писалъ своему отцу, чтобы онъ выслалъ ему въ Петербургъ „Кандида“ Вольтера и сочиненія Мерсье. Послѣ Вольтера изъ французскихъ поэтовъ, кажется, всего болѣе имѣли вліянія на Батюшкова сочиненія Парни — самаго моднаго въ то время поэта, пѣвца веселости и пріятностей жизни, представителя и образца легкой поэзіи. Позднѣе онъ познакомился съ „Опытами“ Монтеня, также съ эпикурейскимъ міросозерцавіемъ. Еще въ пансіонѣ онъ началъ заниматься итальянскимъ языкомъ и увлекался Петраркой, Аріосто, и особенно Тассомъ, который сдѣлался его любимымъ поэтомъ. Дальнѣйшее образованіе и развитіе Батюшкова происходило въ домѣ его дяди, Михаила Никитича Муравьева, бывшаго попечителемъ Московскаго университета и товарищемъ министра народнаго просвѣщенія. Муравьеву онъ обязанъ воспитаніемъ своего нравственнаго характера, знакомствомъ съ древними классическими писателями и своимъ литературнымъ направленіемъ. Въ домѣ Муравьева онъ рано былъ введенъ въ кругъ лучшихъ поэтовъ и писателей того времени и приобрѣлъ дружбу такихъ людей, какъ Дмитріевъ, А. И. Тургеневъ, Карамзинъ, Жуковскій, Нелединскій-Мелецкій, Гнѣдичъ, Крыловъ и кн. Вяземскій. У Муравьева же, подѣ его начальствомъ, въ департаментѣ министерства народнаго

просвѣщенія началась первоначально и служба Батюшкова. Здѣсь товарищами его была: И. П. Пнинъ, Д. И. Языковъ, Н. И. Гнѣдичъ, И. И. Мартыновъ. Самымъ близкимъ его другомъ, участникомъ всѣхъ радостей и горестей его жизни, былъ Гнѣдичъ. Послѣ Батюшковъ перешелъ въ военную службу и оставался на ней 10 лѣтъ. Во время войны 1807 года, въ Гейльсбергскомъ сраженіи онъ былъ раненъ въ ногу; въ 1808 г. во время войны со Швеціей онъ былъ въ Финляндіи, былъ пораженъ ея своеобразной природой и тогда же задумалъ написать Очеркъ Финляндіи; въ это же время онъ познакомился съ И. А. Петинымъ, который отличался необыкновенною симпатичностію характера и имѣлъ такое же вліяніе на Батюшкова, какъ Петровъ на Карамзина. Въ 1812 г. Батюшковъ занялъ должность хранителя манускриптовъ Императорской публичной библіотеки. Когда началась отечественная война, Батюшковъ, по чувству патріотизма, хотѣлъ отправиться на войну, но болѣзнь удержала его дома. Во время войны всѣ прежніе поклонники французскаго образованія были проникнуты негодованіемъ противъ французовъ. „Я слишкомъ живо чувствую бѣдствія, нанесенныя любезному нашему отечеству, писалъ Батюшковъ къ Гнѣдичу въ октябрѣ 1812 г., чтобы на минуту быть спокойнымъ. Ужасные поступки Вандаловъ, или Французовъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ, поступки, безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ“..... „Какъ нѣбогда, говорить Л. Н. Майковъ, ужасы французской революціи поколебали гуманныя убѣжденія юноши Карамзина и заставили его воскликнуть: „Вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя, въ крови и пламени не узнаю тебя, среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя“, такъ теперь Батюшковъ отступался отъ своихъ прежнихъ сочувствій и идеаловъ. Та самая французская образованность, подъ вліяніемъ которой онъ воспитался, представлялась ему теперь ненавистною. „Варвары, Вандалы! И этотъ народъ изверговъ осмѣлился говорить о свободѣ, о философіи, о человѣколюбіи! И мы до того были ослѣплены, что подражали имъ, какъ обезьяны“<sup>1)</sup>. Когда Батюшковъ почувствовалъ облегченіе отъ болѣзни, то отправился на войну и въ должности адъютанта при Раевскомъ участвовалъ въ Кульмскомъ и Лейпцигскомъ сраженіяхъ въ 1813—1814 гг.; но, обойденный наградою за службу, въ 1816 г. онъ снова вышелъ въ отставку. Во время военныхъ походовъ онъ былъ въ Германіи, въ Парижѣ, Лондонѣ и Швеціи. Въ Германіи онъ познакомился съ нѣмецкой поэзіей. Воспитанный на французской литературѣ, онъ до сихъ поръ не зналъ ни

<sup>1)</sup> У Майкова I, 160—161. III, 210.

романтической поэзіи, ни поэзіи Гёте и Шиллера; восхищаясь стихами Жуковского, онъ осуждалъ выборъ ихъ содержанія, особенно смѣялся надъ его балладами. „У тебя, говорилъ онъ ему, воображеніе Мильтона, а ты пишешь баллады“; теперь онъ познакомился съ нѣмецкой поэзіей и особенно полюбилъ Шиллера. Но всего усерднѣе онъ занимался итальянской поэзіей. Онъ увлекался ею до страсти. Въ статьѣ „Аріосто и Тассъ“ объ итальянскомъ языкѣ онъ пишетъ: „Ученіе итальянскаго языка имѣетъ особенную прелесть. Языкъ гибкій, звучный, сладостный, языкъ, воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сициліи, среди бурь политическихъ, и потомъ при блестящемъ дворѣ Медицисовъ, языкъ, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными—этотъ языкъ сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и формы. Онъ имѣетъ характеръ, отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчій и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухіе или дикіе звуки, медленность въ выговорѣ и вѣчто, принадлежащее сѣверу. Великіе писатели образуютъ языкъ; они даютъ ему нѣкоторое направленіе, они оставляютъ на немъ неизгладимую печать своего гения; но обратно, языкъ имѣетъ вліяніе на писателей“ <sup>1)</sup>. Уваженіе къ итальянскому языку доводило Батюшкова до грубой, обидной несправедливости къ русскому языку <sup>2)</sup>. Памятникомъ его занятій итальянской литературой были его стихотворенія: „На смерть Лауры“ (изъ Петрарки), „Вечеръ“ (подражаніе Петраркѣ), „Радость“ (подражаніе Касті), „Счастливецъ“ (тоже подражаніе Касті), элегія „Умиравшій Тассъ“; подражаніе Аріосту: „Изступленіе Орланда“ (конецъ пѣсни XXIII-й и начало XXIV п.) <sup>3)</sup>; изъ Тасса: „Олиндъ и Софронія“ (отрывокъ изъ II-й пѣсни „Освобожденнаго Іерусалима“) <sup>4)</sup> и прозаическія: „Гризельда“ (повѣсть изъ Боккачіо) <sup>5)</sup>, „Петрарка“ <sup>6)</sup>, „Аріостъ и Тассъ“ <sup>7)</sup>.

Страданія отъ раны, плохое вознагражденіе за службу, смерть друга Петина, который былъ убитъ подъ Лейпцигомъ, и особенно несчастная любовь къ дѣвицѣ Фурманъ производили въ Батюшковѣ постоянное и сильное душевное волненіе, которое разрѣшилось сильнымъ нервнымъ разстройствомъ. Въстѣ съ тѣмъ въ немъ произошелъ какой то нравственный переворотъ. Живой и веселый, онъ сдѣлался печаленъ, мраченъ и необщителенъ; въ сужденіяхъ своихъ началъ высказывать воззрѣнія, совершенно противоположныя прежнимъ воззрѣніямъ. Крайній восмополить до того, что

<sup>1)</sup> Сочин. томъ II, 149.

<sup>2)</sup> См. на стр. 11—12 выдержки изъ писемъ Батюшкова къ Гнѣдичу.

<sup>3)</sup> Сочин. томъ II, 273. <sup>4)</sup> II, 262. <sup>5)</sup> II, 250. <sup>6)</sup> II, 159. <sup>7)</sup> II, 149.

сбивался надъ людьми, занимающимися русской исторіей, онъ сталъ патриотомъ и началъ разсуждать о національномъ развитіи. Атеистъ и матеріалистъ, онъ началъ говорить о вѣрѣ, объ откровеніи. Теперь онъ вполне понималъ идеализмъ Жуковскаго, который прежде ему не нравился; теперь самъ Жуковскій сдѣлался для него идеаломъ и типомъ литературнаго дѣателя. Этотъ нравственный переворотъ вполне выразился въ его піесѣ:

«Мой духъ, довѣренность къ Творцу!...».

Въ 1819 г. Батюшковъ поступилъ въ число членовъ посольства въ Венецію. Въ Италію, страну Петрарки, Боккачіо и Тасса, къ которымъ онъ питалъ особенное сочувствіе, уже давно стремились всѣ мысли поэта. Поэтому надѣялись, что онъ здѣсь успокоится и начнетъ работать. Карамзинъ писалъ ему въ Неаполь: „Надѣюсь, что теперь уже замолели ваши жалобы на здоровье.... Сохрани васъ Богъ еще хвалить лѣнь, хотя бы и прекрасными стихами“. Но Батюшковъ не успокоился; въ это время онъ былъ уже совершенно разстроенъ душевно и потому не могъ долго оставаться въ Неаполѣ. Недовольство и нервное раздраженіе все болѣе и болѣе усиливались и наконецъ перешли въ совершенное умопомѣшательство. 1820—21 годы были послѣдними годами его поэтической дѣятельности. Послѣднимъ стихотвореніемъ его было: „Изреченіе Мелхиседека“, въ которомъ отразилась его безотрадная философія. Послѣ нѣсколькихъ напрасныхъ попытокъ излечить его, родные перевезли его въ Вологду, гдѣ онъ и жилъ до 1855 г., ни разу не приходя въ полную память. Въ свое время много говорили о причинахъ умопомѣшательства Батюшкова; по свидѣтельству доктора, лечившаго его, главная причина болѣзни заключалась въ самой натурѣ Батюшкова, унаслѣдовавшаго еще отъ своихъ родителей предрасположеніе къ ней; а преобладаніе воображенія надъ разсудкомъ и другими силами души и нѣкоторыя случайности и обстоятельства жизни, раздражавшія поэта, способствовали быстрому развитію болѣзни.

Чрезвычайная даровитость Батюшкова заставляла ожидать отъ него гораздо болѣе, чѣмъ сколько онъ успѣлъ сдѣлать. Его поэтическая дѣятельность продолжалась недолго и онъ написалъ сравнительно очень немного; содержаніе его произведеній также не отличается особеннымъ богатствомъ и разнообразіемъ; у него не успѣло сложиться какое-нибудь твердое опредѣленное міросозерцаніе. Но у Батюшкова была изящная и чуткая ко всему изящному художественная натура. Любовь ко всему прекрасному въ явленіяхъ природы и произведеніяхъ искусства, симпатія къ любви и дружбѣ и всѣмъ возвышеннымъ и благороднымъ стремленіямъ—составляютъ



главныя темы его стихотвореній. „Надобно, говоритъ онъ въ своей записной книжѣ, чтобы въ душѣ моей никогда не погасала прекрасная страсть къ прекрасному, которое столь привлекательно въ искусствахъ и въ словесности, но не должно пресытиться имъ. Все-му есть мѣра. Творенія Расина, Тасса, Виргилія, Аріоста плѣнительны для новой души; счастливъ—кто умѣетъ плавать, кто можетъ лить слезы умиленія въ 30 лѣтъ. Гораций просилъ, чтобы Зевесъ прекратилъ его жизнь, когда онъ учинится безчувственъ ко звукамъ лиръ. Я очень его понимаю молитву“....<sup>1)</sup>). При такой художественной натурѣ все, что ни выходило изъ его головы, что попадало подъ его перо, отличается необыкновеннымъ изяществомъ формы и выраженія. Красота и совершенство формы, чистота и правильность языка, разнообразіе и гармонія стиха, вообще художественность стиля составляютъ главное достоинство его стихотвореній.

Большая часть стихотвореній Батюшкова принадлежать къ такъ называемой легкой поэзіи, къ антологическому роду и составляютъ переводы и подражанія древнимъ и новымъ поэтамъ. Антологическій родъ, къ которому причисляются разныя мелкія формы лирической или лучше дидактической поэзіи, шутки, остроты, эпиграммы, краткія піесы эротическаго, элегическаго и сатирическаго характера, ведетъ свое начало отъ классической древности и преимущественно отъ классической римской поэзіи. Возникнувъ еще въ Греціи при Анакреонѣ и Сафо, и въ эпоху александрійскую, онъ получилъ особенное развитіе въ Римѣ въ эпоху Августа, когда господствовалъ такъ называемый эпикуреизмъ, когда, при страшной испорченности нравовъ, главною задачею жизни поставляли *carpe diem*, а высшимъ ея идеаломъ—веселое препровожденіе времени въ сообществѣ съ разными Деліями, Хлоями и проч. Во время господства классицизма, вмѣстѣ съ другими поэтическими формами былъ перенесенъ въ европейскую поэзію и родъ антологическій. Онъ особенно пришелся по вкусу французамъ въ вѣкъ Людовика XIV, а потомъ въ эпоху энциклопедистовъ, когда направленіе въ нравахъ образованнаго общества было одинаково съ состояніемъ нравовъ въ эпоху Августа. Вмѣстѣ съ формами античной классической поэзіи были усвоены и античныя воззрѣнія, или тотъ изящный эпикуреизмъ, который составляетъ основу и содержаніе всѣхъ антологическихъ стихотвореній. Пріятная и остроумная бесѣда въ обществѣ образованныхъ друзей; веселое наслажденіе жизнію съ чашею въ рукахъ среди женщинъ, радости любви счастливой и печали и страданія любви несчастной—состав-

---

<sup>1)</sup> Чужое—мое сокровище. Записная книжка, II, 309—310.

ляли главные занятія молодыхъ и старыхъ людей и главные темы антологическихъ стихотвореній. Французы, при свойственномъ имъ остроуміи и веселости характера, усовершенствовали этотъ родъ; онъ получилъ у нихъ названіе легкой поэзіи, летучихъ стихотвореній, *les poésies fugitives*. Въ римской поэзіи образцами этого рода были стихотворенія Горация, Тибулла и Катуллы, во Франціи стихотворенія Вольтера, Парни и др. У Вольтера очень много сходнаго съ Горациемъ не только въ пріемахъ и формахъ, но и въ самомъ міросозерпаніи. Въ русской литературѣ антологическая поэзія явилась очень рано; уже у Державина и его современниковъ мы встрѣчаемъ подражанія Анакреону, Горацию, Овидію и другимъ. Для Батюшкова образцами служили тѣ же Гораций и Тибулла, а изъ французовъ Вольтеръ и Парни.

Эпикурейское міросозерпаніе Батюшкова выразилось особенно въ слѣдующихъ піесахъ: „Совѣтъ друзьямъ“, „Веселый часъ“ и „Мои пенаты“. Въ первой піесѣ онъ говоритъ:

Когда счастливо жить хотите  
Среди весеннихъ краткихъ дней,  
Друзья, оставьте призракъ славы,  
Любите въ юности забавы  
И сѣйте розы на пути!

.....  
Когда жизньъ наша скоротечна,  
Когда и радость здѣсь не вѣчна,  
То лучше въ жизни пѣть, плясать,  
Искать веселья и забавы  
И мудрость съ шутками мѣшать,  
Чѣмъ, бѣгая за дымомъ славы,  
Отъ скуки и заботъ звать<sup>1)</sup>.

Тотъ же совѣтъ повторяется и въ піесѣ „Веселый часъ“.

Други, садьте и внимайте  
Музы ласковой совѣтъ.  
Вы счастливо жить хотите  
На зарѣ весеннихъ лѣтъ?  
Отгоните призракъ славы,  
Для веселья и забавы  
Сѣйте розы на пути!  
Скажемъ юности: лети,  
Жизнью дай лишь насладиться,

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 36—38.

Полной чашей радость пить!  
Ахъ, не долго веселиться  
И не вѣки въ счастья жить!<sup>1)</sup>

Піеса „Мои пенаты“ написана въ формѣ посланія къ Жуковскому и Вяземскому. Здѣсь описывается идеаль поѣта въ уединенной сельской жизни:

Отечески пенаты,  
О пестуны мои!  
Вы влатомъ не богаты,  
Но любите свои  
Норы и темны кельи...

О лары, уживѣйтесь  
Въ обители моей,  
Поѣту улыбнитесь—  
И будетъ счастливъ въ ней!...

Безъ злата и честей  
Доступенъ добрый геній  
Поѣзиі святой,  
И часто въ мирной снѣи  
Бесѣдуетъ со мной  
Небесно вдохновенье,  
Порывъ крылатыхъ думъ!

Поѣту представляется, что тѣни славныхъ древнихъ и новыхъ поѣтовъ русскихъ воздушной толпой слетаются къ нему бесѣдовать.

Что вижу? Ты предъ ними,  
Парнаскій исполинъ<sup>2)</sup>,  
Пѣвецъ героевъ славы,  
Въ слѣдъ вихремъ и громамъ,  
Нашъ лебедь величавый,  
Плывешь по небесамъ!  
Въ толпѣ и музъ, и грацій,  
То съ лирой, то съ трубой  
Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій  
Сливаетъ голосъ свой<sup>3)</sup>;  
Онъ громокъ, быстръ и силенъ,  
Какъ Суна средь степей,  
И нѣженъ, тихъ, умиленъ,  
Какъ вѣшній соловей.  
Фантазіи небесной

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 95.

<sup>2)</sup> Ломоносовъ.

<sup>3)</sup> Державинъ.

Давно любимый сынъ,  
То повѣстью прелестной  
Плѣняетъ Карамзинъ,  
То мудраго Платона  
Описываетъ намъ  
И ужинъ Агатона,  
И наслажденъ храни;  
То древню Русь и нравы  
Владимира времена,  
И въ колыбели славы  
Рожденіе Славянъ.  
За ними силѣ прекрасной,  
Воспитанникъ харитъ,  
На цитрѣ сладкогласной  
О Душеньѣ бранчить<sup>1)</sup>,  
Мелецкаго съ собою  
Улыбкою зоветъ,  
И съ нимъ, рука съ рукою,  
Гимнъ радости поетъ!  
Съ Эротомъ играя,  
Философъ и пѣтъ,  
Вблизи Федра и Пиллпая  
Тамъ Дмитріевъ сидитъ:  
Бесѣдуя съ звѣрями,  
Какъ счастливый дитя,  
Парнаасскими цвѣтами  
Скрылъ истину шути.  
За нимъ въ часы свободы  
Поютъ среди пѣвцовъ  
Два баловня природы,  
Хемницеръ и Крыловъ.

.....  
Друзья мои сердечны,  
Придите въ часъ безпечный  
Мой домикъ навѣстить,  
Поспорить и попить!  
Сложи печали бремя,  
Жуковский добрый мой!  
Стрѣлою мчится время,  
Веселіе стрѣлой!  
Позволь же дружбѣ слезы  
И горести усладить  
И счастья блескомъ розы  
Эротомъ оживить.  
О Вяземскій, цвѣтами

---

<sup>1)</sup> Богдановичъ.

Друзей твоихъ вѣнчай!  
Даръ Ваха передъ нами:  
Вотъ кубокъ, наливай!  
Питодецъ музъ надежный,  
О Аристипповъ внукъ,  
Ты любишь пѣсни нѣжны  
И рюмокъ звонъ и стукъ!

И всѣ заботы славы,  
Суешь и шумъ, и блажь  
За быстрый мигъ забавы  
Съ поклонами отдашь! <sup>1)</sup>

Такія мысли и чувства эпикуреизма выражаются и въ другихъ стихотвореніяхъ Батюшкова, напр. въ двухъ посланіяхъ къ Гнѣдичу, въ посланіяхъ къ Жуковскому, Вяземскому, Дашкову. Но съ тѣхъ поръ, какъ начала усиливаться болѣзнь Батюшкова и въ немъ произошелъ указанный выше нравственный переворотъ, веселый элементъ въ его поэзіи уступаетъ мѣсто элегическому: слышится тоска, недовольство, разочарованіе въ жизни, горькое сознаніе разлада между идеалами и дѣйствительностью, наконецъ глубокое страданіе и даже отчаяніе. Иногда элегія Батюшкова выражаетъ общія чувства недовольства окружающею средою, а иногда присоединяется къ какому-нибудь случаю и обстоятельству, иногда относится къ лицамъ дѣйствительнымъ, историческимъ, литературнымъ типамъ, Тассу, Рене Шатобріана, иногда пишется подъ вліяніемъ Оссіана. Таково посланіе къ Дашкову, написанное послѣ пожара Москвы 1812 г.

Мой другъ, я видѣлъ море зла  
И неба мстительнаго кары,  
Враговъ неистовыхъ дѣла,  
Войну и гибельны пожары;  
Я видѣлъ сонмы богачей,  
Вѣгущихъ въ рубищахъ изданныхъ,  
Я видѣлъ блѣдныхъ матерей,  
Изъ милой родины изгнанныхъ;  
Я на распуты видѣлъ ихъ,  
Какъ, къ персямъ чадъ прижавъ грудныхъ,  
Они въ отчаяньи рыдали  
И съ новымъ трепетомъ взирали  
На небо рдѣное кругомъ.  
Трикратно съ ужасомъ потомъ

---

<sup>1)</sup> Сочин., I, 131—140.

Бродилъ въ Москвѣ опустошенной,  
Среди развалинъ и могилъ,  
Трижды прахъ ея священной,  
Слезами скорби омочилъ.

. . . . .  
Лишь угли, прахъ и камней горы,  
Лишь груды тѣлъ кругомъ рѣки,  
Лишь нищихъ блѣдныя поля  
Вездѣ мои встрѣчали взоры!....  
А ты, мой другъ, товарищъ мой,  
Велишь мнѣ пѣть любовь и радость,  
Безвѣчность, счастье и покой  
И шумную за чашей младость,  
Среди военныхъ непогодъ,  
При страшномъ заревѣ столицы  
На голосъ мирныя цѣвницы  
Сзывать пастушекъ въ хороводъ..

. . . . .  
Нѣтъ, нѣтъ, талантъ погибни мой  
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,  
Когда ты будешь мной забвенна,  
Москва, отчизны край златой! <sup>1)</sup>.

Элегія „Тѣнь друга“ написана въ 1814 г. въ воспоминаніе о другѣ и товарищѣ, убитомъ подъ Лейпцигомъ. Петинъ былъ для Батюшкова тѣмъ же, чѣмъ Петровъ для Карамзина.

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона.  
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ,  
За кораблемъ вылася гальціона,  
И тихій гласъ ея пловцевъ увеселялъ.  
Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,  
Однообразный шумъ и трепеть парусовъ  
И кормчаго на палубѣ взыванье  
Ко стражѣ дремлющей подъ говоромъ валовъ,  
Все сладкую задумчивость питало.  
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ  
И сквозь туманъ и ночи покрывало  
Свѣтила сѣвера любезнаго искалъ.  
Вся мысль моя была въ воспоминаньѣ  
Подъ небомъ сладостнымъ отеческой земли,  
Но вѣтровъ шумъ и моря колыханье  
На вѣжды томное забвенье навели.  
Мечты сибѣнялися мечтами

---

<sup>1)</sup> Сочин., I, 151—153.

И вдругъ.. То былъ ли сонъ?... Предсталъ товарищъ мнѣ,  
Погибшій въ роковомъ огнѣ  
Завидной смертію надъ Плейсскими струями.

.....  
«Ты ль это, милый другъ, товарищъ лучшихъ дней,  
Ты ль это?»—я вскричалъ—«о воинъ вѣчно милой!  
Не я ли надъ твоей безвременной могилой,  
При страшномъ заревѣ Беллонинихъ огней,  
Не я ли съ вѣрными друзьями  
Мечемъ на деревѣ твой подвигъ начерталъ  
И тѣнь въ небесную отчизну провождалъ  
Съ мольбой, рыданьемъ и слезами?....»<sup>1)</sup>

Въ посланіи къ Тассу изображается страдальческая судьба  
Тасса и величіе его, какъ поэта:

Позволь, священна тѣнь, безвѣстному пѣвцу  
Коснуться къ твоему безсмертному вѣнцу  
И сладость пѣнія твоей авзонской музы,  
Достойной береговъ прозрачной Аретузы,  
Рукою слабую на лирѣ повторить  
И новымъ языкомъ съ тобою говорить.

.....  
Торевато, кто испилъ всѣ горькія отравы  
Печалей и любви и въ храмъ безсмертной славы,  
Ведомый музами, въ дни юности проникъ,  
Тотъ преждевременно несчастливъ и великъ!  
Ты пѣлъ, и весь Парнассъ въ восторгѣ пробудился,  
Въ Феррару съ музами Фебъ юный ниспустился,  
Назонову тебѣ онъ лиру самъ вручилъ  
И геній крыльями безсмертья остирилъ<sup>2)</sup>.

Это посланіе Батюшковъ хотѣлъ напечатать въ заглавіи къ переводу „Освобожденнаго Іерусалима“ Тасса, который онъ началъ по совѣту Капниста; но успѣлъ перевести только отрывокъ изъ первой пѣсни, изображающій рѣчь Петра Пустынника въ совѣтъ и избраніе вождемъ, по его предложенію, герцога Готфрида Бульонскаго, и отрывокъ изъ десятой пѣсни, гдѣ изображается очарованный лѣсъ и приключенія въ немъ рыцаря Ринальда<sup>3)</sup>. Тасса Батюшковъ считалъ образцовымъ поэтомъ, ставилъ для себя идеаломъ. Извѣстна его элегія: „Умирающій Тассъ“, гдѣ онъ пре-

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 186—188.

<sup>2)</sup> Сочин. I, 50—54.

<sup>3)</sup> Сочин., I, 55—64.

восходно изобразилъ состояніе духа и судьбу Тасса, умирающаго наканунѣ увѣчанія его вѣнцомъ въ Капитоліи:

Какое торжество готовитъ древній Римъ?  
Куда текутъ народа шумны волны?  
.....  
До Капитолія отъ Тибровыхъ валовъ,  
Надъ стогнами всемірныя столицы,  
Езъ чему раскинуты средь лавровъ и цвѣтовъ  
Безцѣнные ковры и багряницы?  
.....  
Почто съ хоругвией течетъ въ молитвы домъ  
Подъ митрою апостоловъ намѣстникъ?  
Кому въ рукѣ его сей зыблется вѣнецъ,  
Безцѣнный даръ признательнаго Рима?  
Кому триумфъ?... Тебѣ, божественный пѣвецъ,  
Тебѣ сей даръ, пѣвецъ Ерусалима!  
И шумъ веселія достигъ до кельи той,  
Гдѣ борется съ кончиною Торквато.  
Гдѣ надъ божественной страдальца головой  
Духъ смерти носится крылатой..... <sup>1)</sup>

Піэсы: „Переходъ русскихъ войскъ черезъ Нѣманъ 1-го января 1813 года“, „Переходъ черезъ Рейнъ“ въ 1814 г., „Разлука“ и „Плѣнный“ относятся къ заграничнымъ походамъ; въ послѣднихъ двухъ слышится вліяніе романтизма; онѣ и написаны въ формѣ романа. Романъ „Разлука, начинающійся словами:

Гусаръ, на саблю опираясь,  
Въ глубокой горести стоялъ... <sup>2)</sup>

написанъ въ 1814 г. Онъ былъ положенъ на ноты и въ свое время постоянно распѣвался. Романъ „Плѣнный“, начинающійся словами:

Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ  
По бархатнымъ лугамъ,  
Гдѣ миртъ душистый разцвѣтаетъ,  
Склонясь къ ея водамъ,  
Гдѣ на горахъ роскошно зрѣетъ  
Янтарный виноградъ,

---

<sup>1)</sup> Сочин., I, 253—258.

<sup>2)</sup> Сочин., I, 181—182.



Златой лимонъ на солнцѣ рдѣеть  
И яворы шумать... <sup>1)</sup>

относится также къ 1814 г. Изображая тоску по родинѣ русскаго-плѣнника въ Ліонѣ, онъ отличается необыкновенною художественностію формы и стиха, нѣжностію и граціею чувства, и потому долго былъ самымъ любимымъ романсомъ. Только у Пушкина встрѣчаются такіе граціозные стихи.

Элегія „На развалинахъ замка въ Швеціи“ относится также къ 1814 г., когда Батюшковъ былъ въ Швеціи. Она написана по подражанію поэту Маттисону и содержитъ въ себѣ воспоминанія о древней скандинавской жизни и скандинавскихъ герояхъ. Она, очевидно, написана подъ вліяніемъ пѣсенъ Оссіана. Въ ней есть очень хорошія сѣверныя картины, характеризующія сѣверную природу.

.....  
Я здѣсь, на сихъ скалахъ, висящихъ надъ водой,  
Въ священномъ сумракѣ дубравы  
Задумчиво брожу и вижу предъ собой  
Слѣды протекшихъ лѣтъ и славъ....  
.....  
Все тихо. Мертвый сонъ въ обители глухой.  
Но здѣсь живетъ воспоминанье,  
И путникъ, опершись на камень гробовой,  
Веушаетъ сладкое мечтанье <sup>2)</sup>.

По возвращеніи изъ за границы въ 1815 г., Батюшковъ написалъ піесу: „Странствователь и Домосѣдъ“, изображающую тогдашнія его воззрѣнія и тогдашнее его настроеніе. Въ піесѣ представлена параллель между спокойною жизнію дома, въ своей семьѣ, и странствованіемъ по чужимъ землямъ. Два брата, Филалетъ и Клитъ, скромно жившіе въ предмѣстіи Афинъ, получили вдругъ богатое наслѣдство, по смерти дяди.

«Какъ думаешь своей казной расположить?»  
Клитъ спрашивалъ у брата.  
«А я такъ домъ хочу купить  
И въ немъ тихохонько съ женою вѣкъ прожить  
Подъ сѣнью отчаго пената».

Но Филалетъ не доволенъ скромнымъ домашнимъ идеаломъ. На вопросъ брата: чего же хочешь ты? онъ отвѣчаетъ:

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 183—185.

<sup>2)</sup> Сочин. I, 189—193.

«Я?... славенъ быть хочу».  
«Но чѣмъ?» «Какъ чѣмъ? Умомъ, дѣлами  
И краснорѣчьемъ и стихами,  
И мало-ль чѣмъ еще? Я въ Мемфисѣ полечу  
Дѣлиться мудростью съ жрецами:  
Зачѣмъ сей созданъ міръ? Кто править имъ и какъ?  
Гдѣ кончится земля? . . . . .  
. . . . .  
Я буду въ мудрости соперникъ Пиеагора,  
Въ Афинахъ обо мнѣ тогда заговорятъ»...

И онъ отправился путешествовать по разнымъ странамъ; но того, о чемъ мечталъ, что онъ читалъ въ книгахъ, въ дѣйствительности совсѣмъ не находилъ. Плывъ на кораблѣ по морю, онъ разсуждалъ:

«Да гдѣжъ тритоны всѣ? гдѣ стан неренды?  
Гдѣ скрылися онѣ съ толпой океаниды?  
Я ни одной не вижу въ морѣ?»  
И не увидѣлъ ихъ....

Но вотъ онъ достигъ Египта.

Уже онъ въ Мемфисѣ, въ обители чудесъ,  
Уже въ святилище премудрости вступаетъ,  
Какъ мумія, сидитъ среди бородъ сѣдыхъ  
И десять дней зѣваетъ  
За поученьемъ ихъ  
О жертвахъ каменной Нвидѣ,  
Объ аписѣ-бгѣхъ иль грозномъ Озиридѣ....  
. . . . .  
«Какія глупости, какое заблужденіе!»

И онъ на первомъ кораблѣ отправился въ Кротону и явился здѣсь къ одному мудрѣйшему изъ мудрецовъ.

«Ты мудрости ко мнѣ, мой сынъ, пришелъ учиться?»  
У Грека старецъ спросилъ  
Съ усмѣшкой хитрою. «Итакъ прошу садиться  
И слушать пѣнье сферъ... Ты слышишь?» «Ничего!»  
«А видишь ли въ девятомъ мірѣ  
Духовъ, летающихъ въ эфирѣ?»  
«И жене того!»  
«Увидишь, попостись ты года три, четыре  
Да лѣтъ съ десятокъ помолчи»...

Побывавъ затѣмъ на Этнѣ, Филалетъ возвратился въ Грецію.  
Онъ обходилъ

Поля, селенія и грады;  
Но счастья не находилъ  
Подъ небомъ счастливымъ Эладн...

Дѣло дошло наконецъ до того, что онъ, всѣмъ недовольный и истративъ всѣ деньги, хотѣлъ броситься въ воду, но его спасъ одинъ старецъ, послѣдователь скептической философіи, и научилъ его этой философіи:

«Все призракъ....  
Богатство, честь и власти,  
Болѣзнь и нищета, несчастія и страсти,  
И я, и ты, и цѣлый свѣтъ,  
Все призракъ!»

Съ этой философіей онъ явился въ Аѣины и сталъ проповѣдывать ее на аѣинской площади. Въ Аѣинахъ въ это время велись горячія рѣчи о войнѣ. Филалетъ высокопарнымъ тономъ возвѣстилъ, что

Аттикъ война  
Погибелъна, вредна,  
Потомъ велерѣчиво, ясно  
По пальцамъ доказалъ, что въ мирѣ быть опасно.  
«Что-жъ дѣлать?»....  
«Сомнѣваться!  
Сомнѣнье мудрости есть самый зрѣлый плодъ.  
Я вамъ совѣтую, граждане, колебаться—  
И не мириться, и не драться».

Народъ аѣинскій до того былъ разсерженъ этою рѣчью, что готовъ былъ броситься на оратора, и его защитилъ только случайно очутившійся на площади братъ его, Клитъ. Клитъ увелъ его къ себѣ, напоилъ, накормилъ и отогрѣлъ. Филалетъ успокоился, но не надолго.

Дней чрезъ пятокъ, не болѣ,  
Наскуча видѣть все одно и то же поле,  
Все тѣ же лица всякій день,  
Нашъ Грекъ—повѣрите ль?—какъ въ клѣтѣ стосковался.

Не смотря на всѣ убѣжденія Клита, онъ снова отправился странствовать, провѣдавъ отъ старыхъ грамотѣевъ,

Что въ мірѣ есть страна,  
Гдѣ вѣчно царствуетъ весна,  
За розами побрелъ.... въ снѣга Гипербореевъ <sup>1)</sup>.

Элегія Батюшкова, повидимому, написана въ подражаніе піесѣ Жуковскаго „Теонъ и Эсхинъ“. По крайней мѣрѣ, пріемъ и форма одинаковы; но по содержанію и характеру піесы различны, какъ вся поэзія Батюшкова отлична отъ поэзіи Жуковскаго. Въ ней нѣтъ идеальнаго, мечтательнаго, примиряющаго, успокоивающаго элемента, составляющаго существенный элементъ поэзіи Жуковскаго. „Въ то время, говоритъ Гоголь, какъ Жуковскій отрѣшаль нашу поэзію отъ земли и существенности и уносилъ еѣ въ область безтѣлесныхъ видѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять еѣ къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязаемую нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его выраженіемъ „стиховъ и мыслей сладострастье“ <sup>2)</sup>. Жуковскій полагалъ счастье не въ земномъ, тѣлесномъ, настоящемъ, а въ духовномъ, идеальномъ, въ надеждѣ на будущее; когда терялись земныя блага, оставалась надежда на будущее, которая и примиряла съ жизнію. Батюшковъ, напротивъ, все счастье поставлялъ въ наслажденіи земными благами, въ удовольствіяхъ и веселостяхъ; когда они сами исчезали, или притуплялось наслажденіе ими, являлось пресыщеніе, скука, разочарованіе. И вотъ веселый, вызывающій къ наслажденію, элементъ въ поэзіи Батюшкова скоро исчезаетъ и, вмѣсто него, являются болѣзненные чувства скуки, жалобы, страданія, и вся поэзія, въ началѣ свѣтлая и радостная, оканчивается безотраднымъ, отчаяннымъ, рѣжущимъ диссонансомъ:

Ты помнишь, что изрекъ,  
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?  
Рабомъ родится человекъ,  
Рабомъ въ могилу ляжетъ,  
И смерть ему едва ли скажетъ,  
Зачѣмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ,  
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ? <sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Сочин., I, 207—219.

<sup>2)</sup> Сочин. Гоголя, изд. Кулиша, III, 443.

<sup>3)</sup> Сочин. Батюшкова, I, 293.

Жуковский, глубоко уважая дарованіа Батюшкова, растратываемыя въ разныхъ веселостяхъ, совѣтовалъ ему измѣнить жизнь:

Любовь—святой хранитель,  
Иль грозной истребитель  
Душевной чистоты.  
Отвергни сладострастья  
Погибельны мечты,  
И не восторговъ,—счастья  
Въ прямой нищи любви;  
Восторговъ изступленье—  
Минутное забвенье;  
Отринь ихъ, разорви  
Лаксъ коварныхъ узъ;  
Друзья стыдливыи—музы;  
Во храмъ священный ихъ  
Прелестницъ записныхъ  
Толпа войти страшится <sup>1)</sup>.

Рѣзко выдѣляются изъ ряда другихъ стихотвореній Батюшкова два стихотворенія, отличающіяся сатирическимъ характеромъ: „Видѣніе на берегахъ Леты“ и „Пѣвецъ въ Бесѣдѣ славянороссовъ“. Первое стихотвореніе составляетъ сатиру на современныхъ поэтовъ и писателей, написанную въ формѣ сновидѣнія. Поэтъ рассказываетъ свой сонъ:

Вчера, Бобровымъ утомленный,  
Заснулъ и видѣлъ чудный сонъ:  
Какъ будто свѣтлый Аполлонъ,  
За что не знаю прогнѣвленный,  
Поэтамъ нашимъ смерть изрекъ.  
Изрекъ—и всѣ упали мертвы  
Невинны Аполлона жертвы.

Всѣ они пришли на берега Леты.

Межъ тѣмъ въ Элизіи священномъ,  
Лавровымъ лѣсомъ оскѣненнымъ,  
Подъ шумомъ Касталійскихъ водъ,  
Пѣвцовъ нечаянный приходъ  
Узналъ почтенный Ломоносовъ,  
Херасковъ, честь и слава Россовъ,  
Честолюбивый Фебовъ сынъ,  
Насмѣшникъ, грозный бичъ пороковъ,  
Замысловатый Сумароковъ

---

<sup>1)</sup> Посланіе къ Батюшкову, Сочин. I, 240.



Сей кубокъ чадамъ древнихъ лѣтъ!  
Вамъ слава, наши дѣды!  
Друзья, уже покойныхъ нѣтъ  
Пѣвцовъ среди Бесѣды!  
Ихъ вирши сгнили въ кладовыхъ  
Иль съѣдены мышами,  
Иль продаютъ на рынкѣ въ нихъ  
Салакушку съ сельдями.  
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ:  
Мы всѣ для славы дышемъ,  
Равно здѣсь въ прозѣ и въ стихахъ,  
Какъ Тредьяковскій, пишемъ<sup>1)</sup>....

Оба эти стихотворенія очень хорошо объясняютъ, до какой степени Батюшковъ могъ увлекаться въ крайности, и показываютъ, что въ угоду своему самолюбію и тщеславію онъ не щадилъ никого и ничего. Само собою разумѣется, что „Пѣвецъ“ казался слишкомъ рѣзокъ и жестокъ даже писателямъ, не принадлежавшимъ къ членамъ Бесѣды. Даже Пушкинъ, не любившій и самъ перемониться съ противниками, не одобрялъ Батюшкова за осмѣяніе Тредьяковскаго. Впрочемъ, нѣкоторые стихи въ сатирѣ, какъ думаютъ, принадлежатъ А. Е. Измайлову<sup>2)</sup>.

„Похвальное слово сну“ написано по подражанію разнымъ шуточнымъ похвальнымъ словамъ, которыя начало свое получили еще въ древнихъ литературахъ, а потомъ перешли въ европейскія литературы. Ближайшимъ образомъ оно составляетъ нѣкоторое подражаніе „Похвальной рѣчи наукѣ убивать время“ Крылова.

Наконецъ, послѣднимъ отдѣломъ стихотвореній Батюшкова надобно поставить переводы изъ классическихъ литературъ: переводъ 3-й Тибулловой элегіи изъ III-й книги; Тибуллова 10-я элегія изъ I-й книги (вольный переводъ) и подражанія древнимъ поэтамъ: Изъ греческой антологіи. Переводы эти сдѣланы не буквально и не съ подлинниковъ, а съ французскихъ вольныхъ переложеній, но они все же хорошо изображаютъ древнюю жизнь и воззрѣнія античнаго міра.

Изъ прозаическихъ статей, написанныхъ Батюшковымъ большею частію въ позднѣйшій періодъ его дѣятельности, замѣчательны: „Вечеръ у Кантеміра“, „О вліяніи легкой поэзіи на языкъ“, „Письмо къ И. М. Муравьеву - Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева“. Въ статьѣ „Вечеръ у Кантеміра“ идетъ разговоръ объ отношеніи Россіи къ европейскому образованію. Представляется, что Кантеміръ разсуждаетъ съ Монтескье и аббатомъ Вуазенономъ.

---

<sup>1)</sup> Сочин., I. 167—175.

<sup>2)</sup> См. у Майкова: Сочиненія Батюшкова, I, 375—376.

Оба эти француза высказывают сомнѣніе въ томъ, чтобы европейское просвѣщеніе, внесенное въ Россію Петромъ Великимъ, могло прочно утвердиться въ такой странѣ, гдѣ и самый климатъ не благопріятствуетъ умственной культурѣ; они еще готовы признать, что русскіе люди могутъ усвоить себѣ кое-какія техническія знанія, но рѣшительно не допускаютъ предположенія, чтобы въ русскихъ можно было вдохнуть вкусъ къ изящному, къ наукамъ отвлеченнымъ, умозрительнымъ (здѣсь высказывается мнѣніе—современниковъ Батюшкова—русскихъ). Кантеміръ (отъ лица котораго выражается взглядъ самого Батюшкова) отвѣчаетъ на это: „Вы знаете, что Петръ сдѣлалъ для Россіи: онъ создалъ людей... онъ развилъ въ нихъ способности душевныя, онъ вылѣчилъ ихъ отъ болѣзни невѣжества, и русскіе, подъ руководствомъ великаго человека, доказали въ короткое время, что таланты свойственны человѣчеству. Не прошло пятнадцати лѣтъ, а великій монархъ наслаждался уже плодами знаній своихъ сподвижниковъ: всѣ вспомогательныя науки военнаго дѣла процвѣли внезапно въ государствѣ его. Мы громами побѣдъ возвѣстили Европѣ, что имѣемъ артиллерію, флотъ, инженеровъ, ученыхъ, даже опытныхъ мореходцевъ. Чего же хотите отъ насъ въ столь короткое время? Успѣховъ ума, успѣховъ въ наукахъ отвлеченныхъ, въ изящныхъ искусствахъ, въ краснорѣчіи, поэзіи? Дайте намъ время, продлите благопріятныя обстоятельства, и вы не откажете намъ въ лучшихъ способностяхъ ума... Петръ Великій, заключивъ судьбу полуміра въ руки своей, утѣшалъ себя великою мыслию, что на берегахъ Невы древо наукъ будетъ процвѣтать подъ сѣнію его державы и рано или поздно, но дастъ новыя плоды и человѣчество обогатится ими <sup>1)</sup>“.

Рѣчь Батюшкова „о вліяніи легкой поэзіи на языкъ“ написана была по случаю избранія его въ члены Общества любителей отечественной словесности въ Москвѣ. Большая часть его собственныхъ стихотвореній относилась къ этому роду поэзіи, и потому онъ старается показать ея важность и значеніе. Онъ показываетъ начало ея въ древнія времена въ античной поэзіи греческой и римской, потомъ у европейскихъ народовъ, откуда она перешла и къ намъ. Говоря о русской поэзіи и русскихъ поэтахъ, Батюшковъ особенное сочувствіе высказываетъ къ Ломоносову, котораго дѣятельность онъ сравниваетъ съ реформаторскою дѣятельностію Петра Великаго. „Онъ тоже, говоритъ Батюшковъ, учинилъ на трудномъ поприщѣ словесности, что Петръ В. на поприщѣ гражданскомъ. Петръ В. пробудилъ народъ, усыпленный въ оковахъ невѣжества; онъ создалъ для него законы, силу военную и славу. Ломоносовъ пробудилъ языкъ усыпленного народа; онъ создалъ ему краснорѣ-

---

<sup>1)</sup> Сочин., II, 228—229.



чіе и стихотворство, онъ испыталъ его силу во всѣхъ родахъ и приготовилъ для грядущихъ талантовъ вѣрныя орудія къ успѣхамъ. Онъ возвелъ въ свое время русскій языкъ до возможной степени совершенства“ <sup>1)</sup>... Потомъ Батюшковъ дѣлаетъ краткій обзоръ развитія русской литературы отъ Ломоносова до своего времени. Его сильно занимала мысль объ исторіи русской литературы. Въ письмѣ къ Вяземскому отъ 23 іюня 1817 г. онъ говоритъ: „Хочется написать въ письмахъ маленькій курсъ для людей свѣтскихъ и познакомить ихъ съ собственнымъ богатствомъ. Въ деревнѣ не могу приняться за этотъ трудъ, требующій книгъ, совѣтовъ и здоровья, и одобрительной улыбки дружба“ <sup>2)</sup>. Въ записной книжкѣ Батюшкова: „Чужое—мое сокровище“ мы находимъ и самый планъ для предполагавшагося курса исторіи русской литературы <sup>3)</sup>. Эта записная книжка, въ которой записывались мнѣнія, предположенія и разныя замѣтки, а равно и письма Батюшкова къ разнымъ лицамъ, показываетъ, что онъ интересовался литературой — своей и иностранной.

Литературная дѣятельность Батюшкова прекратилась въ то время, какъ началась поэтическая дѣятельность Пушкина. Батюшковъ былъ прелественникомъ Пушкина. Выѣстъ съ Жуковскимъ они приготовили тотъ путь, по которому начала развиваться русская поэзія, особенно со времени Пушкина. „Чистота, свобода и гармонія, говоритъ Плетневъ, составляютъ главнѣйшія совершенства новаго стихотворнаго языка нашего.... Употребленіе собственно русскихъ словъ и оборотовъ не даетъ еще полного понятія о чистотѣ нашего языка. Ему вредятъ, его обезображиваютъ неправильныя усѣченія словъ, невѣрныя въ нихъ ударенія и неумѣстная смѣсь славянскихъ словъ съ чистымъ русскимъ нарѣчіемъ. До временъ Жуковского и Батюшкова, всѣ наши стихотворцы, болѣе или менѣе, подвержены были сему пороку: языкъ упрямился; мѣра и ризма часто смѣялись надъ стихотворцемъ — и побѣждали его. Подъ именемъ свободы языка разумѣется здѣсь правильный ходъ всѣхъ словъ періода, смотря по смыслу рѣчи. Русскій языкъ менѣе всѣхъ новѣйшихъ языковъ стѣсняется разстановкою словъ; однакожъ, по свойству понятій, выражаемыхъ словами, и въ немъ надобно держаться естественнаго словотеченія... Жуковский и Батюшковъ показали прекрасные образцы, какъ надобно побѣждать сіи трудности и очищать дорогу теченію мыслей. Это имѣло удивительныя послѣдствія. Въ нынѣшнее время произведенія второ-

---

<sup>1)</sup> Сочин., II, 238.

<sup>2)</sup> Сочин., III, 453.

<sup>3)</sup> Сочин., II, 336—339.

классных и, если угодно, третьеклассных поэтов носят на себѣ отпечатокъ легкости и пріятности выраженій. — Наконецъ, нѣсколько словъ о гармоніи. Прежде всего надобно отличать гармонію отъ мелодіи. Последняя легче достигается первой: она основывается на созвучіи словъ.... Она имѣетъ высшую степень, когда сліяніемъ звука опредѣлительно выражаетъ какое-нибудь явленіе въ природѣ и, подобно музыкѣ, подражаетъ ей. Гармонія требуетъ полноты звуковъ, смотря по объятности мысли, точно такъ, какъ статуя—опредѣленныхъ округлостей, соотвѣтственно величинѣ своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его пріятны ни были, всегда кажется нехорошимъ при большомъ туловищѣ. Каждое чувство, каждая мысль поэта имѣютъ свою объятность. Вкусъ не можетъ математически опредѣлить её, но чувствуетъ, когда находитъ её въ стихахъ или уменьшенною, или преувеличенною—и говоритъ: здѣсь не полно, а здѣсь растянута. Сіи стихотворческія тонкости могутъ быть наблюдаемы только поэтами. Въ числѣ первыхъ надобно поставить Жуковского и Батюшкова <sup>1)</sup>.“ Также смотрѣлъ на значеніе для Пушкина Батюшкова впоследствии и Бѣлинскій, замѣчая, что стихъ именно Батюшкова, а не Жуковского, былъ ближайшимъ предшественникомъ и подготовителемъ Пушкинскаго стиха <sup>2)</sup>.

## II. А. ВЯЗЕМСКІЙ.

Биографическія свѣдѣнія о князѣ Вяземскомъ. Изданіе сочиненій князя Вяземскаго <sup>3)</sup> открывается его автобіографической запиской, въ которой между прочимъ сказано: „Родитель мой хотѣлъ сдѣлать изъ меня математика, судьба сдѣлала меня стихотворцемъ, не говорю: поэтомъ, ради страха іудейскаго и изъ уваженія къ

---

<sup>1)</sup> Сочиненія и переписка П. А. Плетнева, Спб. 1885, т. I, 24—25. У Майкова, Сочин. Батюшкова, I, 237—238.

<sup>2)</sup> Сочинен., VI, 49; VIII, 256.

<sup>3)</sup> Въ 1878 г. было начато еще при жизни самого поэта прекрасное полное собраніе сочиненій князя Вяземскаго графомъ Шереметевымъ, при участіи академиковъ Я. К. Грота, А. О. Бычкова и М. И. Сухомлинова; вышло 11 томовъ. Исследования о значеніи въ литературѣ сочиненій князя Вяземскаго: Некрологъ князя Вяземскаго—Я. К. Грота. Князь Вяземскій—М. И. Сухомлинова; Памяти князя Вяземскаго—С. И. Пономарева. Сборникъ 2-го отдѣленія Академіи наукъ, томъ XX. Петръ Андреевичъ Вяземскій В. Д. Спасовича. Русская Мысль. Январь 1890 г.

критикамъ моимъ, которые заключили, что я не совсѣмъ поэтъ, или совсѣмъ не поэтъ... Дмитріевъ, бывало, говорилъ, шутя, что Аполлонъ внушилъ мнѣ страсть къ стихамъ на зло моему отцу и въ отмщеніе однофамильцу нашему, екатерининскому князю Вяземскому, за то, что онъ преслѣдовалъ Державина<sup>1)</sup>. Родство и тѣсное сближеніе съ Карамзинымъ, которому отецъ его, умирая, ввѣрилъ попеченіе о немъ, развили и укрѣпили природныя наклонности.

Дѣтство свое Петръ Андреевичъ Вяземскій (род. въ 1792 г., ум. 1878 г.) провелъ въ Остафьевѣ, родовомъ имѣніи Вяземскихъ, гдѣ жила по лѣтамъ Карамзинъ и писалъ здѣсь первые томы своей Исторіи. Здѣсь же потомъ Вяземскій познакомился съ Жуковскимъ, Батюшковымъ и Пушкинымъ, которые навсегда сдѣлались его друзьями, и—съ другими молодыми образованными людьми, вошедшими потомъ въ Арзамасское общество. Послѣ домашняго воспитанія онъ былъ отданъ въ одинъ іезуитскій пансіонъ въ Петербургъ, а потомъ поступилъ къ профессору Рейсу въ Москвѣ, слушалъ на дому лекціи другихъ профессоровъ Университета; русскій языкъ онъ изучилъ у Богданова, учителя университетскаго благороднаго пансіона. Въ 12 году онъ поступилъ въ московское ополченіе и состоялъ при Милорадовичѣ въ битвѣ при Бородинѣ, гдѣ подъ нимъ были убиты двѣ лошади. Съ 1817 до 1821 г. онъ былъ въ Варшавѣ, въ штатѣ Новосильцева, исполняя самыя важныя дипломатическія порученія,—въ то время императоръ Александръ устраивалъ Польское королевство. При импер. Николаѣ Павловичѣ онъ служилъ при министерствѣ финансовъ вице-директоромъ департамента ввѣшенной торговли, директоромъ государственнаго заемнаго банка. Съ 1855 до 1858 г. Вяземскій былъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія. Въ 1861 г. Академія наукъ праздновала 50 лѣтній юбилей его литературной дѣятельности. Послѣ юбилея онъ отправился за границу и жилъ тамъ въ разныхъ мѣстахъ, пріѣзжалъ по временамъ въ Россію и умеръ въ Баденъ-Баденѣ въ 1878 г.

**Характеръ литературной дѣятельности князя Вяземскаго.** Живя долго въ Россіи и за-границей, занимая высокое положеніе въ обществѣ, на разныхъ мѣстахъ государственной службы, исполняя важныя порученія и принимая участіе въ важныхъ дѣлахъ, Вяземскій въ своей жизни видѣлъ и слышалъ много замѣчательнаго, пережилъ много событій и направленій ученыхъ, литературныхъ и политическихъ. Все это отразилось въ большей или меньшей степени въ его сочиненіяхъ, которые поэтому весьма интересны. Вотъ какъ онъ самъ отзывался о своей литературной дѣятель-

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, стр. VIII.

ности. „Въ стихахъ и въ прозѣ у меня много неровностей—и нельзя имъ не быть. Я никогда не писалъ прилежно, постоянно; никогда не изучалъ я систематически языка нашего. Какъ пѣвцы-самоучки, писалъ я болѣе по слуху. Писалъ я болѣе урывками, подъ вдохновеніемъ или подъ осязаніемъ мысли и чувства. Писалъ я, когда что-нибудь внутреннее или внѣшнее за-живо задирало меня, когда мнѣ именно хотѣлось сказать или высказать что-нибудь, такъ или сякъ, опять все равно. Натура моя довольно живучая и произрастительная, но не трудолюбивая; напротивъ, трудъ пугаетъ ее, она сжимается подъ давленіемъ его... У меня литература всегда была животрепещущею склонностью, болѣе зазывомъ, нежели призваніемъ. Если и было это призваніе, то охотно сознаюсь, что я не выдержалъ, не вполне оправдалъ его“ <sup>1)</sup>. „Въ стихахъ моихъ я нерѣдко умствую и умничаю. Между тѣмъ полагаю, что если есть и должна быть поэзія звуковъ и красокъ, то можетъ быть и поэзія мысли.. Что говорю о стихахъ своихъ, могу вообще сказать и о прозѣ своей. И тутъ и тамъ замѣтенъ недостатокъ отдѣлки, оконченности. Не продаю товара лицомъ. Не обдѣлываю товара, а выдаю его сырымъ, какъ Богъ послалъ“ <sup>2)</sup>... „Возмутительныхъ сочиненій, говоритъ онъ въ своей „Исповѣди“, у меня на совѣсти нѣтъ... Въ разные времена писалъ я эпиграммы, сатирическіе куплеты и на лица, удостоенныя довѣренности правительства, но и въ нихъ не было ничего матежнаго, а просто—свѣтскія насмѣшки.—Когда-то сказалъ я себѣ: я думаю мое дѣло не дѣйствіе, а ощущение. Меня должно держать какъ комнатный термометръ: онъ не можетъ ни нагрѣть, ни освѣжить покоя, но никто скорѣе и вѣрнѣе его не почувствуетъ настоящей температуры... Могу отвѣчать за подвижность моей ртути: она не знала бы застоя. Вся бѣда моя въ томъ, что у меня ее слишкомъ много и что мой термометръ не привилегированный“ <sup>3)</sup>.

**Стихотворенія Вяземскаго.** Вяземскій былъ воспитанъ еще въ классическомъ направленіи литературы. Стихотворенія его начинаются съ 1808 г. „Посланіемъ въ деревню“, въ которомъ, по подражанію Горацию, онъ рисуетъ идеалъ счастливой жизни въ скромной обстановкѣ, въ хижинѣ смиренной. Затѣмъ слѣдуютъ эпиграммы, надписи, посланія къ Нисѣ, Эльвирѣ, Лаурѣ, къ разнымъ лицамъ, въ которыхъ проводится тотъ же гораціанскій, или эпикурейскій взглядъ на жизнь, коимъ щеголяли тогда всѣ молодые поэты. Въ этомъ стилѣ написано напр., по подражанію Анакреону, „Признаніе“:

<sup>1)</sup> Предисловіе XXXIII—XXXIV.

<sup>2)</sup> XLII—XLIII.

<sup>3)</sup> Сочин. II, 101—107.

Я пѣть хотѣлъ въ восторгѣ дивномъ  
Петра Великаго дѣла,  
Но лира тономъ заунывнымъ  
Одну Мальвину пѣть могла.  
Въ досадѣ переладивъ струны,  
Я пѣть Суворова хотѣлъ,  
И браней и побѣдъ перуны!  
Безсмертье, думалъ, мой удѣлъ!  
Но, нѣтъ! моя упряма муза,  
Изъ розъ украсившись вѣнкомъ,  
Бѣжитъ съ героями союза,  
Одну любовь поетъ тишкомъ <sup>1)</sup>.

Потомъ опять слѣдуютъ посланія къ друзьямъ, надписи къ портретамъ, подписи въ альбомы. Между ними замѣчательны:  
Надпись къ бюсту импер. Александра I въ 1814 г.

Мужъ твердый въ бѣдствіяхъ и скромный побѣдитель,  
Какой вѣнецъ ему, какой ему алтарь?  
Вселенная! пади предъ нимъ, онъ твой спаситель;  
Россія! имъ гордись—онъ сынъ твой, онъ твой царь!

Пѣснь на взятіе Парижа въ 1814 г., гдѣ, между прочимъ, есть стихи къ Москвѣ—

Москва! твоихъ развалинъ видъ  
Краснорѣчивѣй пирамидъ!  
Онъ и отдаленныхъ внучатъ  
Геройскимъ подвигамъ научатъ <sup>2)</sup>.

Стихотвореніе: „Русскій плѣнникъ въ стѣнахъ Парижа“ (въ 1815 г.), написанное по подражанію Батюшкову—

На брегѣ Сены знаменитой,  
Сынъ брани славой забытый,  
Обезоруженный герой,  
Пѣлъ русскій плѣнникъ въ часъ ночной <sup>3)</sup>.

Посланіе къ Батюшкову, въ отвѣтъ на извѣстное его посланіе къ Жуковскому и Вяземскому, „Мои пенаты“, гдѣ характеризуется жизнь молодаго пріятельскаго кружка.

Отрывокъ изъ стихотворенія „Деревня“, относящійся къ Остафьевскому періоду и содержащій въ себѣ восторженное, благо-

---

<sup>1)</sup> Сочин. III, 23.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 45, 47.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 91.

говѣйное воспоминаіе о Карамзинѣ <sup>1)</sup>. „Первый снѣгъ“—хорошенькая картинка, напоминающая такую-же Пушкина (Морозъ и солнце—день чудесный) <sup>2)</sup>,

„Вечеръ на Волгѣ“ и „Утро на Волгѣ“, гдѣ воспѣваются красоты Волги, по подражанію Дмитріеву и Карамзину:

И музы на твоихъ прохладныхъ берегахъ  
Въ шумящихъ тростникахъ,  
Въ часъ утренней свободы,  
Съ цѣвницами въ рукахъ,  
Водили хороводы...

.....  
Державинъ, Несторъ музъ, и мудрый Карамзинъ,  
И Дмитріевъ, Харитъ счастливый обожатель,  
Величья твоего пѣвецъ—повѣствователь,  
Тебой воспоены среди отческихъ долинъ <sup>3)</sup>.

Стихотвореніе „Всякій на свой покрой“ (въ 1823 г.), гдѣ характеризуются хорошо языкъ Карамзина и баллады Жуковского.

Языкъ нашъ былъ кафтанъ тяжелый,  
И слишкомъ пахнулъ старинной:  
Далъ Карамзинъ покрой иной.  
Пускай ворчатъ себѣ расколы:  
Всѣ приняли его покрой.  
Пускай баллады—бабы сказки,  
Пусть чертъ качаетъ въ нихъ горой,  
Но въ нихъ я вижу слогъ живой,  
Воображеніе, чувство, краски,—  
Люблю Жуковского покрой. <sup>4)</sup>

Особеннымъ чувствомъ проникнуты стихи „На память“ (о Пушкинѣ, 1837 г.) <sup>5)</sup> и „Пѣснь въ день юбилея И. А. Крылова“ <sup>6)</sup>.

Вяземскій написалъ много басенъ, притчъ, апологовъ, эпиграммъ и сатиръ, въ которыхъ высказывается основной сатирико-дидактическій характеръ его поэзіи. Всѣмъ извѣстна его сатира: „Да, какъ бы не такъ“, обыкновенно помѣщаемая въ хрестоматіяхъ, какъ образцовая.

Пока нашъ умъ молокососъ  
И жизнь поитъ насъ полной чашей,—  
Судьба на каждый нашъ вопросъ  
Намъ говорить: все въ волѣ вашей!

<sup>1)</sup> Тамъ же, 143. <sup>2)</sup> Тамъ же, 146. <sup>3)</sup> Тамъ же, 231. <sup>4)</sup> Тамъ же, 301.

<sup>5)</sup> IV, 207—208. <sup>6)</sup> IV, 211—213.

Когда жъ сосудъ ужъ понесакъ,  
А сердце пить еще все хочетъ,  
Что ни спроси, судьба бормочетъ:  
«Да, какъ бы не такъ»!  
Вотъ рѣдкая душа Оргонъ!  
Всѣхъ ближнихъ братьями онъ числитъ,  
И о нуждающемся онъ  
Безъ слезъ и сонниѣ не помыслитъ;  
А попроси въ займы пятакъ,  
Или услуги на два гроша,  
Что-жъ, радъ себя отдать святоша?  
«Да, какъ бы не такъ»!

.....  
.....  
Какъ міръ нашъ при свѣчахъ хорошъ!  
Какъ при свѣчахъ всѣ люди гладки!  
Нигдѣ пятна не разберешь,  
Нѣтъ ни морщинки, ни заплатки.  
Вездѣ улыбка, блескъ и лакъ;  
Погасъ фонарь и дня свѣтило...  
— «Блаженства новыя раскрыло»?  
«Да, какъ бы не такъ»! ʔ.

Въ томъ же тонѣ написаны сатирическое „Посланіе къ Каченовскому“ <sup>2)</sup>, „Семь пятницъ на недѣлѣ“ <sup>3)</sup>, гдѣ изображается типъ чловѣка непостояннаго.

Хотя Вяземскій часто жилъ за границей, однакожъ любилъ рисовать русскія картины, которыя окружали его въ молодости, сравнивая русскіе нравы и обычаи съ иностранными, особенно съ нѣмецкими, и, посреди разныхъ неприглядныхъ чертъ, умѣлъ отыскать и выставить рельефно и черты симпатичныя. Къ такимъ стихотвореніямъ относятся: „Памяти живописца Орловскаго“, „Самоваръ“, „Масляница на чужой сторонѣ“, „Тройка“, „Русскіе проселки“ и „Зимнія картины“. Такъ напр. въ стихотвореніи: „Памяти живописца Орловскаго“ изображается поэзія русской ѣзды на тройкѣ; къ сожалѣнію, эта поэзія исчезаетъ, какъ исчезаетъ всякая старина.

Грустно видѣть, Русь святая,  
Какъ въ степенные года  
Нашихъ предковъ удалая  
Изнѣмечилась ѣзда.  
Толи дѣло въ-старь: телѣга,  
Тройка, ухарскій ямщикъ;  
Ночью—дуешь безъ ночлега,

<sup>2)</sup> Тамъ же, 287—288. <sup>3)</sup> Тамъ же, 219. <sup>4)</sup> Тамъ же 410.

Днемъ же,—высунувъ языкъ.  
Но за то, какъ всё кипѣло  
Беззаботнымъ удалствомъ!

.....  
А теперь—гдѣ эти тройки?  
Гдѣ ихъ ухарскій побѣгъ?  
Гдѣ ты, колокольчикъ бойкій,  
Ты, поэзія телѣгъ?

.....  
Грустно видѣть, воля ваша,  
Какъ у прозы подъ замкомъ,  
Поэтическая чаша  
Высыхаетъ съ каждымъ днемъ!  
Какъ все то, что веселило,  
Иль ласкало нашу грусть,  
Что издѣтства затвердило  
Наше сердце намъзусть,  
Всѣ повѣрья, все раздолье  
Молодецкой старины,—  
Подъѣдаетъ своеволие  
Душегубки—новизны.  
Нарядились мы въ личины,  
Сглазилъ насъ недобрый глазъ...  
И Орловскаго картины—  
Быва мертвая для насъ <sup>1)</sup>.

Въ этомъ смыслѣ весьма интересно также стихотвореніе „Самоваръ“, написанное въ 1839 г. семейству Убри. Выставивъ эписопа изъ Державина: „Отечества и дымъ намъ сладокъ и пріятенъ“, Вяземскій здѣсь говоритъ:

Пріятно находить, понавѣсивъ на чужбину,  
Родныхъ обычаевъ знакомую картину,  
Домашнюю хлѣбъ-соль, гостепріимный кровъ  
И сѣнь, святую сѣнь отеческихъ боговъ.

.....  
Дни странника листамъ разрозненнымъ подобны:  
Ихъ разрываетъ духъ насмѣшливый и злобный;  
Нѣтъ связи: съ каждымъ днемъ все сѣнонова живи,  
А жизнь и хороша преданьями любви,  
Сродствомъ повѣрій, чувствъ, созвучьемъ впечатлѣній  
И милой давностью привычныхъ отношеній.  
Въ насъ умъ—космополитъ, но сердце—домосѣдъ;  
Прокладывать всегда онъ любитъ новый слѣдъ  
И радости свои въ будущемъ имѣетъ;  
Но сердце старыми мечтами холодѣетъ,

---

<sup>1)</sup> Сочин. IV, 217—220.



Но сердце старыми привычками живетъ  
И радостнѣй въ тѣни прошедшаго цвѣтетъ!

У васъ по-русски здѣсь—тепло и хлѣбосольно,  
И чувствую, и уму просторно и привольно.

Прекрасно!.... Но одинъ встрѣчаю недостатокъ:  
Нѣтъ, быта русскаго не полонъ отпечатокъ.  
Гдѣ-жъ самоваръ родной, семейный нашъ очагъ,  
Семейный нашъ алтарь, ковчегъ домашнихъ благъ?  
Въ немъ льются и кипятъ всѣхъ нашихъ дней преданья,  
Въ немъ русской старины живутъ воспоминанья.

Нельзя родиться въ свѣтъ, ни въ бракъ вступить нельзя,  
Ни «здравствуй», ни «прощай» не вымолвить друзья,  
Чтобъ, всѣхъ житейскихъ дѣлъ конецъ или начало,  
Кипучій самоваръ, домашній зацѣвало,  
Не подалъ голоса и не созвалъ семьи...<sup>1)</sup>

Тотъ же характеръ имѣетъ извѣстная шуточная пѣса: „Масляница на чужой сторонѣ“. Встрѣтивъ зиму на чужой сторонѣ въ нѣмецкой землѣ, поэтъ горячо ее привѣтствуетъ и высказываетъ опасеніе, что нѣмцы не стѣсняются должнымъ образомъ принять гостью—такъ, какъ встрѣчаютъ ее въ Россіи <sup>2)</sup>).

„Русскіе проселки“—стихотвореніе чисто сатирическаго содержанія. Въ немъ изображается ѣзда по русскимъ проселочнымъ дорогамъ, разумѣется, въ самомъ непривлекательномъ видѣ <sup>3)</sup>). Такого-же характера—„Зимнія каррикатуры“—рядъ сатирическихъ замѣтокъ подъ заглавіями: „Русская луна“, „Кибитка“, „Мятель“, „Ухабы“, „Обозы“ <sup>4)</sup>). Въ стихотвореніи „Станція“ сравниваются русскія и польскія дороги <sup>5)</sup>).

Какъ человѣкъ, видѣвшій много разныхъ перемѣнъ и разныхъ реформъ, Вяземскій часто любитъ возвращаться къ прошлому и сравнивать съ нимъ настоящее. Къ такимъ стихотвореніямъ особенно относятся стихотворенія, написанныя въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ, когда разныя реформы пробудили все русское общество къ самой разнообразной дѣятельности. Таковы стихотворенія: „У страха глаза велики“ (въ 1858 г.); „Что такъ шумите вы“ (въ 1862 г.); „Нерѣдко намъ—кто-жъ неслыхалъ?—пеняли“ (въ 1861 г.); „Слово примиренія“ (въ 1858 г.); „Старое поколѣніе“ (1841 г.) <sup>6)</sup>. Въ молодыхъ годахъ Вяземскій слылъ человѣкомъ либеральнымъ;

<sup>1)</sup> Сочин. IV, 225—228 <sup>2)</sup> Сочин. XI, 3—7. <sup>3)</sup> Сочин. IV, 256.—

<sup>4)</sup> Тамъ же, 25—31.— <sup>5)</sup> Тамъ же, 32—41. <sup>6)</sup> Сочин. XI. 281. 292. 373. 426. IV, 247.

въ это время онъ становится уже консерваторомъ. Первое стихотвореніе еще направлено противъ людей, боящихся всякаго нововведенія, во всякомъ новомъ движеніи выдающихъ опасный шагъ и потому заранѣе стращающихъ всякими бѣдствіями.

Есть люди,—и такихъ не мало,—  
Вся жизнь ихъ безконечный страхъ,  
Не Божій, мудрости начало,  
А страхъ больной съ бѣльмомъ въ глазахъ.  
Глаза ихъ чѣмъ тупѣй и живѣй,  
Тѣмъ дальновиднѣй быть хотятъ.  
Ихъ мудрость въ томъ, что все пугливѣй  
Они на все и всѣхъ глядятъ.  
Они живутъ въ особомъ мірѣ;  
Имъ мало видѣть то, что есть:  
Гдѣ прочимъ дважанъ два четыре,  
Тамъ имъ съ испугу—пять и шесть.  
У нихъ всегда, какъ отъ угара,  
Въ глазахъ рябитъ, въ ушахъ звенитъ;  
Имъ свѣчка—заревъ пожара,  
Набатовъ—каждый шумъ звучитъ.  
Предупредительность ихъ мучитъ,  
Но прозорливость ихъ смѣшна;  
Она въ быка лягушку пучитъ,  
И муху жалуетъ въ слона.  
Огонь ли дальній домъ затронетъ?  
У насъ ужъ дѣйствуетъ труба,  
И какъ во дни потопа, тонетъ  
Ихъ неповинная изба.  
Кто заболѣетъ въ дальнемъ царствѣ,  
Хотя за тридцать земель,—  
Они сидятъ ужъ на лекарствѣ  
И лечь готовятся въ постель.  
Закрыты ставни, чтобъ заразой  
Къ нимъ вѣтшій воздухъ не проникъ;  
И смотритъ докторъ пучеглазый  
Разъ двадцать на день ихъ языкъ.

.....  
Они готовы въ ослѣпленіи,  
Когда-бъ ихъ страху волю дать,  
На карантинномъ положеніи  
Весь Божій міръ пересоздать.

.....  
Благоразумія личиной  
Свой малодушный умъ прикрывъ,  
Они ложатся тяжелой льдиной  
На каждый доблестный порывъ.

Страшаютъ мысль и упованья,  
Развязкой горькой имъ грозя;  
На всѣ вопросы, всѣ призванья,  
Одинъ отвѣтъ у нихъ: нельзя!  
Нельзя! твердятъ сныи косиѣныя;  
Но въ человѣческой груди  
Къ чему-жъ сей лозунгъ Провидѣнья:  
«Трудиcь, надѣйся и гряди»?  
Самонадѣянность насъ губить,  
И мнительность, болѣзнь ума:  
Одна теряться въ тучахъ любить,  
Другой,—что новость, то чума.  
Мужъ благодушья, воли твердой  
Равно умѣть пренебречь  
Пилъ опрометчивости гордой  
И робость, сей Дамокловъ мечъ!  
Въ душѣ его благое пламя,  
Великихъ дѣлъ святой закалъ;  
Онъ высоко подѣмлетъ знамя,  
Которымъ путь свой указалъ:  
Судебъ избраницкомъ послушнымъ  
Идетъ онъ, вождь передовой,  
Въ борьбѣ съ усердьемъ двоедушнымъ  
И съ трусостью, поднявшей вой <sup>1)</sup>.

„Слово примиренія“, напротивъ, написано противъ тѣхъ, которые, вступивъ на новый путь, несутся по нему безъ оглядки, не обращая никакого вниманія ни на какія условія и предосторожности, и тѣхъ, кто указываетъ имъ на постепенность развитія во всякомъ дѣлѣ, какъ на прочность успѣха въ немъ, упрекають въ косности, отсталости и отступленіи.

Кто говорить объ отступленіи?  
Кто учитъ васъ назадъ идти?  
Жизнь развивается въ движеніи  
И нѣтъ обратнаго пути.  
Течетъ и время безвозвратно:  
Ни часу, ни минутѣ намъ  
Не удержать, не взять обратно  
По уходящимъ волнамъ.  
Въ порядкѣ вѣчномъ мірозданья  
Живущему застою нѣтъ:  
Въ самомъ законѣ увяданья  
Есть обновленія завѣтъ.  
Премудрость цѣль намъ положила,  
День каждый къ цѣли переходъ;

---

<sup>1)</sup> Сочин. XI, 292—294.

Во всемъ есть жизненная сила  
И смерть сама есть шагъ впередъ.  
Но постепеннаго развитія  
Предупреждать намъ не дано,  
Но прочны только тѣ событія,  
Которыхъ вырѣло верно.  
Не говорить вамъ: стой, равняйся  
И въ неподвижности замри!  
Не говорить: назадъ подайся  
И дверь къ грядущему запри!  
Но говорить вамъ: отрезвитесь,  
Высокомѣрны умы,  
Первоначальемъ не хвалитесь  
И не твердите: мы да мы!  
Вы такъ же, какъ и мы, пріяли  
Свое наслѣдье отъ вѣковъ;  
Вы продолжаете скрижали,  
Начатая рукой отцовъ.  
Вашъ вѣкъ, дѣлецъ неутомонный,  
Не выскочкой явился въ свѣтъ:  
Законныхъ предковъ внукъ законный—  
И онъ итогъ предшедшихъ лѣтъ.  
Быть выскочкой совсѣмъ не лестно,  
Да быть и выскочкой нельзя  
Тамъ, гдѣ трудами предковъ честно  
Пробита обществу стезя.  
Успѣхамъ вашимъ и побѣдамъ  
Готовы мы рукоплескать,  
Но въ пѣсняхъ торжества и дѣдамъ  
Не грѣхъ помянуть честь отдать.  
Отцовъ не упрекайте въ лѣни;  
Они на доблестныхъ плечахъ  
Васъ вознесли на верхъ ступени,  
Гдѣ, позабывъ объ ихъ трудахъ,  
Съ самодовольствомъ, не по чину,  
Вы озираетесь кругомъ,  
Какъ будто сразу на вершину  
Взлетѣли вы однимъ прыжкомъ.

.....  
Хозяинъ мудрый винограда  
Распредѣлилъ часы работъ:  
Всѣмъ есть урокъ свой, всѣмъ награда,  
Кто раньше или позднѣй придетъ.  
Несите вы свою заботу;  
Одно различье между насъ:  
Мы утромъ вышли на работу,  
А вы—въ одиннадцатый часъ.

.....  
Къ чему сбивать другъ съ друга цѣну?

На общій трудъ насъ обрекли;  
Другіе придутъ вамъ на смѣну,  
Какъ вы на смѣну намъ пришли.  
Да плодъ воздастъ благое сѣмя,  
Чья ни посѣй его рука:  
Богъ въ помощь вамъ, младое племя,  
И вамъ, грядущіе вѣка! <sup>1)</sup>

Но какъ ни старался поэтъ примирить старое и молодое поколѣнія, онъ сознаетъ, что разрывъ между ними неизбеженъ, что симпатія стараго поколѣнія не понятны людямъ новымъ, увлеченія которыхъ не доступны людямъ старымъ:

Смерть жатву жизни косить, косить  
И каждый день, и каждый часъ  
Добычи новой жадно просить  
И грозно разрываетъ насъ.  
Какъ много ужъ именъ прекрасныхъ  
Она отторгла у живыхъ  
И сколько лиръ виситъ безгласныхъ  
На кипарисахъ молодыхъ!  
Какъ много сверстниковъ не стало,  
Какъ много младшихъ ужъ сошло,  
Которыхъ утро расцвѣтало,  
Когда насъ знойнымъ полднемъ жгло....  
А мы остались, уцѣлѣли  
Изъ этой сѣчи роковой,  
По смерти ближнихъ оскудѣли  
И ужъ не рвемся въ жизнь, какъ въ бой.  
Печально вѣкъ свой доживая,  
Мы запоздавшей смѣны ждемъ,  
Съ днемъ каждымъ сами умирая,  
Пока не вовсе мы умремъ.  
Сыны другаго поколѣнья,  
Мы въ новомъ—прошлогодній цвѣтъ,  
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,  
А нашимъ—въ нихъ сочувствій нѣтъ!  
Они—что любимъ—разлюбили,  
Страстямъ ихъ—насъ не волновать;  
Ихъ не было тамъ, гдѣ мы были,  
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать!  
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,  
Имъ баснословье—наша быль  
И то, что пепелъ намъ священный—  
Для нихъ одна нѣмая пыль.  
Такъ, мы развалинамъ подобны

---

<sup>1)</sup> Сочин. XI, 281—283.

И на распутіи живыхъ  
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный,  
Среди обитателей людскихъ <sup>1)</sup>.

Критическая дѣятельность Вяземскаго. Въ стихотвореніяхъ Вяземскаго нѣтъ глубокаго міросозерцанія и оригинальныхъ творческихъ образовъ; въ нихъ повсюду преобладаетъ, какъ мы уже замѣтили, сатирико-дидактическій тонъ Горация, и вообще сатирическое и критическое отношеніе ко всему, что происходило вокругъ, что ему встрѣчалось въ жизни. Эта критика нравовъ, умная, бойкая, смѣлая, язвительная, подъ часъ мѣткая и оригинальная, всего болѣе обращала вниманіе на него, какъ писателя, и имѣетъ, дѣйствительно, неоспоримыя достоинства. Но настоящимъ критикомъ былъ онъ въ собственно критическихъ сочиненіяхъ. Болѣе полувѣка онъ занималъ эту должность и о всѣхъ писателяхъ, старыхъ и новыхъ, ему современныхъ, онъ подалъ свой голосъ, высказалъ свое мнѣніе. Во 2-мъ томѣ новаго изданія его сочиненій помѣщены его литературныя, критическіе и библиографическіе очерки. Прежде всего онъ работалъ въ журналахъ. „Я завабалилъ себя, говоритъ онъ, „Телеграфу“. Журнальная дѣятельность была по мнѣ. Иная книжка Телеграфа была на половину наполнена мною, или матеріалами, которые сообщалъ я въ журналъ. Журналъ удался: отъ него пахло новизною. — При переездѣ въ Петербургъ на житіе принималъ я участіе въ литературной газетѣ Дельвига, позднѣе въ „Современникѣ“ Пушкина“ <sup>2)</sup>. Во 2-мъ томѣ помѣщены его извѣстія объ альманахахъ („Астраханская флора“, „Литературный Музеумъ“, „Сѣверные Цвѣты“ Дельвига; „Сѣверная Лира“, „Дѣтскій Цвѣтникъ“ и „Незабудочка“, „Невскій Альманахъ“ 1827 г. „Памятникъ Отечественныхъ Музъ“), о Московскихъ журналахъ (въ 1830 г.) (Московскомъ „Телеграфѣ“, „Вѣстникѣ Европы“, „Атенеѣ“). Вяземскій радуется, что число журналовъ все болѣе и болѣе увеличивается.

На зло безграмотныхъ нахаловъ  
И всѣхъ, кто только имъ сродни,  
Дай Богъ намъ болѣе журналовъ:  
Плодять читателей они.  
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,  
Въ чести тамъ грамота, перо;  
Гдѣ грамота—тамъ просвѣщенье,  
Гдѣ просвѣщенье—тамъ добро <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> «Старое поколѣніе»; Сочин. IV, 247—248.

<sup>2)</sup> Томъ I. Автобіографическое введеніе, стр. XLVIII—XLIX.

<sup>3)</sup> Сочин. IV, 5.

Изъ критическихъ статей Вяземскаго замѣчательны: статья о Державинѣ, написанная по случаю его смерти въ 1816 г. и интересная по параллели, какую онъ проводитъ между Державиннымъ и Ломоносовымъ; обширныя изслѣдованія о жизни и сочиненіяхъ Озерова, Дмитріева, Крылова, Жуковскаго, Карамзина и Гоголя. Говоря объ Озеровѣ, онъ припоминаетъ о Сумароковѣ и Княжнинѣ, какъ предшественникахъ Озерова въ области трагедій; говоря о Жуковскомъ, онъ разбираетъ и хвалитъ его критическія сочиненія „О сатирахъ Кантемира“, „О баснѣ и басняхъ Крылова“. Лучшій критико-литературный обзоръ составляетъ „Взглядъ на русскую литературу послѣ смерти Пушкина“, написанный въ 1847 г., по тому симпатическому воспоминанію о Пушкинѣ, какое здѣсь сдѣлано<sup>1)</sup>. Но выше всѣхъ его критическихъ сочиненій извѣстная его книга о Фонѣ-Визинѣ, вышедшая въ 1848 г. и напечатанная въ V т. новаго изданія. Книга эта составляетъ эпоху въ исторіи нашей критики и до сихъ поръ представляетъ лучшую оцѣнку сочиненій Фонѣ-Визина и его эпохи. Къ критику Вяземскій относился весьма серьезно. „Можно, говоритъ онъ, родиться поэтомъ, ораторомъ; но родиться критикомъ нельзя. Поэзія, краснорѣчіе—дары природы, критика—наука; ее слѣдуетъ изучать. И у дикихъ народовъ есть своя пѣсня и свое краснорѣчіе, но критическихъ изслѣдованій у нихъ не найдешь. Кромѣ науки и многоязычнаго чтенія, для критика нуженъ еще вкусъ. Это свойство и врожденное, родовое и благопріобрѣтенное; вкусъ изощряется, совершенствуется ученіемъ, сравненіемъ, опытностію“<sup>2)</sup>. „Собираясь писать о Фонѣ-Визинѣ, я прочиталъ или пробѣжалъ много книгъ историческихъ и литературныхъ, пробѣжалъ почти всю старую русскую словесность, между прочимъ едва ли не всего Сумарокова. Прочиталъ я даже болѣе половины многотомнаго собранія „Россійскаго театра“. Подвигъ, скажу Геркулесовскій, болѣе—Бенедиктинскій. Иногда изъ цѣлой книги извлекалъ я двѣ-три строки, два-три слова, нужныя мнѣ для одной повѣрки, для одной замѣтки. По возможности, все писанное мною было обдумано и проверено. Никогда письменная работа, ни прежде, ни послѣ, не была для меня такъ увлекательна, какъ настоящая“<sup>3)</sup>. Посвятивши цѣлую книгу Фонѣ-Визину и его комедіямъ, Вяземскій написалъ хотя не такой обширный, но такой же хорошій разборъ „Ревизора“ Гоголя, сопоставивъ его съ „Ябедой“ Капниста<sup>4)</sup>. Въ другой статьѣ: „Языковъ и Гоголь“ онъ разбираетъ и указываетъ

---

<sup>1)</sup> Сочин. II, 348—379. <sup>2)</sup> Сочин. VIII, 164.

<sup>3)</sup> Томъ I. Автобіографическое введеніе, стр. L—LI. <sup>4)</sup> Томъ II, 257.

значение „Переписки Гоголя съ друзьями“ <sup>1)</sup>). Кромѣ указанныхъ, у него есть еще небольшія статьи и замѣтки о разныхъ писателяхъ: о Козловѣ, Пушкинѣ, Батюшковѣ, Нелединскомъ - Мелецкомъ, Глинкѣ. По воспитанію и образованію Вяземскій принадлежитъ еще эпохѣ Карамзина и Жуковского; но вполне созрѣлъ его талантъ въ эпоху художественнаго направленія Пушкина. Поэтому онъ держится въ своей критикѣ началъ этого направленія, не одобряетъ школы натуральной и реальнаго направленія, хотя и не отвергаетъ ихъ совсѣмъ, приписывая имъ гораздо низшее значение и достоинство. По поводу „Губернскихъ очерковъ“ Щедрина, говоря о литературѣ, изображающей злоупотребленія чиновниковъ, онъ замѣчаетъ: „Въ литературномъ отношеніи я осуждаю это направленіе; оно матеріализируетъ литературу подобными снимками съ живой, но низкой натуры, низводитъ авторство до какой-то механической фотографіи, не развиваетъ высшихъ творческихъ и художественныхъ силъ, покровительствуетъ посредственности дарованій этихъ фотографовъ - литераторовъ и отклоняетъ нашу литературу отъ путей, пробитыхъ Карамзинымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ. Многіе негодуютъ на то, что эти живописцы изображаютъ одну худую сторону лицъ и предметовъ. И негодуютъ справедливо. Я сознаю, что нынѣшнее направленіе неудовлетворительно, не утѣшительно, но опасно и вредно ли оно въ государственномъ и правительственномъ отношеніи?—рѣшительно не признаю того... Вся Россія на практикѣ давно затвердила наизусть продѣлки нашего чиновничьяго люда. Всѣ отъ нихъ болѣе или менѣе страдаютъ. Слѣдовательно, зло не въ томъ, что рассказывается. Каждый крестьянинъ, и не читая журналовъ, знаетъ лучше всякаго остроумнѣйшаго писателя, что за человѣкъ становой приставъ. Но въ этихъ журнальных обличеніяхъ можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ есть несомнѣнное добро, а именно: возражающееся отъ нихъ убѣжденіе въ народѣ, что высшее правительство не принимаетъ, такъ сказать, на себя отвѣтственности въ этихъ злоупотребленіяхъ, не застраховываетъ ихъ закономъ молчанія, которое налагается на общество“ <sup>2)</sup>). Сужденія Вяземскаго не безупречны и далеко не имѣютъ безусловной вѣрности. Особенно часто въ нихъ встрѣчаются преувеличенія въ похвалахъ разбираемому писателю, на что мы и указали выше, говоря о сочиненіяхъ Озерова и Дмитріева. Иногда слышится духъ партіи и особенное вниманіе и расположеніе къ своему родному лагерю. Но въ его критическихъ разборахъ много и весьма замѣчательнаго; въ нихъ много мѣткаго и оригинальнаго, освѣщающаго

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 304—334.

<sup>2)</sup> Обзорѣніе нашей современной литературной дѣятельности съ точки зрѣнія цензурной. Сочин. VII, 35—36.



предметъ съ особенныхъ сторонъ, которыя были другими не замѣчены. Пересматривая свои сочиненія для новаго изданія, онъ самъ сознавалъ указанные недостатки, особенно преувеличенія, но не хотѣлъ исправить ихъ, находя справедливо, что они тѣсно связаны съ достоинствами его сочиненій, что умный читатель съумѣетъ выдѣлить самъ, что ему не понравится.

Кромѣ указанныхъ сочиненій, у Вяземскаго есть множество писемъ и замѣтокъ въ такъ называемыхъ „записныхъ книжкахъ“. Вяземскій не писалъ своихъ мемуаровъ методически, не велъ аккуратно своихъ дневниковъ; то и другое замѣняли для него письма и записныя книжки, коихъ въ Остафьевѣ сохранилось 37 и которыя напечатаны въ 8, 9 и 10 томахъ новаго изданія. Въ этихъ запискахъ онъ съ полною откровенностію говоритъ о всѣхъ важныхъ событіяхъ своей жизни, обо всемъ, что приводилось видѣть, слышать, читать замѣчательнаго. Онъ говоритъ о себѣ:

Годовъ и поколѣній много  
Я пережить уже успѣлъ,  
И длинною своею дорогой  
Событій много подсмотрѣлъ.  
Талантовъ нѣтъ во мнѣ излишка,  
Не корчу важнаго лица;  
Я просто—записная книжка,  
Гдѣ жизнь играетъ роль писца.

Вяземскій рассказываетъ множество воспоминаній о разныхъ ученыхъ, литературныхъ, правительственныхъ и политическихъ дѣятеляхъ, какъ то: о графахъ Разумовскихъ, объ Остерманѣ, императрицѣ Екатеринѣ II, императорѣ Александрѣ I и его сподвижникахъ, о Сперанскомъ, Магницкомъ; изъ литературныхъ дѣятелей говоритъ о Гнѣдичѣ, Дельвигѣ, Баратынскомъ, Тургеневѣ, Чаадаевѣ и проч. Во всемъ этомъ отражается личность Вяземскаго, время и среда, гдѣ онъ жилъ, и встрѣчается много интересныхъ взглядовъ, мыслей, замѣчаній, часто отрывочныхъ, ничѣмъ не связанныхъ, но тѣмъ лучше отражающихъ на себѣ разные моменты протекшей жизни. Мы отмѣтимъ только его замѣчанія о народности и космополитизмѣ, о патриотизмѣ и славянофилахъ, существенныхъ вопросахъ въ нашей исторіи, понимаемыхъ чрезвычайно разнообразно. Въ статьѣ: „Языковъ и Гоголь“ Вяземскій такъ опредѣляетъ отношеніе народнаго элемента къ общечеловѣческому: „Что въ каждомъ народѣ есть ему свойственныя стихіи народности, это неоспоримо; что должно ими пользоваться, это такъ же неоспоримо, какъ и то, что нельзя отказаться отъ нихъ, хотя бы паче чаянія кому-нибудь и хотѣлось переродиться въ иностранца. Но дѣло въ томъ, что не должно и, слава Богу,

невозможно отдѣлить, отрубить чисто-научное (народное?) отъ обще-человѣческаго. Первоначально мы люди, а потомъ уже земляки, то есть областные жители. Что ни дѣлай, а въ каждомъ землякѣ отыскивается человѣкъ, какъ въ каждомъ человѣкѣ пробивается землякъ. Всѣ люди созданы по одному образцу, а между тѣмъ у каждаго изъ нихъ своя особенная фizioномія, физическая и нравственная. Всѣ писатели одного народа пишутъ однимъ языкомъ, тѣ же слова служатъ имъ орудіями; а у каждаго писателя, то-есть не пошлаго и не дюжиннаго, есть свой особенный слогъ. Какъ же литературѣ, которая тоже фizioномія и слогъ народа, не имѣть только у насъ своей личности, своего характера? Люблю народность какъ чувство, но не признаю ея какъ систему. Ненавижу исключительность, не только безпрекословную и повелительную, но и условную и двусмысленную. Можетъ быть, эту ненавижу еще болѣе.... Мнѣ не входитъ ни въ голову, ни въ сердце, что можно положить себѣ за правило и обязанность предпочитать русскую Волгу нѣмецкому Рейну. Не понимаю Языкова, но сочувствую ему, умиляюсь и увлекаюсь чувствомъ его, когда вижу, что онъ остается Волжаниномъ въ виду красиваго Рейнъ-Гау, или грознаго водопада. Языковъ былъ влюбленъ въ Россію.... Когда онъ говоритъ о ней, слово его возгарается, становится огнедышущимъ и потому глубоко и горячо отзывается оно въ душѣ каждаго изъ насъ. Тѣ же, которые не сочувствуютъ искреннему выраженію страсти его, изъ опасенія уронить тѣмъ свою независимость и возвышенность умозрѣнія, доказываютъ, что они уклоняются отъ народнаго потому, что превратно и ограниченно понимаютъ обще-человѣческое<sup>1)</sup>. Это писалъ Вяземскій въ 1847 г. по поводу выхода „Переписки Гоголя съ друзьями“; а вотъ что говорилъ онъ о славянофилахъ въ 1855 г. по поводу статьи К. С. Аксакова „О богатыряхъ“, которую цензура не хотѣла пропустить: „Обращаясь къ прозванію славянофиловъ, нельзя не замѣтить, что это прозваніе насмѣшливое, данное одной литературной партіей другой партіи. Это чисто семейныя, домашнія клички. Лѣтъ за 40 предъ симъ, мы же, тогда молодые литераторы Карамзинской школы, такъ прозвали А. С. Шишкова и его школу. Въ послѣднее время прозвище это воскресило и обратили къ нѣкоторымъ московскимъ литераторамъ, приверженцамъ старины. Изъ журнальных сплетней и пересмѣшекъ возникло пугало, облеченное политическою таинственностію. Собственно-же, судя о славянофильствѣ по его словопроизводству, мудрено заключить, что можетъ быть вреднаго въ любви къ славянамъ, нашимъ предкамъ и одно-

---

<sup>1)</sup> Т. II, 312—313.

племеннымъ братьямъ, и въ любви къ славянскому языку, который былъ языкомъ нашей исторіи и есть языкъ нашей церкви? Отказаться отъ чувства любви ко всему славянскому, значило бы отказаться намъ отъ исторіи нашей и отъ самихъ себя. Государь императоръ Николай I, въ достопамятныхъ словахъ своихъ, обращенныхъ къ профессорамъ, сказалъ: „надобно сохранить то въ Россіи, что искони бѣ“. Слѣдовательно, должно сохранять и родовое чувство любви къ нашему славянскому происхожденію. Повторяю, если гдѣ-нибудь, и въ комъ-нибудь, подъ оболочкою славянолюбія, таится нѣчто другое и вредное, то должно преслѣдовать и преграждать это другое, но нельзя преслѣдовать славянолюбія, иначе пришлось бы преслѣдовать чувство и образъ мыслей чисто русскіе и свойственные каждому изъ насъ,—кому только дороги имя русскаго и сопряженные съ этимъ именемъ родовые, семейныя и духовныя преданія нашей народной исторической и государственной жизни“<sup>1)</sup>. Въ молодости либеральный чиновникъ, западникъ и космополитъ, Вяземскій становится консерваторомъ и горячимъ патріотомъ. Доказательствомъ этого, между прочимъ, служатъ его „Письма русскаго ветерана 1812 г. о Восточномъ вопросѣ“, напечатанныя въ VI томѣ его сочиненій на французскомъ языкѣ, съ русскимъ переводомъ П. И. Бартечева. Изъ этихъ писемъ видно, что при обыкновенныхъ своихъ занятіяхъ, онъ постоянно слѣдилъ за ходомъ общихъ дѣлъ и что ему близко знакома была какъ внутренняя, такъ и внѣшняя политическая жизнь современнаго ему русскаго и европейскаго общества.... Вынужденный обстоятельствами провести въ чужихъ краяхъ 1853—1855 годы, Вяземскій не могъ оставаться равнодушнымъ къ озлобленію европейскаго общества противъ Россіи предъ Крымскою войною и во время этой войны. Онъ началъ писать опроверженія на газетныя статьи, въ то время особенно отличавшіяся клеветою на русское правительство и русскій народъ. Въ теченіе слишкомъ года у него образовался рядъ статей по этому предмету. Онъ намѣревался помѣщать ихъ во французской газетѣ, или въ какомъ-нибудь изъ швейцарскихъ и бельгійскихъ періодическихъ изданій; но извѣстно, что участіе русскаго человѣка въ европейской печати допускается лишь подъ условіемъ полного подчиненія господствующему мнѣнію, и не одинъ князь Вяземскій встрѣтилъ въ этомъ отношеніи негостепріимный отказъ. Тогда онъ собралъ свои статьи въ одну книгу и въ 1855 г. напечаталъ ее въ Лозаннѣ подъ заглавіемъ: *Lettres d'un vétéran russe de l'année 1812 sur la question d'Orient, publiées par P. d'Ostafievo*. Письма Вяземскаго писаны на седь-

---

<sup>1)</sup> Т. VII, 28—29.

момъ десяткѣ лѣтъ отъ роду и однако отличаются какъ свѣжестью и своеобразіемъ, такъ и прелестью живаго изложенія. Онъ хотѣлъ, въ предѣлахъ возможности, послужить общему русскому дѣлу, и книга его, хотя и не имѣла успѣха за границей, и лишь въ не-большемъ числѣ дошла до насъ, представляетъ собою честно и талантливо исполненный долгъ писателя, сердечно преданнаго своему отечеству.

### Н. И. ХМѢЛЬНИЦКІЙ.

Николай Ивановичъ Хмѣльницкій (1789—1846), потомокъ извѣстнаго гетмана Богдана Хмѣльницкаго, былъ сынъ одного изъ образованнѣйшихъ людей своего времени Ивана Парфентьевича Хмѣльницкаго, который получилъ образованіе за границей, былъ докторомъ кенигсбергскаго университета и извѣстенъ разными сочиненіями. Дарованія и ученія и литературныя симпатіи отъ отца перешли къ сыну: съ малыхъ лѣтъ Николай Ивановичъ любилъ литературу <sup>1)</sup>. Послѣ домашняго воспитанія, подъ руководствомъ своего родственника, писателя Эмина, образованіе свое онъ получилъ въ горномъ корпусѣ. На службу онъ сначала поступилъ переводчикомъ въ Коллегію Иностранныхъ дѣлъ, потомъ въ 1812 г. въ ополченіе адъютантомъ къ Кутузову, а по окончаніи войны правителемъ канцеляріи къ генералу Милорадовичу. Наконецъ былъ смоленскимъ и архангельскимъ губернаторомъ.

Въ 20-хъ годахъ начали появляться драматическія произведенія Хмѣльницкаго и возбудили интересъ въ публикѣ. Ихъ можно раздѣлять на три рода: переводы, передѣлки и подражанія, и оригинальныя піесы. Хмѣльницкій славился какъ знатокъ французской комедіи, перевелъ двѣ лучшихъ комедіи Мольера: „Тартюфъ“ и „Школа женщинъ“; къ передѣлкамъ и подражаніямъ относятся передѣлки комедій Реньяра, Буасси и Дарлевиля. Хмѣльницкій отличался тонкимъ вкусомъ въ выборѣ піесъ для передѣлки и подражаній, умѣлъ отыскать въ нихъ существенное, выбрать главное, отбросить лишнее. Замѣчательными піесами считались: „Говорунъ“, „Воздушныя замки“, „Бабушенины попугаи“, „Суженаго конемъ не объ-

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Хмѣльницкаго были изданы подъ заглавіемъ «Театръ Николая Хмѣльницкаго», въ двухъ частяхъ. Спб. 1829—1830 г. Изданіе Смирдина въ 3-хъ томахъ 1849 г. При этомъ изданіи помѣщена біографическая статья о Хмѣльницкомъ С. Дурова. Сочиненія Бѣлинскаго, томъ IX. Историческая Хрѣстоматія Галахова, томъ II. Н. И. Хмѣльницкій, статья Н. А. Добротворскаго въ Историч. Вѣстникѣ 1889 г. Декабрь.

ѣдешъ“, „Новый Парисъ“, „Карантинь“, „Нерѣшительный, или семь пятницъ на недѣлѣ“ и „Свѣтскій случай“. Онѣ часто давались на сценѣ и съ большимъ успѣхомъ представлялись на благородныхъ и домашнихъ спектакляхъ. Онѣ отличались чистотою отдѣлки и изящнымъ художественнымъ вкусомъ; ни въ одной изъ нихъ нѣтъ грязнаго каламбура, сальной двусмысленности, или грубой шутки, которые могли бы оскорбить тонкій вкусъ; водевильные куплеты отличаются легкостію и граціозными оборотами, которые, не поражая уха, не возбуждая грубаго смѣха, нравятся эстетически развитому человѣку. Комедія „Говорунъ“—передѣлка съ французской комедіи Буасси: Le babillard; въ ней осмѣивается страсть къ болтовнѣ. Герой ея Звоновъ неумолкаемо болтаетъ всякій вздоръ.

Злословье и хвалы онъ мастеръ сочинять;  
Не знаетъ одного: чтобъ кстати помолчать.

Онъ

....Чудный человѣкъ! никакъ не унываетъ:  
Ну, не съ кѣмъ говорить—съ самимъ собой болтаетъ!

Звоновъ говорить о себѣ:

По чести пресмѣшно и ѣздить и ходить,  
Не встрѣти никого, чтобъ съ кѣмъ поговорить.  
Увидѣвшись съ людьми, садисься, отдыхаешь,  
Толкуешь, говоришь и что-нибудь узнаешь.

....Одаренъ я памятью чудесной!  
Я все перечиталъ, мнѣ все теперь извѣстно,  
Я разомъ выучу хоть тысячу стиховъ,  
И такъ понаторѣлъ, что самъ писать готовъ!  
И что-жъ мудренаго? я знаю всѣ размѣры,  
И мигомъ бы попалъ въ Софоклы или Гомеры.

Но, кромѣ языковъ, я знаю всѣ науки:  
Исторія изъ нихъ главнѣйшій мой предметъ...  
Попробуйте спросить, я мигомъ дамъ отвѣтъ.  
Я знаю все, сударь: героевъ, ихъ дѣянья,  
Всѣ царства, города и словомъ, всѣ преданья!

Своей болтовней онъ до того надоѣлъ, что всѣ отъ него бѣгаютъ; но онъ такъ увлекается ей, что не замѣчаетъ, какъ всѣ его слушатели и слушательницы уходятъ и онъ остается одинъ.

Что вижу?—Это ты (обращается онъ къ служанкѣ), но гдѣ-жъ мои старушки?

Ихъ нѣтъ—и я одинъ. О, вздорныя болтушки!

Служанка Лиза говоритъ:

За ваше торжество имъ должно вамъ отмстить:  
Одинъ противъ шести и всѣхъ заговорить,  
Замучить, разозлить, оспорить, обесславить,  
И даже, наконецъ, ихъ всѣхъ бѣжать заставить! <sup>1)</sup>

Комедія „Воздушные замки“ составляетъ также передѣлку французской комедіи Коленъ д'Арлевиля *Les châteaux en Espagne*.

Въ ней нѣтъ, по словамъ Хмѣльницкаго, стиховъ переводныхъ, а удержаны только нѣкоторыя мысли французскаго подлинника; фамилія же главнаго героя пьесы, Альнаскарора, взята изъ сказки Дмитріева: „Воздушныя башни“. Мичманъ Альнаскароръ—мечтатель, любящій строить воздушные замки. Слуга его, Викторъ, говоритъ о немъ:

Мой баринъ человекъ... чудесный:  
Хоть онъ не генералъ какой-нибудь извѣстный,  
Но хочетъ чѣмъ-нибудь гораздо больше быть.  
Иной для этого сталъ грудью бы служить,—  
Напротивъ, баринъ мой нигдѣ теперь не служить.  
За то ужъ, признаюсь, онъ обо всемъ страхъ тужить!  
Случится ли война—за книги, и всю ночь  
Онъ сочиняетъ планъ, какъ арміи помочь.  
Миръ, напримѣръ, опять намъ новая забота—  
Зачѣмъ спѣшить, и что мириться за охота?

.....  
Работы нѣтъ, такъ онъ мечтаньями займется:  
За тридцать земель въ минуту занесется,  
И тутъ то ужъ начнемъ творить мы чудеса:  
То землю повернемъ, то мѣримъ небеса,  
То въ море пустимся, штормуемъ, побѣждаемъ,  
Не только что себя, Россію прославляемъ!.....  
И что-жъ, сударня, не больно-ль, напримѣръ,  
Что онъ за это все—лишь оберъ-офицеръ? <sup>2)</sup>

Вдругъ Альнаскароръ узнаетъ изъ газетъ, что американская компанія отправляетъ фрегатъ въ путешествіе вокругъ свѣта; онъ тотчасъ подаетъ прошеніе о томъ, чтобы его присоединили къ экипажу.

Мнѣ счастья искать назначено въ моряхъ;  
Я ѣду... и вояжъ мой живо представляю:  
Тутъ это нахожу, тамъ то-то открываю,

<sup>1)</sup> Сочин. I, 300, 306, 315, 332.

<sup>2)</sup> Сочин. I, 351.

То, сѣвъ на палубѣ, рисую и пишу....  
Наскуча западомъ, къ востоку я спѣшу,  
Съ собою привожу: людей, звѣрей, растенья,  
Печатаю свои прелестныя творенья;  
И слава обо мнѣ промчится съ края въ край.  
Вотъ тутъ-то лишь меня за это награждай!  
Все сдѣлаю, я всѣхъ обогачу, прославлю!..  
.....  
Судя по всѣмъ вещамъ, я твердо убѣжденъ,  
Что я къ чему-нибудь чудесному рожденъ!  
Не помню гдѣ.. читалъ я анекдотъ прекрасной,  
Что кто-то изъ морскихъ, въ часъ бури преужасной,  
Присталъ къ землѣ, дотоль незнаемой никѣмъ....  
Онъ поселился тамъ, и кончилось тѣмъ,  
Что вскорѣ жители рѣшили межъ собою  
Республики своей избрать его главою....  
.....  
Да чѣмъ-же, Боже мой, я хуже Робинзона?  
И я могу открыть прелестный островокъ.  
Тамъ, сдѣлавшись царемъ, построй городокъ,  
Займусь прожектанъ, народными дѣлами;  
Устрою гавани, наполню ихъ судами,—  
И тутъ-то я до васъ, Алжирцы, доберусь!  
.....  
Рѣшивши бой, лечу съ трофеями въ столицу.  
Я встрѣченъ въ гавани народною толпою.  
Иду.. прохода нѣтъ! все ницъ передо мной!  
Какой восторгъ! вездѣ одни лишь слышу клики:  
Да здравствуетъ нашъ царь! да здравствуетъ великій! <sup>1)</sup>.

Слуга Викторъ подражаетъ барину. Купивъ лоттерейный билетъ, онъ мечтаетъ выиграть сто тысячъ:

Сто тысячъ, Боже мой! въ Твоей все это воля!  
Пусть баринъ мой себя храбрится на престолѣ,  
Да сто-то тысячъ Ты пошли его слугѣ!  
.....  
Что сдѣлаю.... Тотчасъ я выкуплюсь на волю,  
Тутъ въ службу, выслужусь и черезъ годъ какъ разъ  
Вдругъ Викторъ нашъ махнетъ въ четырнадцатый классъ!  
О, честолюбіе! Оставь меня въ покоѣ!  
Нѣтъ, Викторъ, нѣтъ, мой другъ, затѣялъ ты пустое:  
Изъ службы не всегда вѣдь выйдешь съ барышемъ.  
Такъ лучше... рѣшено: я дѣлаюсь купцомъ...  
.....

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 358, 366—367.

Тутъ я, благословясь, пушусь тотчасъ въ торги;  
По лавочкамъ мои всѣ заплачу долги;  
Потомъ куплю себѣ я домикъ презатѣйный  
Сперва въ полку, а тамъ, пожалуй, на Литейной,  
Обзаведусь — и самъ женюсь наконецъ....  
И Саша мнѣ жена! и Викторъ ужъ отецъ!<sup>1)</sup>

Починка сломаннаго экипажа заставляетъ мечтателей остановиться въ домѣ молодой вдовы, помѣщицы Аглаевой. Аглаева принимаетъ мичмана за графа Лестова, который, увидѣвъ ея портретъ у ея тетки, влюбился въ нее и рѣшился жениться и для этого подъ чужимъ именемъ пріѣхать къ ней въ деревню. Аглаева также мечтательница; услышавъ о графѣ Лестовѣ, она говоритъ:

Вотъ тутъ мы заживемъ! О я воображаю:  
Отсюда въ Петербургъ я съ графомъ пріѣзжаю;  
Въ послѣднемъ вкусѣ свой обмелирую домъ,  
Столицу облетимъ съ визитами кругомъ.  
. . . . . И что же наконецъ?  
Какое счастье! Я ѣзжу во дворецъ!

Служанка ея также по своему мечтаетъ, что она „изъ Саши простенькой —преважной будетъ Сашей“<sup>2)</sup>.

Аглаева сначала принимаетъ АльнаскарOVA восторженно, но когда открывается ошибка и дѣлается извѣстнымъ, что онъ совсѣмъ не графъ, она холодно разстается съ нимъ. Мечты Виктора также не сбылись; билетъ, на который онъ рассчитывалъ, оказался потеряннымъ. Не поймавъ счастья на морѣ, АльнаскарОВъ хочетъ искать его по сухопутной части и для этого намѣренъ ѣхать въ Индію. Когда Викторъ сокрушается, что всѣ ихъ замки рушились:

Флотилія, престолъ, невѣста, мой билетъ, —  
Пропало все, и намъ ни въ чемъ удачи нѣтъ!  
Ахъ, Боже мой, за что я погибаю съ вами?

АльнаскарОВъ говоритъ ему: „Утѣшься, Индія осталася за нами“<sup>3)</sup>. Этотъ стихъ сдѣлался такъ популяренъ, что обратился въ пословицу.

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 369—370.

<sup>2)</sup> Стр. 347—348.

<sup>3)</sup> Стр. 381.



## Е. А. БАРАТЫНСКИЙ.

Къ школъ Жуковскаго и Пушкина принадлежалъ даровитый поэтъ Баратынский (или Боратынский, какъ онъ самъ называлъ себя, 1800—1844) <sup>1)</sup>. Его стихотворенія, при самомъ первомъ появленіи, обратили на себя вниманіе. Плетневъ въ 1822 г. присуждалъ ему два вѣнка—Анакреона и Петрарки. Пушкинъ называлъ его „отличнымъ поэтомъ за то, что онъ мыслить и что онъ оригиналенъ“. Но ни Анакреономъ, ни Петраркой Баратынский не сдѣлался, хотя и писалъ удачно стихотворенія по подражанію имъ; онъ былъ поэтъ элегическій; грусть была его вдохновеніемъ; онъ на все смотрѣлъ съ грустной точки зрѣнія, и элегія сдѣлалась главною формою его поэзіи. Основа этой грусти первоначально заключалась въ обстоятельствахъ его жизни и особенно образованія. Аристократъ по происхожденію (онъ былъ сынъ генералъ-адъютанта при Павлѣ I и фрейлины импер. Маріи Ѳеодоровны), изнѣженный въ дѣтствѣ и получившій иностранное воспитаніе подъ руководствомъ итальянца Боргезе, онъ могъ рассчитывать на блистательную карьеру въ жизни; но вмѣсто всего ожидаемаго,—ему суждено было надѣть шинель рядового солдата. Изъ Пажескаго корпуса, гдѣ онъ учился, онъ 15 лѣтнимъ мальчикомъ былъ исключенъ за одну некрасивую исторію, съ запрещеніемъ принимать его на службу,—развѣ рядовымъ въ военную. По ходатайству Жуковскаго запрещеніе впоследствии было снято съ него, и онъ сдѣланъ унтеръ-офицеромъ; но ужасное впечатлѣніе, произведенное имъ, оставило слѣды на всю жизнь. „Я сто разъ былъ готовъ лишиться себя жизни“, писалъ онъ къ Жуковскому; но глубокая привязанность къ матери, кротость и нѣжность ея къ нему, врожденная теплота и благородство чувствъ, проявившіяся столько-же въ его жизни, какъ и въ произведеніяхъ его поэзіи, возвратили бодрость душѣ его. Въ 1818 г. онъ отправился въ Петербургъ и поступилъ на службу рядовымъ въ Егерскій полкъ. Въ Петербургѣ въ 1819 году онъ познакомился съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ; въ это же время онъ познакомился съ нѣкоторыми изъ декабристовъ, осо-

---

<sup>1)</sup> Изданія: 1) Стихотворенія Е. Баратынскаго. М. 1827. 2) Стихотворенія Евгенія Баратынскаго. М. 1835 (въ двухъ частяхъ). 3) Сумерки. Сочиненіе Евгенія Баратынскаго. М. 1842. Последнее 4-е изданіе сочиненій Баратынскаго съ портретомъ автора, его письмами и біографическими свѣдѣніями о немъ. Казань 1884 г. Часть I. Стихотворенія. Часть II. Поэмы. Часть III. Прозаическія сочиненія и письма. Здѣсь приложены матеріалы для біографіи поэта. Свѣдѣнія и сужденія о Баратынскомъ: сочиненія Бѣлинскаго, т. VI, 280—324; сочиненія Вяземскаго, VIII; характеристика Баратынскаго, сдѣланная Кирѣевскимъ, Русскій Архивъ, кн. 2-я Въ Запискахъ К. А. Полеваго, въ Историч. Вѣстникѣ 1887 г., апрѣль.

бенно съ Кюхельбекеромъ, но не былъ посвященъ въ ихъ тайны, хотя и сочувствовалъ свободѣ, къ которой стремилось это общество, какъ свидѣтельствуя объ этомъ нѣсколько дошедшихъ отъ него до насъ стиховъ:

Съ неба чистая, золотистая,  
Къ намъ слѣтѣла ты;  
Все прекрасное, все опасное  
Намъ пропѣла ты.<sup>1)</sup>

Въ 1820 г. Баратынскій былъ переведенъ въ Нейшлотскій полкъ въ Финляндію, которая внушила ему нѣсколько стихотвореній: „Финляндія“ и поэма „Эда“. Въ 1826 г. онъ женился на Настасѣ Львовнѣ Энгельгардтъ, которая отличалась литературнымъ образованіемъ, тонкимъ вкусомъ и критическимъ взглядомъ и была лучшимъ критикомъ стихотвореній своего мужа. Послѣ женитьбы онъ жилъ частію въ Москвѣ, частію въ деревнѣ; онъ любилъ деревню и даже предпочиталъ деревенскій бытъ городскому. Въ 30-хъ годахъ онъ нѣсколько времени жилъ въ Казани, куда въ то-же время пріѣзжалъ Пушкинъ, собиравшій матеріалы для исторіи Пугачевского бунта. Въ 1843 году онъ предпринялъ путешествіе за границу. Проведши нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ, онъ отправился въ Италію, которая болѣе прочихъ странъ его привлекала, подъ вліяніемъ еще тѣхъ разсказовъ, которые онъ слышалъ въ дѣтствѣ отъ дядьки итальянца Боргезе; но въ Неаполѣ онъ заболѣлъ и здѣсь скончался въ 1844 году.

О своей поэтической музѣ Баратынскій выражался такимъ образомъ:

Не ослѣпленъ я Музою моею:  
Красавицей ея не назовутъ,  
И юноши, урѣвъ ее, за нею  
Влюбленною толпою не побѣгутъ.  
Приманивать изысканнымъ уборомъ,  
Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ,  
Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ;  
Но пораженъ бываетъ мелкою свѣтъ  
Ея лица не общимъ выраженіемъ.  
Ея рѣчей спокойной простотой;  
И онъ скорѣй, чѣмъ ѣдкимъ осужденіемъ,  
Ее почититъ небрежной похвалою.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Матеріалы для біографіи Баратынскаго, приложенныя къ послѣдному изданію его сочиненій, стр. 479.

<sup>2)</sup> Часть I, по изд. 1884 г.

Дѣйствительно, стихотворенія Баратынскаго, при недостаткѣ внѣшняго убранства, отличаются выразительностью, строгостью и простотою, какъ лица, не поражающія красотою, но правящіяся выраженіемъ, отличаются чѣмъ-то особеннымъ. Эту особенность сообщаетъ имъ размышленіе, которое составляетъ преобладающій элементъ въ его поэзіи, за что нѣкоторые критики называли его русскимъ Гамлетомъ. Мысль, анализъ, сомнѣніе постоянно преслѣдуютъ его. Только не мыслящій, не образованный человѣкъ, по его мнѣнію, можетъ быть счастливымъ; человѣкъ мыслящій ничѣмъ не удовлетворяется и во всемъ видитъ слабую сторону; въ прогрессѣ, въ наукѣ и успѣхахъ цивилизаціи Баратынскій видитъ причины разлада душевнаго, потери вѣры и надежды—несчастье въ жизни. Бѣлинскій упрекалъ поэта за стихотворенія: „Примѣты“, „Послѣдняя смерть“, „Послѣдній поэтъ“, гдѣ выражается это міросозерцаніе. Но съ особенною рѣзкостью оно выражается въ стихотвореніи „Истина“, которое является самымъ характернымъ для всей поэзіи Баратынскаго.

О счастьи съ младенчества тоскуя,  
Все счастьемъ бѣденъ я;  
Или во вѣкъ его не обрѣту я  
Въ пустынь бытія?

Младше сны отъ сердца отлетѣли,  
Не узнаю я свѣтъ;  
Надеждъ своихъ лишень я прежней цѣли,  
А новой цѣли нѣтъ.

«Безумень ты и всѣ твои желанья»  
Мнѣ первый опытъ рекъ;  
И лучшія мечты моея созданья  
Отвергнулъ я на вѣкъ.

Но для чего души разувѣренъ  
Свершилось не исполнѣ?  
О юныхъ снахъ слѣпое сожалѣнье  
Зачѣмъ живетъ во мнѣ?

Такъ нѣкогда обдумывалъ съ роптаньемъ .  
Я жребій тяжкій свой.  
Вдругъ Истину (то не было мечтаньемъ)  
Узрѣлъ передъ собой.

«Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью!  
(Вѣщала) Захочу  
И страстнаго отрадному безстрастью  
Тебя я научу.

Пуškai со мной ты сердца жаръ погубишь;  
Пуškai, узнавъ людей,  
Ты, можетъ быть, испуганный разлюбишь  
И ближнихъ и друзей.

Я бытія всѣхъ прелести разрушу,  
Но умъ наставлю твой;  
Я оболю суровымъ hladомъ душу,  
Но дамъ душѣ покой.

Я трепеталъ, словамъ ея внимая,  
И горестно въ отвѣтъ  
Промолвилъ ей: «о гостя роковая!  
Печаленъ твой привѣтъ!

Свѣтильникъ твой—свѣтильникъ погребальный  
Всѣхъ радостей земныхъ!  
Твой миръ, увн! могилы миръ печальный,  
И страшенъ для живыхъ.

Нѣтъ, я не твой! въ твоей наукѣ строгой  
Я счастья не найду;  
Покинъ меня: кой-какъ моей дорогой  
Одинъ я побреду.

Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило  
Во звѣздной вышинѣ  
Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило,  
Забить придется мнѣ,

Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,  
Мой разумъ просвѣти:  
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи  
Возропотно сойти» <sup>1)</sup>.

Вопросы объ истинѣ, свободѣ, о счастіи и несчастіи, добрѣ  
и злѣ и загробной жизни постоянно занимаютъ поэта.

Все мысль, да мысль! Художникъ бѣдный слова!  
О жрецъ ея! тебѣ забвенья нѣтъ;  
Все тутъ, да тутъ и человекъ, и свѣтъ,  
И смерть, и жизнь, и правда безъ покрова.  
Рѣзецъ, органъ, кисть! счастливъ кто влекомъ  
Къ нимъ чувственнымъ, за грань ихъ не ступая!

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 70—72.

Есть хмѣль ему на праздниѣхъ мірскомъ!  
Но предъ тобой, какъ предъ нагимъ мечемъ,  
Мысль, острый лучъ! Влѣдѣеть жизнь земная <sup>1)</sup>,

Но онъ не хотѣлъ быть пессимистомъ и совершенно не вѣрующимъ; по временамъ онъ ищетъ возможности примириться съ разными диссонансами въ жизни и природѣ. Онъ сознаетъ необходимость безсмертія и загробной жизни.

*Она:* «Есть бытіе и за могилой,  
Намъ общалъ его Творецъ.  
Спокойны будемъ: нѣтъ сомнѣнья,  
Мы въ жизнь другую перейдемъ,  
Гдѣ намъ не будетъ разлученья,  
Гдѣ всѣ земныя опасенья  
Съ землею пылью отряхнемъ.  
Ахъ, какъ любить безъ этой вѣры!»

*Онъ:* «Такъ, Всемогущій безъ нее  
Насъ искушалъ-бы выше мѣры:  
Такъ, есть другое бытіе!  
Ужели нѣкогда погубить  
Во мнѣ Онъ то, что мыслить, любить,  
Чѣмъ Онъ созданье довершилъ,  
Въ чемъ, съ горделивымъ наслажденьемъ,  
Міръ повторилъ Онъ отраженьемъ  
И Самъ Себя изобразилъ?  
Ужели творческая сила  
Лукавымъ свѣтомъ бытія  
Мнѣ ужасъ гроба озарила,  
И только?... Нѣтъ, не вѣрю я.  
Что свѣтъ являетъ? Пиръ нестройный!  
Презрѣнный властвуетъ; достойный  
Поникъ гонимой главой;  
Несчастливъ добрый, счастливъ злой.  
Какъ! не терпящая смѣшенія  
Въ слѣпыхъ стихіяхъ вещества,  
На хаосъ нравственный возрѣнья  
Не броситъ мудрость Божества!  
Какъ! между братьями своими  
Мы видимъ правыхъ и благихъ,  
И превзойденъ дѣтми людскими,  
Не правъ, не благъ Создатель ихъ?...  
Нѣтъ! мы въ юдоли испытанья,  
И есть обитель воздаянья:

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 258.

Тамъ, за могильнымъ рубежѣмъ,  
Сіяетъ день незаходимый,  
И оправдается Незримый  
Предъ нашимъ сердцемъ и умомъ <sup>1)</sup>.

Наконецъ въ другой піесѣ онъ обращается къ Богу съ такой молитвой:

Царь небесъ! Успокой  
Духъ болѣзненный мой!  
Заблужденій земли  
Мнѣ забвеніе пошли,  
И на строгій Твой рай  
Силы сердцу подай <sup>2)</sup>.

Есть у Баратынскаго стихотворенія довольно свѣтлыя, по крайней мѣрѣ написанныя въ примирительномъ тонѣ, какъ напр. „Весна“, „Родина“, „Запустѣніе“, „Мадонна“, „Весна, весна! какъ воздухъ чистъ“, „На посѣвъ лѣса“ <sup>3)</sup>. Но онъ, какъ и всѣ разочарованные, ищетъ примиренія, забвенія горестей и успокоенія чаще въ природѣ, чѣмъ въ жизни человѣческой.

Поэтъ мысли, Баратынскій питалъ особенную симпатію къ Гёте, какъ глубокому мыслителю, какъ поэту философу, весь міръ обнявшему и изображавшему въ своихъ поэтическихъ сочиненіяхъ, и написалъ на смерть его превосходную элегію.

Предстала, и старецъ великій смежилъ  
Орлиныя очи въ покой;  
Почилъ безмятежно, зане совершилъ  
Въ предѣлѣхъ земномъ все земное!  
Надъ дивною могилой не плачь, не жалѣй,  
Что генія черенъ наслѣдье червей.

Погасъ! но ничто не оставлено имъ  
Подъ солнцемъ живыхъ безъ прывѣта;  
На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,  
Что проситъ у сердца отвѣта:  
Крылатою мыслью онъ міръ облетѣлъ,  
Въ одномъ безпредѣльномъ нашелъ ей предѣлъ.

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,  
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,  
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,  
Цвѣтущихъ временъ упованья;  
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ  
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 173—175. <sup>2)</sup> I, 276. <sup>3)</sup> I, 54, 153, 196, 211, 223, 274.

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,  
И чувствовалъ травъ прозябанье;  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Извѣданъ, испытанъ имъ весь человѣкъ!  
И ежели жизнью земною  
Творецъ ограничилъ летучій нашъ вѣкъ,  
И насъ за могильной доскою,  
За міромъ явленій не ждетъ ничего:  
Творца оправдастъ могила его.

И если загробная жизнь намъ дана,  
Онъ, здѣшней вполне отдышавшій  
И въ звучныхъ, глубокихъ отзвукахъ сполна  
Все должное долу отдавшій,  
Къ Предвѣчному легкой душой возлетитъ,  
И въ небѣ земное его не смутитъ <sup>1)</sup>).

Въ „Запискахъ“ К. А. Полеваго <sup>2)</sup> сохранился слѣдующій отзывъ о Баратынскомъ: „Баратынскій пользуется славою поэта, и справедливо. У него были и поэтическія ощущенія и необыкновенное искусство въ выраженіи. Но знаяши его хорошо, могу сказать, что онъ еще больше былъ умный человѣкъ, нежели поэтъ. Отчасти онъ былъ обязанъ поэтическою славою Пушкину, который всегда и постоянно говорилъ и писалъ, что Баратынскій чудесный поэтъ, котораго не умѣютъ цѣнить. Почти тоже говорилъ онъ о Дельвигѣ и готовъ былъ иногда поставить ихъ обоихъ выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до такихъ преувеличеній.... Баратынскій—поэтъ иногда очень пріятный, вездѣ показывающій вѣрный вкусъ и писавшій не по вдохновенію, а вслѣдствіе выводовъ ума. Онъ трудился надъ своими сочиненіями, отдѣлывалъ ихъ изящно, находилъ иногда вѣрныя картины и живыя чувствованія; бывалъ остроуменъ, игривъ, но все это—какъ умный человѣкъ, а не какъ поэтъ. Въ немъ не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни національности. Отъ того-то лучшія его произведенія тѣ, гдѣ онъ философствуетъ, какъ напр. въ стихотвореніи на смерть Гёте. Я увѣренъ, что если бы онъ не почиталъ себя поэтомъ и занялся теоріей и критикой литературы, онъ написалъ бы въ этомъ родѣ много умнаго, прекраснаго, пояснилъ бы много идей для своихъ современниковъ. Его ясный умъ,

---

<sup>1)</sup> Сочин. I, 192—193. <sup>2)</sup> Истор. Вѣст. 1887 г. апрѣль.

строгий вкусъ, сильная и глубокая душа давали ему всѣ средства быть отличнымъ критикомъ. Это показывали сужденія его о многихъ тогдашнихъ литературныхъ явленіяхъ. Не отрицая такимъ образомъ того, что Баратынскій былъ поэтъ и поэтъ иногда очень пріятный, Полевой замѣчаетъ только, что онъ писалъ не по вдохновенію, а вслѣдствіе выводовъ ума. Но развѣ умъ не можетъ быть источникомъ, возбудителемъ вдохновенія? развѣ поэзія можетъ быть только въ чувствахъ и образахъ? развѣ мысль не такой существенный элементъ поэтическаго содержанія, что безъ нея не можетъ обойтись ни одно произведеніе? Баратынскому можно поставить въ вину только односторонность его міросозерцанія, связаннаго только къ извѣстнымъ идеямъ и представляющаго все въ преувеличенно-печальномъ видѣ, болѣзненное направленіе его мысли. Мы выше замѣтили, что Баратынскаго нѣкоторые называли русскимъ Гамлетомъ; со времени Баратынскаго въ нашей литературѣ начали появляться разнаго рода Гамлеты.

Разобранныя стихотворенія составляютъ существенную часть литературной дѣятельности Баратынскаго. Во 2-й части помѣщены его поэмы: „Пиръ“, „Эда“ (первонач. изд. въ 1826 г. Спб.), „Телема и Макаръ“ (сказка изъ Вольтера), „Балъ“ (Спб. 1828), „Цыганка“ (М. 1831), въ 3-й части прозаическія сочиненія: „О заблужденіяхъ и истинѣ“, „Исторія кокетства“, „Перстень“; но всѣ они ничѣмъ особеннымъ не отличаются. Важнѣе по содержанію предисловіе къ „Цыганѣ“, гдѣ поэтъ рѣшаетъ вопросъ о нравственной цѣли литературныхъ произведеній. Письма къ разнымъ лицамъ важны для біографіи поэта.

---





# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран.

Характеръ образованія и литературы въ Александровскую эпоху.	
Начало сентиментальной литературы . . . . .	1.
Н. М. Карамзинъ. Біографическія свѣдѣнія о Карамзинѣ. . . . .	20.
Переводныя сочиненія Карамзина. Оригинальныя его сочиненія.	
Письма Русскаго Путешественника . . . . .	31.
Новое направленіе въ сочиненіяхъ Карамзина. Повѣсти. Разсужде-	
нія. Стихотворенія Карамзина . . . . .	42.
«Исторія Государства Россійскаго». «Записка о древней и новой	
Россіи» . . . . .	71.
Реформа Карамзина въ области языка и слога . . . . .	75.
А. С. Шишковъ. Біографическія свѣдѣнія о Шишковѣ. «Разсужденіе	
о старомъ и новомъ слога» и другія сочиненія Шихкова . . . . .	77.
Послѣдователи Карамзина. П. И. Макаровъ. Д. В. Дашковъ. Полеми-	
ка послѣдователей Карамзина и Шихкова . . . . .	90.
И. И. Дмитріевъ. Біографическія свѣдѣнія о Дмитріевѣ. Религіоз-	
ныя и патріотическія стихотворенія. Сатиры. Пѣсни. Сказки. Басни Дми-	
тріева . . . . .	94.
В. А. Озеровъ. Біографическія свѣдѣнія объ Озеровѣ. Трагедіи	
Озерова . . . . .	104.
В. С. Подшиваловъ. В. В. Измайловъ. В. Л. Пушкинъ. П. И. Шали-	
ковъ. Ю. А. Нелединскій-Мелецкій. П. Ю. Львовъ . . . . .	125.
Школа классическая. С. А. Шпринскій-Шихматовъ. С. С. Бобровъ.	
А. П. Беницкій. А. Е. Измайловъ. Н. М. Шатровъ. Д. П. Горчаковъ .	134.
А. Н. Нахимовъ. М. В. Милоновъ . . . . .	136.
Драматическая литература начала XIX в. А. А. Шаховской. Біогра-	
фическія свѣдѣнія о Шаховскомъ. Комедіи Шаховскаго. Ф. Ф. Кокошкинъ.	
П. А. Катенинъ . . . . .	137.

## II

*Стран.*

А. О. Мерзляковъ. Біографическія свѣдѣнія о Мерзляковѣ. Труды Мерзлякова по теоріи словесности. Лирическія произведенія. Переводы древнихъ классиковъ. Критическая дѣятельность Мерзлякова . . . 150.

Н. И. Гнѣдичъ. Біографическія свѣдѣнія о Гнѣдичѣ. Переводы и оригинальныя сочиненія Гнѣдича . . . 159.

В. А. Жуковскій. Внесеніе въ русскую литературу романтизма. Біографическія свѣдѣнія о Жуковскомъ . . . 164.

Основа міросозерцанія и характеръ идеаловъ Жуковского. Стихъ Жуковского. . . 182.

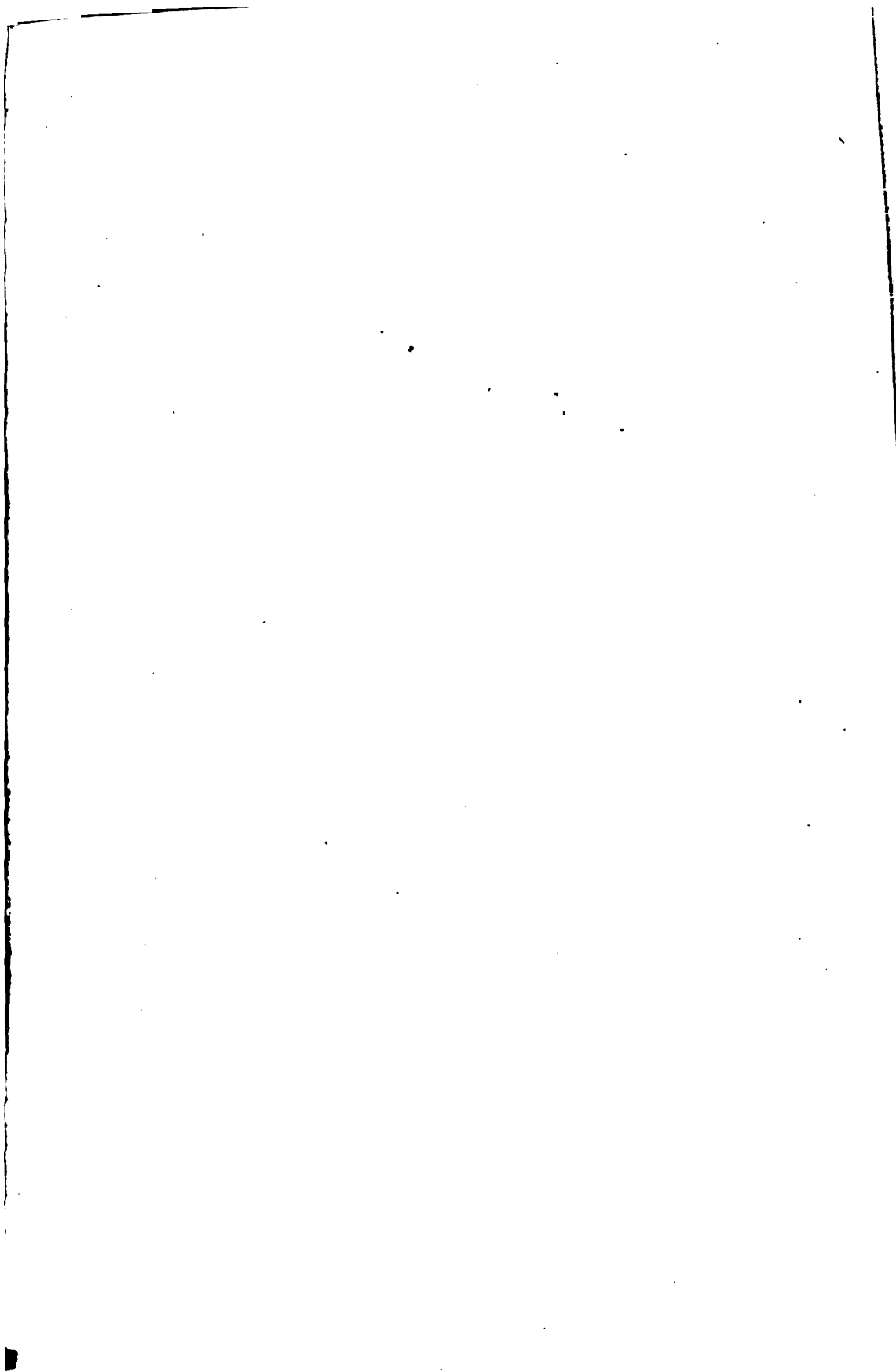
К. Н. Батюшковъ. Біографическія свѣдѣнія о Батюшковѣ. Содержаніе и характеръ стихотвореній Батюшкова, Его прозаическія сочиненія . 199.

П. А. Вяземскій. Біографическія свѣдѣнія о Вяземскомъ. Характеръ литературной дѣятельности Вяземскаго. Стихотворенія Вяземскаго. Критическая дѣятельность Вяземскаго. . . 221.

Н. И. Хмѣльницкій и его комедіи. . . 239.

Е. А. Баратынскій. Біографическія свѣдѣнія о Баратынскомъ. Его стихотворенія. . . 244.





06

0000000000

This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred  
by retaining it beyond the specified  
time.

Please return promptly.

State

9/1/44

Oregon

4/25/44

6/1/44

42